Стив Фуллер

Постправда

Знание как борьба за власть

ПРОЕКТ СЕРИЙНЫХ МОНОГРАФИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

СЕРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ

Steve Fuller

Post-Truth

Knowledge as a Power Game

Стив Фуллер
Постправда
Знание как борьба за власть

Перевод с английского
Дмитрия Кралечкина
под научной редакцией
Артема Смирнова

УДК 32+316.4
ББК 60.524
Ф94

Проект серийных монографий
по социально-экономическим
и гуманитарным наукам

Руководитель проекта Александр Павлов

Фуллер, С.
Ф94 Постправда: Знание как борьба за власть / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Смирнова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

Хотя термин «постправда» был придуман критиками, на которых произвели впечатление брекзит и президентская кампания в США, постправда, или постистина, укоренена в самой истории западной социальной и политической теории. Стив Фуллер возвращается к Платону, рассматривает ряд проблем теологии и философии, уделяет особое внимание макиавеллистской традиции классической социологии. Ключевой фигурой выступает Вильфредо Парето, предложивший оригинальную концепцию постистины в рамках своей теории циркуляции двух типов элит — *львов* и *лис*, согласно которой *львы* и *лисы* конкурируют за власть и обвиняют друг друга в нелегитимности, ссылаясь на ложность высказываний оппонента — либо о том, что они (*львы*) сделали, либо о том, что они (*лисы*) сделают. Определяющая черта постистины — строгое различие между видимостью и реальностью, которое никогда в полной мере не устраняется, а потому самая сильная видимость выдает себя за реальность. Вопрос в том, как добиться большего выигрыша — путем быстрых изменений видимости (позиция *лис*) или же за счет ее стабилизации (позиция *львов*). Автор с разных сторон рассматривает, что все это означает для политики и науки.

Книга адресована специалистам в области политологии, социологии и современной философии.

УДК 32+316.4
ББК 60.524

Переведено по: *Steve Fuller*. Post-Truth. Knowledge as a Power Game

ОГЛАВЛЕНИЕ

Эта книга посвящается памяти
основателя «научной истории»,
древнегреческого историка Фукидида,
который сегодня считался бы
поставщиком «фейковых новостей»

БЛАГОДАРНОСТИ

В числе тех людей (помимо издателя), которые безропотно ждали, пока я испытывал их терпение, когда писал различные тексты, отрабатывая аргументацию, представленную на страницах этой книги, позвольте выразить особую благодарность Джеймсу Чейзу, Джиму Коллье, Алистеру Даффу, Джоанне Данкан, Бобу Фродману, Инанне Хамати-Атайе, Джерри Хаузеру, Илье Касавину, Шерон Райдер, Микаэлю Стенмарку и Джеку Стилго. Также я хотел бы поблагодарить Британскую социологическую ассоциацию, Европейскую ассоциацию исследований науки и технологий, газету *Guardian* и Лондонский институт искусства и идей, которые опубликовали на своих веб-сайтах первые версии текстов, вошедших в эту книгу. Наконец, я хотел бы выразить благодарность за поддержку Российскому научному фонду (проект № 14-18-02227 «Социальная философия науки»), с которым я связан в качестве исследователя Института философии РАН.

Введение
Наука и политика в эпоху постистины: скрытая рука Парето

Оксфордский словарь английского языка действительно объявил постправду, или постистину[1], словом 2016 г., однако само это понятие всегда было у нас и в политике, и в науке, поскольку оно им намного ближе, чем полагают те, кто недоволен его существованием. Для того чтобы раскрыть его политические корни, длинная память не нужна. Вспомним придуманное в 2004 г. выражение «сообщество, основанное на реальности», ставшее ироническим контрапунктом к внешнеполитическому подходу, которого придерживался Джордж Буш-младший, особенно после начала войны в Ираке. Тем не менее интересно посмотреть точное словарное определение постистины, включающее также примеры узуса:

> Характеризует или обозначает обстоятельства, в которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личной вере:

---

[1] Термин «*post-truth*» чаще на русский переводится как «постправда», однако здесь используется вариант «постистина», более соответствующий подходу автора, ориентированному, в частности, на эпистемологию и социологию науки. — *Примеч. пер.*

«в эту эпоху постистины легко отыскать любые данные, какие только захочется, и прийти к любому выводу, к какому только пожелаете»;

«некоторые комментаторы отмечали, что мы живем в эпоху постистины».

Такое определение имеет очевидно негативный оттенок. Собственно, это не что иное, как постистинное определение постистины. Именно в таком свете хотят представить своих противников те, кто занимает господствующие позиции в актуальной игре знания и власти. В данном контексте слово «эмоция» само является составляющей жаргона постистины, лишь затемняющей истинную функцию этого слова, которая состоит в том, чтобы получить сравнительное преимущество на некотором более или менее четко определенном игровом поле.

Люди, более всего чувствительные к тому факту, что мы живем в мире «постистины», склонны полагать, что реальность фундаментально отличается от того, что о ней думает большинство. Это относится к обеим сторонам современного водораздела «постистины», то есть к элитарным экспертам и популистским демагогам. Обе эти позиции определяются платоновским мировоззрением, которое Никколо Макиавелли успешно демократизировал в период Ренессанса. Затем оно было модернизировано для капиталистического мира политэкономистом Вильфредо Парето (1848–1923), одним из забытых отцов-основателей социологии, в работах которого черпал вдохновение Бенито Муссолини. В годы моей молодости Парето все еще называли «Марксом правящего класса», что объяснялось уважительным отношением к нему со стороны таких либералов времен холодной войны, как Толкотт Парсонс и Раймон Арон [Parsons, 1937, ch. 5–7; Aron, 1967, ch. 2; Арон, 1992, с. 403–487]. Если и есть человек, заслуживающий звания небесного покровителя постистины, то это Парето.

С его точки зрения, социальный порядок является результатом взаимодействия элит двух типов, которых он называл, следуя в этом за Макиавелли, *львами* и *лисами*. Оба вида торгуют постистиной. Львы рассматривают общепринятое в статус-кво понимание прошлого в качестве надежного основания будущего, тогда как лисы считают, что статус-кво поддерживает порочное понимание прошлого, которое мешает достижению лучшего будущего. История, таким образом, заключается в непрерывном обороте двух этих темпоральных ориентаций: «индуктивной» и «контриндуктивной», как сказали бы эпистемологи.

Приведенное Оксфордским словарем английского языка определение постистины выражает истину льва, который пытается задать максимальную моральную и эпистемическую дистанцию от любой эрзац-истины, которой может приторговывать лиса. Именно она, но не лев изображается в качестве того, кто искажает факты и обращается к эмоциям. Однако истина льва лисе представляется слишком уж прямолинейной и тяжеловесной, немногим более чем заявкой на неотчуждаемое право, часто предъявляемой в приступе праведного гнева. Таким образом, стратегия лисы — минимизировать моральную и эпистемическую дистанцию между своей собственной позицией и позицией оппонента-льва, обычно за счет изобличения неисполненных обещаний и статусного лицемерия последнего.

Политика постистины была в полной мере явлена в американской президентской кампании 2016 г., когда Хиллари Клинтон, занимающая позицию льва и являвшаяся, возможно, самым квалифицированным кандидатом на пост президента США за всю историю страны, назвала сторонников Дональда Трампа «кучкой жалких людей» за то, что они пытались подорвать господствующую «прогрессивную» повестку неолиберального государства всеобщего благосостояния, сформировавшуюся в период по-

сле холодной войны. В ответ лис-Трамп, говоря от лица американцев, которых эта повестка все больше игнорирует, назвал людей, отстаивающих ее, «порочными» и «продажными».

Однако Трамп имел в виду и нечто более глубокое, связанное с самой основой ситуации постистины. Этот момент промелькнул в одном лозунге его кампании: «осушить болото». Весь вашингтонский истеблишмент — не только демократы-сторонники Клинтон, но и противники Трампа в Республиканской партии, которая номинировала его в качестве кандидата на пост президента, — был обвинен в том, что он проводит договорные матчи, а потому, кого бы ни выбрать, законы, которые будут приняты, все равно окажутся на руку политическому классу независимо от их влияния на жизнь простого народа. В более львиные времена это называлось двухпартийной системой, и именно так велись государственные дела. В самом деле, социологи-апологеты такого режима превозносили его на протяжении по меньшей мере двух поколений в качестве «конца идеологии» [Bell, 1960]. Предполагалось, что это игра, которая побьет все остальные игры. Но Трамп успешно доказал, что всего лишь еще одна игра. И это, по сути, и есть зачаток ситуации постистины.

Если использовать философский жаргон, ситуация постистины сводится к тому, чтобы занять метапозицию. Вы пытаетесь выиграть, не просто играя по правилам, но и определяя само содержание правил. Лев стремится выиграть, сохранив правила в их нынешнем виде, а лиса стремится их изменить. В игре истины точка зрения льва без лишних раздумий принимается за нечто самоочевидное: противники конкурируют друг с другом в соответствии с заранее согласованными правилами, причем это первоначальное согласие определяет природу их противостояния и состояние игры в любой конкретный момент времени. В этом случае лисы могут оставаться обо-

зленными проигравшими. В игре постистины цель в том, чтобы разгромить противника, хорошо при этом понимая, что правила игры могут поменяться. В этом случае сама природа противостояния может измениться так, что преимущество внезапно перейдет к вашему противнику. И лисы всегда играют на такую внезапную перемену.

Когда Макиавелли говорил, что успешные правители всегда используют силу экономно, он имел в виду желание сохранить игру истины. Львы не должны рычать, поскольку они могут проиграть, если им понадобится действительно подкрепить свой рык действиями, что было доказано множеством исторических примеров. Игра истины лучше всего работает, когда самозваные хранители истины ограничиваются угрозой, но не реальной демонстрацией силы. Таким образом, стратегия льва сводится к подавлению контрфактического воображения, то есть мысли о том, что все могло бы быть иначе. Именно в этом заключается применение того, что далее я буду называть *модальной властью*. Платон опробовал нечто похожее, когда предложил ввести цензуру, чтобы художники заранее знали, что их произведения попадут под запрет, если они нарушат границы политкорректности, определяемые царем-философом. (Платона наверняка порадовали бы «правила общения», принятые в современных университетах.) Ощущавшаяся Макиавелли необходимость более прямого обсуждения этих вопросов говорит о том, что это был момент истории демократизации, а также, как я считаю, развития человеческого самосознания в более широком смысле.

Трамп поднимает ставки еще выше, когда говорит о «фейковых новостях», чем ставит под вопрос традиционные либеральные инструменты воспроизводства различия истины и лжи в американских СМИ, таких как *New York Times* или *CNN*. В этом ему существенно помогли недавно возникшие социальные сети, в которых новостные ленты ресурсов вроде *Breitbart*, основанного выступающими

против истеблишмента «альтернативными правыми», сумели, в частности на страницах *Facebook*, составить конкуренцию «мейнстримным» СМИ, а в некоторых случаях и вытеснить их. (Бывший глава *Breitbart* Стив Бэннон работал главным стратегом Трампа во время кампании 2016 г. и в первый год его президентства.) В результате люди получают либо конфликтующие новостные сообщения, между которыми они сами должны сделать выбор, либо же попросту такие сообщения, которые соответствуют предпочтениям, заявленным ими в роли пользователей социальных сетей. И в том и в другом случае они становятся более уверенными в том, что способны самостоятельно разобраться в вопросах истины.

Хорошим показателем того, что люди заняли «метапозицию» в ответ на это размножение новостных ресурсов, является уровень паранойи, выплескиваемой в социальных сетях после объявления, что источником такой-то новости были, скажем, *Breitbart* или *CNN* в зависимости от того, у кого какая идеология. В конце концов, хотя зрители *CNN* терпеть не могут, когда их любимый канал обзывают «фейковым», именно такой эпитет они сами применяют к *Breitbart* и его телевизионному аналогу *Fox News*. Таким образом, игровое поле было выровнено. Все теперь играют в игру Трампа. А ее название — «зуб за зуб», и именно она составляет сегодня беспрецедентно большую долю новостей: в ответ на любую проверку на *CNN* достоверности твитов Трампа, продвигаемых на *Fox News* и приукрашиваемых там штатными комментаторами, *Fox News* привлекает внимание к тем благим делам, которыми занят Трамп и которые игнорирует *CNN*, поскольку эта компания больше занята поиском оснований для его импичмента.

Хотя мы живем в мире круглосуточных новостей, то, что я только что описал, не является вполне справедливой борьбой. В обществе, которое становится все более демократическим, запас активного внимания остается таким

же ограниченным, как и ранее, однако теперь люди считают, что, если к ним на деле относятся как к простакам, это немногим лучше того, чем если бы их открыто считали идиотами. Все это играет на трамповскую сторону «метааргумента», который в конечном счете гласит, что нужно довериться способности людей самостоятельно принимать решения в вопросах истины, позволив им жить с последствиями своих решений даже тогда, когда их суждения оказались ошибочными, по крайней мере, с точки зрения их собственного благосостояния или выгод.

Обратимся теперь к науке, ситуация в которой не так уж отличается. Львы Парето получают от традиции легитимность, которая в науке основывается на экспертизе, а не на родословной или обычае. Однако, как и прежние формы легитимности, экспертиза черпает свой авторитет в кумулятивном весе межпоколенческого опыта. Именно это и имел в виду Томас Кун [Kuhn, 1970; Кун, 1977] под научной «парадигмой», набором конвенций, которые упорядочивают знание в форме определенного мировоззрения, учрежденного тем или иным основоположником, например, сэром Исааком Ньютоном или Чарлзом Дарвином. Каждая новая порция знаний освящается в таком случае «коллегиальным рецензированием».

Куновская концепция науки является «постистинной» потому, что «истина» более не арбитр легитимной власти, скорее, она маска легитимности, которую носит всякий, кто стремится к власти. Вышло так, что взгляды Куна сформировались в Гарварде в конце 1930-х годов, когда тамошний корифей Лоуренс Хендерсон не только прочел первые курсы по истории науки, но и созвал междисциплинарный «Кружок Парето», чтобы познакомить восходящих звезд университета со взглядами автора, которого он считал единственным стоящим конкурентом Карла Маркса [Barber, 1970; Fuller, 2000b, ch. 4]. Тот факт, что президент Гарварда Джеймс Брайант Конант, проте-

же Хендерсона и учитель Куна, войну с нацистами поддержал чуть ли не последним, но был в числе первых, предложивших применить атомную бомбу для окончания войны с Японией, указывает на то, что Парето он освоил неплохо. Конант присоединился к остальным только тогда, когда это было абсолютно необходимо (ход льва), но хватался за удачную возможность, если остальные еще сомневались (ход лисы) [Hershberg, 1993, ch. 6].

Наиболее интересная черта нарратива Куна о прогрессе науки — и не будем забывать, что он пользовался наибольшим влиянием на протяжении последних 50 лет — это то, что он называет «оруэлловским» понимание истории науки, которое должны разделять как профессиональные ученые, так и широкая публика [Kuhn, 1970, p. 167; Кун, 1977, с. 219]. Кун ссылается на роман «1984», в котором работа главного героя заключается в переписывании газет, выходивших в прошлом, чтобы казалось, что сегодняшний курс государства совпадает с тем, каким он был всегда. В такой версии истории, которая непрерывно подправляется, публика никогда не замечает никаких резких поворотов, не обнаруживает перебежчиков или ошибочных суждений, из-за наличия которых у нее могли бы возникнуть вопросы к прогрессивному нарративу государства. Вера в статус-кво сохраняется, а рекрутам внушается желание следовать его курсу. Кун утверждал, что идеи, применимые к тоталитарному «1984», распространяются также и на науку, объединяемую заклятием парадигмы.

Но в том же цеху разворачивается деятельность и другой группы элит, а именно лис, к которой профессиональные историки науки, обычно не имеющие кровной заинтересованности в том, чтобы наука держалась своей официальной линии, обращаются для того, чтобы выяснить, что реально происходит за кулисами драмы, которую пытаются поставить львы. В современной политике науки лисы известны под разными именами — начиная с «вольнодум-

цев» и заканчивая «социальными конструктивистами» и «псевдоучеными». Для них характерны несогласие и неуемность, которым находится место в мире открытости и благоприятных возможностей.

Львы научного истеблишмента поначалу отвечают лисам-диссидентам в своей среде тем, что попросту отказывают им в эпистемическом статусе, а может, и в существовании, но не занимаются их открытой критикой, которая бы велась на общем основании. Так, креационисты, климатические скептики и различные последователи нью-эйджа, какие бы сложные теории они ни развивали, не просто ошибаются, они еще и «порочны» в том смысле, который допускает разбухание эпистемической ошибки до нравственного греха. Соответственно, всякий раз, когда диссиденты заявляют, что они дают иную оценку имеющимся фактам, львы объявляют их лжецами, поскольку лисы не придерживаются ортодоксальных взглядов.

Однако такая пренебрежительная стратегия не лишена рисков, особенно когда ортодоксия сама не может достоверно установить истину, которую она издавна обещала хранить, и особенно когда подобная неуверенность сопровождается запросами на государственное финансирование, необходимое для дальнейших исследований. Добавьте к этому всевозможные трюки с подтасовыванием, заметанием следов, запутыванием и другими действиями *ad hoc*, которыми обычно приходится заниматься ортодоксии с целью показать, что она все ближе к истине. Это вместо того, чтобы выбрать более простую стратегию, которая бы состояла в решительной смене курса. Бесстрастный наблюдатель вполне может прийти к выводу, что громкий рык льва выдает лишь его неспособность разгромить претендентов, готовых заявить, что он блефует.

Лисы, со своей стороны, определяют настоящее как экстатический момент, в который решается всё, то есть как то, что древнегреческие софисты называли кайросом. Он

подразумевает решительный разрыв с «прошлым», которое, как им известно, все равно дано в виде вымысла, как в романе «1984». Тогда как самозваные провидцы подают себя, подобно Галилео Галилею, в качестве тех, кто первым смог увидеть нечто такое, что было у всех на виду. Экспертные знания в таком случае представляются хранилищем подпорченных суждений, нужных лишь для того, чтобы подавлять многообещающие альтернативы тем позициям, которые уже обанкротились. С точки зрения Куна, научные лисы одерживают верх всякий раз, когда в гладком нарративе львов появляются трещины, устойчивые «аномалии», которые правящая парадигма объяснить не в состоянии.

Однако у лис есть собственная ахиллесова пята: они сильны, когда находятся в оппозиции, но сварливы, когда во власти. Самый главный оппонент Куна Карл Поппер [Popper, 1981] пытался представить эту черту в выгодном свете, вторя Льву Троцкому и называя ее «перманентной революцией» в науке. Но если игровое поле науки открыто для всех, кто желает присоединиться к этой игре, правила самой игры могут измениться до неузнаваемости. Немногие ученые отрицают сегодня необходимость расширения «научного гражданства», но точно также немногие хотели бы, чтобы оно привело к «пролетарской науке», в которой научная повестка диктуется всенародно избранными комитетами [Lecourt, 1976]. В этом отношении ученые не желают нарушать границы вроде той, перед которой стоят политики и которая отделяет парламентскую демократию от демократии всеобщего участия или же служение истинным интересам народа от служения тому, что народ сам считает своими интересами. Как мы увидим в главе 1, именно эта граница была нарушена на британском референдуме 2016 г., когда решался вопросе о выходе из Европейского союза (ЕС), или о так называемом брекзите.

На момент написания этой книги вышло более двадцати книг с термином «постистина» в названии, и все они сосредоточены на той роли, которую постистина в ее ругательном смысле, определенном Оксфордским словарем английского языка, сыграла в победах брекзита и Трампа, ставших зеркальными отражениями друг друга. Их неизменной темой являются «фейковые новости», причем толкуются они обычно в соответствии со словарным определением, то есть с явной неприязнью к победителям. Эта книга не ставит задачу стать для них конкурентом. Напротив, как уже ясно по этому введению, я считаю постистину важной чертой интеллектуальной жизни, по крайней мере на Западе. Она объединяет те вопросы политики, науки и суждения, которые традиционные авторитеты обычно считали необходимым не смешивать. Даже если Трамп вынужден будет подать в отставку или же не сможет переизбраться на пост президента, даже если брекзит в самый последний момент будет аннулирован (все это на момент написания книги остается вполне возможным), ситуация постистины никуда не денется. Имея это в виду, я хотел бы теперь изложить краткое содержание данной книги.

В главе 1 выбирается достаточно широкий эпистемологический подход к изучению брекзита, в ходе которого парламентские лисы Великобритании получили больше, чем просили, склонив общество к самостоятельному осмыслению оснований продления членства в ЕС. У британских избирателей, несмотря на неопределенность будущего, куда страна катится благодаря брекзиту и в котором пытаются лихорадочно разобраться как лисы, так и львы, вкус к прямой демократии при этом нисколько не отбился.

В главе 2 показывается, что философия, то есть дисциплина, которая любит представлять себя в качестве более других озабоченной «Истиной», на протяжении всей

своей истории отдавала предпочтение позиции постистины начиная с диалогов Платона, где льву-Сократу всегда удается перехитрить своих противников — лис-софистов. Кроме того, даже в современной «аналитической» школе, которая в англоязычном мире давно стала официальным лицом академической философии, никогда не было согласия ни относительно природы, ни относительно критериев истины, хотя, разумеется, некоторые определения истины отдают предпочтение, скорее, одним модусам мысли и формам знания, чем другим. В этом отношении философия всегда оставалась и остается постистинной.

В главе 3 речь сначала пойдет о социологии, которую можно считать образцом постистинной науки с учетом ее интереса к тому, как людям удается переопределять самих себя в меняющихся условиях. Наиболее известным примером этих изменений является переход от досовременности к миру Нового времени и, возможно, к миру постмодерна. К сожалению, исследования науки и технологий, составляющие передний край социологии знания, в последние годы отреклись от своей первоначальной подписи под ситуацией постистины, хотя и сохранили за собой наилучшую позицию для прояснения сходства с игрой как неотъемлемого качества науки.

В главе 4 ставится диагноз неспособности науки полностью использовать даже собственную базу знания. Эта неспособность объясняется той властью, которой дисциплины, или «парадигмы» (в смысле Куна), обладают над исследователями. Такие социальные формации успешно ограничивают академическую энергию общепринятыми направлениями исследования. К счастью, не все люди, получившие академическое образование, и не все заинтересованные стороны приписаны к академии. Точнее, можно говорить о существовании, как я это называю, «военно-промышленной воли к знанию», которая нацелена на то, что в библиотековедении получило название «нерас-

крытое публичное знание». Глава заканчивается размышлением об «избыточности информации» как о более общем культурном контексте, в котором возникает проблема нераскрытого публичного знания.

В главе 5 рассматривается постистинностный феномен «кастомизированной науки», состоящий в нестандартных интерпретациях или применениях научного знания, которые в той или иной мере противоречат авторитету экспертов-ученых. Это естественное ответвление того мира, в котором наука все больше считается чем-то важным для жизни людей, тогда как источники информации о науке более не ограничиваются научной лабораторией и университетской аудиторией. Результатом становится то, что я назвал «протнаукой», поскольку теперь люди понимают науку по-своему, примерно в том же смысле, в каком в период протестантской Реформации они стали понимать по-своему Библию.

Глава 6 начинается со знаменитых лекций Макса Вебера о политике и науке как о призвании, причем доказывается, что предметом политики и науки является одна и та же тема, хотя политика носит маску ситуации постистины, а наука — ситуации истины. Грубо говоря, ученые стремятся определить правила игры, которые политики хотели бы изменить себе на пользу. Это как нельзя более яркий пример борьбы за «модальную власть», то есть контроля над тем, что возможно. Написание и переписывание истории — это, пожалуй, и есть то поле, на котором данная борьба разворачивается в наиболее наглядном виде.

В главе 7 книга завершается обсуждением эпистемологии будущего, то есть прогнозирования, выступающего наиболее передовым игровым полем воображения постистины. Вопрос не столько в том, как правильно предсказывать будущее, сколько в том, как выжать максимум из любого поворота событий. С учетом сказанно-

го история показала, что игроки, начинавшие в качестве проигрывающих, могут в итоге закончить победителями просто потому, что они лучше пользуются актуальной ситуацией, даже если она возникла из серьезной неудачи. В этой главе дается обзор нескольких возможных установок по отношению к будущему, наиболее известной из которых являются «адаптивные предпочтения» и их политический коррелят — «форсированное правление», рекомендующее не избегать катастрофы, а планировать исходя из того, что она случится, поскольку планы могут увенчаться успехом даже в том случае, если Судного дня удалось избежать. Именно благодаря такому подходу появился Интернет, изобретенный во время холодной войны.

Глава 1
Брекзит: политическая экспертиза в столкновении с волей народа

ВВЕДЕНИЕ

Для начала я должен сказать, что был бы счастлив, если бы можно было вернуться к начальной точке того пути, который выбрала Великобритания, когда 23 июня 2016 г. 52% голосов «за» и 48% «против» она приняла судьбоносное решение по выходу из Евросоюза после более 40 лет членства в этой организации (так называемый брекзит). Меня устроил бы любой вариант, который позволил бы вернуть Великобританию в ЕС: парламентское голосование, новые выборы в парламент, второй референдум — что угодно. Но предположим, что брекзит неминуем. Моя позиция в таком случае состоит в том, что мы должны внимательнее — и благожелательнее — исследовать то, что, собственно, планировали достичь некоторые из наиболее смелых сторонников брекзита. Однако это не так просто, как может показаться, поскольку их позиция представляет собой странную амальгаму популизма и элитизма, которые в таком сочетании угрожают не только суверенности парламента, о чем много писали СМИ, но также авторитету экспертной оценки, понимаемой в достаточно широком смысле. Таковы пути лисицы, если говорить в категориях Парето. Здесь стоит вспом-

нить о том, что практически все институты Британской академии, ведущие деловые организации, включая Банк Англии, а также политики из разных стран мира, решившие выразить свое мнение по этому вопросу, хотели бы, чтобы Великобритания осталась в ЕС. (Заметным исключением стала Россия.)

Однако, как мы увидим, брекзит оказался для его сторонников отравленной чашей, поскольку они не предугадали того, что общество посчитает свой вновь обретенный голос чем-то вроде своих собственных, публично явленных экспертных знаний. Свое рассуждение я разобью здесь на три части. Сначала я рассмотрю брекзит в контексте давно применяемого мною антиэкспертного подхода к социальной эпистемологии, который во многих отношениях роднит меня со сторонниками брекзита. Затем я обращусь к борьбе парламентских элит, которая со временем привела к победе брекзита, и сфокусируюсь на особой эпистемической и этической стратегии его сторонников в их отношении к общественному мнению. Наконец, я рассмотрю непредвиденное формирование в контексте брекзита «общей воли» в духе Руссо, в рамках которой британская демократия выступает за предвидимое будущее, а в заключении поговорю о роли научных кругов — и особенно бизнес-школ — в антиэкспертной революции.

АНТИЭКСПЕРТНЫЙ ПОВОРОТ В ПОЛИТИКЕ И НАУКЕ

Тема экспертизы близка моему сердцу, поскольку версия «социальной эпистемологии», разрабатываемая мною на протяжении последних 30 лет, отличалась своей «деконструктивистской» и «демистифицирующей» установкой по отношению к экспертизе, которую я первоначально называл «когнитивным авторитаризмом» [Fuller, 1988, ch. 2]. Будучи философом науки, который стал «социаль-

ным конструктивистом» в годы, когда складывалось поле, ныне известное под названием «исследования наук и технологий» (*STS*), от своих коллег-философов я отличался тем, что видел в дисциплинарных границах, благодаря которым институализируются экспертные знания, всего лишь необходимое зло по сравнению со свободным исследованием: и зло было тем больше, чем больше необходимо оно было [Fuller, Collier, 2004, ch. 2]. В этом контексте я занимал сторону Карла Поппера, а не Томаса Куна: первый говорил, что ни одно притязание на научное знание не является неопровержимым, а второй — что наука зависит от редкого опровержения своих притязаний на знание [Fuller, 2003a].

Когда примерно 20 лет назад я занялся проблемой «управления знаниями», меня поразила двусмысленность предлагавшейся экономикой трактовки роли знаний в создании богатства. С одной стороны, знание представлялось магическим «фактором X» производства, обычно называемым инновациями, которые несводимы к доступным эпистемическим и материальным ресурсам. С другой стороны, существует знание как «экспертиза», то есть определенная форма *поиска ренты*, которая структурируется необходимостью приобретения документально заверенной квалификации, предваряющей доступ к тому, что уже известно [McKenzie, Tullock, 2012, part 5]. Это опять же спор Поппера и Куна. С точки зрения динамичной капиталистической экономики инновации играют очевидно положительную роль не в последнюю очередь потому, что они «созидательно разрушают» рынки, что является функциональным эквивалентом смены парадигм в науке. Экспертиза же рассматривается в негативном ключе — как основной источник возникновения узких мест в потоках информации. В те времена я полагал, что появление «экспертных систем», в которых компьютеры программируются так, чтобы воспроизводить обычные рассуждения экспертов, могло бы в

конечном счете устранить подобные узкие места, сняв потребность в наличии экспертов-людей, в том числе в таких относительно высокооплачиваемых, но рутинных областях, как право и медицина. Эта цель по-прежнему остается важной [Fuller, 2002, ch. 3].

Позже я вплотную занялся будущим университета, все более «исследовательского», что, по-видимому, является эвфемистическим обозначением роли этого института в производстве и сертификации экспертизы. Я же, соответственно, призывал к тому сдвигу в миссии университета от исследования обратно к преподаванию, который исторически как раз и стал важнейшим фактором в разрушении иерархий или узких мест, где расцветает экспертиза [Fuller, 2016a]. В этом контексте преподавание следует понимать в качестве регулярной доставки знаний тем, кто в ином случае пребывал бы в невежестве в силу собственной удаленности от каналов, по которым такое знание обычно распространяется. Конечно, подобное нивелирование эпистемического авторитета позволяет большему числу людей «владеть» знаниями, ранее являвшимися экспертными, в том резонансном смысле, которым сегодня обладают «владение» и «собственность». Но в то же время оно устраняет то стабилизирующее влияние, которое в прошлом экспертное знание оказывало на социальный порядок, поскольку более широкий круг людей может применять сегодня то же самое знание в более широком спектре ситуаций.

Вероятно, эта коллективная эпистемическая волатильность усилилась в наши дни в результате развития Интернета как основного социального средства приобретения знаний. Как 500 лет назад протестанты-реформаторы воспользовались появлением печатного станка, чтобы подорвать авторитет Римско-католической церкви, призвав верующих читать Библию самостоятельно, точно так же различные активисты от политики и науки, борющиеся с истеблишментом, призвали своих последователей не до-

верять экспертам и судить о приводимых свидетельствах самостоятельно.

Я никогда не видел большой разницы между эпистемологиями политики и науки. И в этом я ближе к Карлу Попперу, чем к Максу Веберу, если говорить о двух мыслителях, у которых в иных взглядах много общих черт. Будучи активным участником одного из главных антиэкспертных научных движений нашего времени, а именно сторонников *теории разумного замысла*, я усматриваю в нем некоторые поразительные сходства с брекзитом. Теория разумного замысла — это такая форма научного креационизма, которая строится на представлении о том, что жизнь слишком сложна, чтобы быть продуктом не наделенной разумом изменчивости и отбора, как они понимаются в дарвиновской теории эволюции [Fuller, 2007a; Fuller, 2008].

Первое — и, возможно, наиболее важное — сходство в том, что для экспертов уже присутствовала институциональная уязвимость, позволившая бросить вызов экспертам. В случае разумного замысла она была встроена в американскую конституцию, поскольку образовательная политика отдана на откуп местным налогоплательщикам, за счет которых финансируется школьная система. Первоначально идея была в том, чтобы не допустить господства в сфере образования секулярного аналога официальной церкви или же «национальной религии». В этом контексте академические органы действуют в качестве самое большее консультантов или лоббистов, заинтересованных в составлении определенных учебных программ и закупке учебников, за которые в конечном счете отвечают местные школьные округа. В случае же брекзита уязвимость определялась правом парламента объявить референдум и сделать предметом прямого всенародного голосования то, что в противном случае было бы лишь вопросом частного нормативного акта. За всю долгую историю парламен-

та это право использовалось им очень редко. Более того, в отличие от США, где референдумы обычно проводятся в ряде штатов для решения таких вопросов, как ставки налогообложения, по которым у граждан уже должны иметься относительно хорошо сформулированные мнения, Великобритания проводила референдум по довольно эзотерическим, высоким материям государственного управления, таким как пропорциональное представительство и, разумеется, членство страны в ЕС.

Конечно, теория разумного замысла погорела на собственной активности в американских судах, поскольку там регулярно признается, что это криптохристианский заговор, нацеленный на свержение секулярной демократии. Однако практически ничто не подтверждает, что громкие судебные поражения послужили укреплению веры широкой публики в эволюцию, не говоря уже об общественном доверии научному истеблишменту, поддерживающему эту теорию. Вместо этого мы видим подозрения и даже паранойю по поводу того, что государственным органам дано задание разгромить диссидентов, придерживающихся христианских ценностей.

Действительно, если бы эволюция стала в США предметом общенационального референдума, она могла бы проиграть примерно с таким же результатом, как в случае брекзита, — 52% за отказ от нее и 48% против. Трамп, выступив в несколько неожиданном стиле, сумел воспользоваться такими настроениями на своем пути в Белый дом. Похожим образом даже после триумфа брекзита на голосовании наблюдается общий скепсис относительно того, что брекзит будет реализован в соответствии с принципами кампании референдума, учитывая, что Палата общин и Палата лордов проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС (80% членов первой проголосовали «за», 20% — «против», во второй — 85% «за», 15% «против»). И хотя в результате общих выборов 2017 г. число депутатов Па-

латы общин — сторонников брекзита увеличилось, парламентарии в целом хотят сохранить как можно больше существующих связей ЕС и Великобритании вопреки тому, что вроде бы хотело общество, а именно переопределения места Британии в мире. Разумный вывод из этого такой: плохо это или хорошо, но общество боится риска намного меньше, чем его выборные представители.

Другой важный фактор в антиэкспертном «восстании», общий для теории разумного замысла и брекзита, в том, что истеблишмент сам допускает наличие проблем, считая, однако, что их можно решить в рамках статус-кво. Теория разумного замысла преодолевает ранние формы креационизма именно потому, что она не только выступает за альтернативное основание объяснения природы жизни (такое как «разумный дизайнер», известный также как авраамическое божество), но также подчеркивает проблемы, уже выделенные эволюционистами в качестве проблем их собственной теории. Точно так же премьер-министр Дэвид Кэмерон начал свою кампанию — возможно, фатальную — за сохранение членства Британии в ЕС, признав его недостатки, наглядным примером которых стал неэффективный саммит в Брюсселе в феврале 2016 г., но при этом утверждая, что их не удастся исправить, если Великобритания покинет ЕС и не сможет реформировать его изнутри.

Со временем эта идея вылилась в то, что сторонники брекзита назвали «проектом страха», а именно в общее предчувствие бедствий, которые якобы воспоследуют для Великобритании, если она выйдет из «всегда уже» порочного ЕС. Подобным образом, когда поддержка теории разумного замысла усилилась, научный истеблишмент стал делать упор на то, что эта теория подомнет под себя всю науку, а может, и цивилизацию, если ее начнут изучать в школе. И опять же в обоих этих случаях общество оказалось намного более склонным к риску, чем экс-

перты. В то же время эксперты, признавая с самого начала недостатки, непреднамеренно позволили обществу взять инициативу в свои руки.

В этом пункте мы сталкиваемся с одним из устойчивых стереотипов, распространяемых защитниками экспертного знания, которые утверждают, что антиэксперты — это антиинтеллектуалы, ставящие невежество выше знания и считающие все мнения равно обоснованными. Подобная попытка дезориентации попросту прикрывает обратную тенденцию, а именно то, что в современных демократиях наша вера в экспертов привела к моральному отуплению населения, побуждая людей отдавать другим, специально уполномоченным людям — начиная, возможно, с врача общей практики — право решать за них, во что верить, даже когда последствия таких решений прямо влияют на их жизнь и чувство идентичности. Собственно, современная демократия являет собой своего рода парадокс. Мы предоставляем все большему числу людей право участвовать в политической системе, обеспечивая их к тому же образованием, необходимым для ориентации в ней, и в то же время отвращаем их от высказывания собственного суждения, поскольку все большую нормативную роль приобретает экспертиза. В результате мы взращиваем культуру интеллектуального пиетета, своего рода мягкий авторитаризм, а образование в итоге начинает функционировать вопреки просвещенческим принципам. Люди, вместо того чтобы учиться распространению своей власти на самих себя и мир в целом, учатся лишь тому, как распознавать и соблюдать границы этой власти.

Здесь не хватает именно того, к чему желает подтолкнуть антиэкспертная позиция брекзита, а именно этики разумного риска, которая бы в полной мере признавала сложность мира, требующего различных форм знания, каждая из которых всегда остается частичной и подверженной ошибкам. Кроме того, учитывая общую невероятность

достижения совершенного результата, демократия должна стремиться принимать такие решения, за которые те, к кому эти решения применяются, хотели и могли бы брать на себя личную ответственность при любых последствиях. Говоря в категориях Канта, любое законодательство должно стремиться к тому, чтобы быть самозаконодательством. Если же сказать то же самое в несколько более практических терминах, устранение различия между знаниями парламентария и общества о вопросах общественного блага должно стать целью электоральной политики.

Это умонастроение я связывал с *проактивным* подходом — выступающим противоположностью подхода, основанного на принципе *предосторожности*, — к принятию решений о будущем состоянии человечества [Fuller, Lipinska, 2014]. Конечно, в современных демократиях избирателям нужно объяснять, как работает этот подход, ведь часто они спешат наказать политиков, которые не могут выполнить обещания, за что, однако, избиратели должны винить лишь самих себя. Интересно, что избиратели, проголосовавшие за брекзит, пока не были замечены за таким стратегическим дистанцированием от собственных решений. На самом деле, как мы увидим, они страдают от противоположной проблемы: общество настаивало на том, чтобы политики продолжили «исполнять» волю народа в случае брекзита, какой бы непродуманной, противоречивой или потенциально опасной ни была подобная программа действий.

КАК В СЛУЧАЕ БРЕКЗИТА АНТИЭКСПЕРТЫ ПОБИЛИ ЭКСПЕРТОВ В ИХ СОБСТВЕННОЙ ИГРЕ

Есть определенная ирония в том, что брекзит запустил современную антиэкспертную революцию, если учесть, что он стал результатом референдума, который сам по себе был исходом борьбы между парламентскими элитами,

развернувшейся внутри одной и той же правящей партии. Однако эта ситуация показалась бы вполне знакомой Парето, который, как мы отметили во «Введении», считал, что кровь в обществе перегоняется циркуляцией элит, которых он на манер Макиавелли поделил на львов и лис.

В случае референдума по брекзиту львы были представлены теми, кто желал остаться в ЕС, включая премьер-министра от Консервативной партии Кэмерона, который, словно по велению злого рока, объявил референдум, чтобы оттеснить лис, представленных двумя членами его кабинета министров и возможными претендентами на лидерство, а именно министром юстиции Майклом Гоувом и министром без портфеля Борисом Джонсоном[1]. Если проводить анализ этого противостояния в более британском ключе, его можно было бы начать со знаменитой проблемы «двух культур», которую Ч.П. Сноу впервые сформулировал в 1956 г., когда с возникновением послевоенного государства всеобщего благосостояния бразды правления перешли от «гуманитариев» к «ученым» (включая специалистов по социальным наукам, особенно экономистов и практически ориентированных социологов). В этом отношении брекзит явил собой ироничную месть «гуманитариев», если учесть филологическое образование Гоува и Джонсона, которое ни тот, ни другой не скрывали.

Если говорить в категориях концепции «двух культур» Сноу, в референдуме по брекзиту соответствующее разделение проходило между теми («гуманитариями»), кто пытался получить власть, создав словесные картины гораздо лучшего мира, который можно достичь, расставшись с ЕС, и теми («учеными»), кто размахивал статистикой, согласно которой благодаря членству в ЕС люди уже

---

[1] Борис Джонсон был не министром без портфеля, а мэром Лондона и по этой должности имел право участвовать в заседании кабинета министров. — *Примеч. ред.*

жили в достаточно хорошем мире. Следовательно, пока лисы Гроув и Джонсон нагнетали страсти в своих колонках в *Times* и *Telegraph*, лев Кэмерон опирался на трезвые экономические аргументы и прогнозы, подкрепляемые данными Банка Англии. На этом этапе культурной войны по Сноу риторы в конечном счете победили технократов.

Конечно, последовавшие события не вполне соответствовали плану антиэкспертов: ни Гоув, ни Джонсон не заняли должность премьер-министра[2], а Консервативная партия после общих выборов 2017 г. потеряла много мест в парламенте. Однако стоит подумать о том, как сторонники брекзита смогли перехитрить своих противников, подойдя к демократии с несколько иной — эпистемологической, а может быть, даже и с этической — точки зрения.

Стандартные исследования общественного мнения, например, большинство устных опросов и анкетирований, предполагают создание репрезентативной выборки населения, оцениваемого по таким предположительно значимым параметрам, как раса, класс, гендер, возраст и т.д. Респондентам задают ряд вопросов, в том числе об их вероятном голосовании на предполагаемых выборах. Хотя этот подход кажется абсолютно честным и демократичным, он может оказаться жертвой многочисленных эффектов взаимодействия исследователей и респондентов, в том числе таких, которые проистекают из социальной дистанции, ощущаемой между исследователями и респондентами и способной повлиять на откровенность последних. Так, в недавней лавине псефологических (то есть относящихся к предсказанию поведения избирателей) ошибок, начиная с брекзита и заканчивая Трампом, выявилась обычная недооценка «популистской» стороны спора. Отчасти такая недооценка была обусловлена тем, что респонденты не считали удоб-

---

2 Книга была опубликована в 2018 г. Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра в июле 2019 г. — *Примег. ред.*

ным в полной мере раскрывать свои мысли, с учетом того, как они представляли себе мысли исследователя. Другими словами, несмотря на методологическую тщательность при подготовке опросов и определении целевых групп населения, респонденты представляют себе ситуацию опроса в качестве задачи произвести наилучшее впечатление на постороннего человека, который выносит о них суждение. Точность их слов, возможно, вообще не представляется им первоочередной целью, а это приводит к тому, что исследователь начинает интерпретировать их ответы неверно.

Антиэкспертная линия брекзита и кампании в его поддержку смогли разглядеть эту проблему, а потому выбрали совершенно иной путь, оказавшийся не только более эффективным, но также, возможно, более демократичным и справедливым по отношению к людям, которые участвовали в процессе. Прежде всего антиэксперты не считают общество чем-то радикально отличным от исследователя общественного мнения, как если бы первое представлялось носителем «установок», а второй служил чем-то вроде нейтрального экрана на манер психоаналитика, дающего пациенту возможность спустить свое бессознательное с привязи. Напротив, антиэксперты являются социальными конструктивистами, которые вполне учитывают сфабрикованный характер псефологического знания.

Более того, классическое самопонимание исследователей общественного мнения как нейтральных экранов более не работает, поскольку общество уже почти целый век живет с устными опросами и анкетами. С одной стороны, работа, проводимая такими инструментами, стала настолько привычной, что ее возможные эффекты, заключающиеся в социальном дистанцировании, легко заметить даже «непрофессиональной» публике; с другой стороны, общество привыкло и к чаще всего задаваемым вопросам, и к различным формам влияния, обычно оказываемого опросами на результат, в котором заинтересо-

ван исследователь. Короче говоря, общество в силу накопленного опыта опросов пришло к пониманию тех недостатков, которые маркетологи давно уже связали с опорой на «объявленные», а не на «выявленные» предпочтения в попытках предсказать потребительское поведение.

Кроме того, с точки зрения антиэкспертов, псефологическое знание не просто фабрикуется, оно также обладает мягкой принудительной силой, поскольку опросы и анкеты предлагают респондентам более широкий спектр вариантов, чем они сами могли представить. Исследователю общественного мнения редко приходит в голову мысль о том, что ответы респондентов, возможно, в большей степени связаны не с обнаружением скрытых психологических склонностей, а просто с выработкой поведения, которое представляется адекватным заданному вопросу. Чтобы избежать подобных проблем, антиэксперты стали отдавать предпочтение техникам, которые в большей степени определяются методами психологической войны, а не обычного исследования общественного мнения. В частности, основанная Робертом Мерсером, магнатом из Кремниевой долины и давним сторонником Трампа, *Cambridge Analytica*, англо-американская компания, занимающаяся анализом данных, привлекла к себе внимание, поскольку, как утверждается, сделала для брекзита и выборов Трампа в США больше, чем все то, что могли устроить русские хакеры [Cadwalladr, 2017].

Компания, занятая анализом данных, классифицирует целевую аудиторию по многим параметрам, основанным на предпочтениях, выявленных на основе ряда источников, включая данные переписи населения, потребительские покупки и электоральное поведение в прошлом. Все это анализируется при помощи самых современных компьютерных технологий с использованием клиентской информации, в рутинном порядке собираемой социальными сетями вроде *Facebook*. На этой основе, даже формально

не взаимодействуя с респондентами, можно спрогнозировать, как проголосует по данному вопросу основная, а может, даже почти вся, аудитория, если вопрос, который вынесен на голосование, разделяет ее по существующим линиям предпочтений. Конечно, иногда определенные сегменты аудитории могут демонстрировать предпочтения, которые играют в пользу и той, и другой стороны вопроса. Исследователи общественного мнения называют таких людей «неопределившимися избирателями», а в случае такого весьма обширного вопроса, как брекзит, природа «неопределенности» сама «не определена», поскольку зависит от того, как именно формулируется вопрос. Брекзит — благодатная почва для такого подхода, поскольку роль Великобритании в ЕС является предметом довольно широкого спектра политических вопросов, причем у избирателей обычно нет четко сформулированного представления о том, как это влияет на их жизнь.

Задача стратега кампании в таком случае состоит в том, чтобы поставить вопрос — в данном случае брекзит — так, чтобы вакантными в соответствующей ситуации неопределенности оставалось достаточно ограниченное число избирателей и кампания могла, таким образом, оставаться сфокусированной. Иначе говоря, худший сценарий — тот, в котором вопрос ставится так, что вынуждает слишком многих избирателей переосмыслить свои предпочтения с нуля, это могло бы произойти, если бы сторонники брекзита сосредоточились первым делом на политической коррупции и разбазаривании ресурсов в ЕС. Хотя вся кампания могла бы тогда приобрести более выраженный оттенок «протестантской реформации», результат мог бы оказаться отданным на волю случая, поскольку то же обвинение можно предъявить и британскому парламенту с учетом недавнего скандала о растратах, с которым он оказался связан. Поэтому слоганами кампании стали строго определенные пункты, такие как «350 миллионов фунтов стерлингов в неде-

лю на Национальную службу здравоохранения», поскольку они, как в данном примере, создавали впечатление взаимозаменяемости финансирования ЕС и обеспечения национальной системы здравоохранения, особенно в период бюджетной экономии. Хотя конкретно эта цифра и ее обоснование во время кампании были опровергнуты, они заставили нужных людей, то есть целевых неопределившихся избирателей, живо представить себе соотношение интересов ЕС и Великобритании.

Интересно, что Кэрол Кадвалладр [Cadwalladr, 2017] и другие авторы рассказывают об антиэкспертном применении анализа данных в формате сенсационного публичного доклада, однако основные игроки, предположительно разоблаченные, продолжают действовать так, словно скрывать им было нечего. И то, что их критики готовы признать «бесстыдством», на самом деле представляется их риторической визитной карточкой. Но действительно ли антиэкспертам надо чего-то стыдиться? В нашей ситуации постистины ответ будет отрицательным, причем по двум причинам, одна из которых относительно техническая, а другая — философская.

Во-первых, отличительная черта подобных передовых подходов к анализу данных в том, что они не принуждают людей формулировать какие-либо предпочтения. Наоборот, «неинвазивные методы» фиксируют любые предпочтения, какие только были продемонстрированы избирателями в своем поведении. Самое большее, в чем можно обвинить этот подход, — это в «подталкивании» избирателей в направлении, к которому они и так уже склонялись. В любом случае только сами избиратели могут решить, что именно делать с теми или иными политическими призывами, которые они встречают в новостных лентах. В конце концов, как уже отмечалось выше, за почти столетие, прошедшее с момента появления маркетинга и исследований общественного мнения, люди привыкли к их воздействию,

распространившемуся на самые разные медиа. Поэтому представление, что люди не осознают наличия подобного рода эффектов, даже если и ведут себя в соответствии с ними, свидетельствует о покровительственном отношении к ним. Это не значит, что нет определенных возможностей повысить «медиаграмотность» общества, но для этого каждый должен применять метод проб и ошибок, как и при любом ином профессиональном обучении, особенно учитывая быстрые изменения в медиаландшафте.

Кроме того, такой экспериментальный подход к общественному мнению согласуется, если не доказано обратного, с представлением Поппера о демократии как об «открытом обществе», которое сводится к превращению общества в живую лабораторию. Антиэксперты желают ускорить этот процесс, учитывая те возросшие возможности генерации данных, наблюдения и получения обратной связи, которые открываются в результате использования передовых компьютерных технологий. Итоговый социальный порядок представляет собой то, что один из ведущих футурологов современности — Параг Ханна [Khanna, 2017] называет «прямой технократией». С точки зрения ее сторонников в лагере «жесткого», или «чистого», брекзита, будущее Великобритании представляется своего рода «Швейцапуром», сочетающим лучшие черты Швейцарии и Сингапура на глобальной арене. С точки же зрения разоблачителей, видящих в прямой технократии дистопию, последняя сводится к методам реалити-шоу, примененным к политике, то есть к чему-то среднему между «Заводным апельсином» и «Шоу Трумана» [Kane, 2016].

Но на более глубинном эпистемологическом уровне ужас, который не скрывает Кадвалладр [Cadwalladr, 2017], представляет собой симптом неспособности признать, что даже до высокотехнологичных махинаций с брекзитом «факты» уже существовали в состоянии закавыченности, причем не только в политике, но и в науке. Мы видим это

практически каждый день в спорах о значении предположительно «твердых данных» по инфляции, безработице, государственным расходам, налоговым поступлениям, уровням дохода, активности фондового рынка и торговой выручке. Во всех этих вопросах не вполне ясно, обладает ли Джозеф Стиглиц, нобелевский лауреат и бывший главный экономист Всемирного банка, каким-либо риторическим преимуществом перед политическим аналитиком, который дает цифрам откровенно политически ангажированное толкование.

Это относительно ровное игровое поле говорит не об отсутствии уважения к авторитету науки, а лишь о признании того, что научные факты являются «твердыми» только в контексте академически определенных игр «проверки гипотез», в категориях которых спорщики могут придать вес своим аргументам или, наоборот, потерять его. За пределами этого контекста подобные «факты» работают в качестве пустых ячеек, возможно, даже метафор, для желаемого направления политического курса. Важнее не то, какие именно приводятся точные цифры, а то, что они ведут в верном направлении. Так, сторонники брекзита спят спокойно, хотя британское правительство вряд ли будет тратить на Национальную службу здравоохранения «350 миллионов фунтов стерлингов в неделю», ведь (что, собственно, и заявляют эти сторонники) избиратели в конечном счете хотят лишь того, чтобы на нее регулярно тратилась более значительная сумма. Подобным образом и экономисты Банка Англии, которые ошиблись в своем предсказании того, что вскоре после голосования по брекзиту британскую экономику ждет коллапс, по-прежнему считают, что были правы, поскольку в последующий период действительно наблюдалось заметное ослабление экономического роста. То есть каждая сторона продолжает думать, что владеет истиной, тогда как противник критикуется за то, что приторговывает «фейковыми фактами».

КАК АНТИЭКСПЕРТЫ В ИГРЕ БРЕКЗИТА В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ЗАБИЛИ ГОЛ В СВОИ ВОРОТА

Ложка дегтя состоит в том, что люди, ставшие предметом только что описанного анализа данных, судя по всему, не разделяют ее попперианскую экспериментальную установку. Именно этот момент волнует теперь антиэкспертов — и должен волновать всех нас. Опиравшиеся на анализ данных стратеги, которые поддержали брекзит, полагали, что они обошли эту проблему, работая преимущественно с выявленными, а не заявленными предпочтениями, то есть обошли любую маскировку респондентов, которая могла бы представить их бо́льшими сторонниками ЕС, чем они были на самом деле. Однако сторонники брекзита не предсказали того, что люди настолько сильно идентифицируются с результатом референдума, что повернуть вспять будет сложно. Когда же это случилось, аргументом, наиболее убедительным для тех, кто голосовал за брекзит, оказался, видимо, тот, что не имел никакого отношения к конкретным политическим обещаниям. Если бы дело было в них, можно было бы заметить, что поддержка брекзита спала, когда выяснилось, что исполнить обещания невозможно, по крайней мере, теми относительно дешевыми способами, которые были предложены во время кампании. Тогда мог бы пробудиться интерес к отмене парламентом принятого решения по брекзиту, если не к новому референдуму. Но теперь, когда мы вступаем во второй год переговоров по брекзиту[3], наблюдается очень мало признаков подобного развития событий. Это говорит о том, что на самом деле брекзит удалось

---

[3] Уже после выхода книги Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 г. в 23:00 по лондонскому времени, но при этом оставалась до конца года частью единого экономического пространства. За это время Великобритания и ЕС должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества. — *Примеч. ред.*

продавить благодаря тому, что в нем увидели возвращение *народного суверенитета*, понимаемого в качестве самостоятельного блага независимо от его реального применения и последствий для тех людей, которым его всучили. В действительности в политике была стерта граница между мышлением и бытием.

Здесь стоит отдать должное большому преимуществу парламентской демократии: поскольку члены парламента официально являются «представителями народа», обычно у них есть определенное риторическое пространство, позволяющее интерпретировать «общественное благо» по-разному в свете меняющихся обстоятельств, не предполагая при этом, что концепция общественного блага, имеющаяся у самого народа, является хоть в чем-то ошибочной. Действительно, члены парламента готовы стать козлами отпущения в случае провала того или иного политического курса, поскольку регулярные выборы дают населению возможность обвинить их и заменить, в то время как ему не нужно брать на себя личную ответственность за положение страны. Имеющий юридически обязывающий характер референдум подобную удобную уловку устраняет, ведь в этом случае люди лично выносят коллективное решение относительно собственной судьбы.

Ирония в том, что настроенные против ЕС элиты, которые благоволили проведению референдума в основном потому, что стремились превратить Британию в испытательный полигон для новых торговых соглашений и других экономических схем (это так называемый «жесткий», или «чистый», брекзит), на самом деле умудрились разбудить в обществе вкус к тому, что Жан-Жак Руссо называл «общей волей». Это выражение, ставшее одним из лозунгов Французской революции, постулирует безошибочную непогрешимость коллектива, который связан общими ценностями и общим опытом. Противоположное понятие, а именно «агрегированная воля» — это своего рода

фальшивый идеал, который Жан-Жак Руссо мог бы приписать ЕС, особенно если смотреть на него с точки зрения его критиков, ведь в нем предпочтения разрозненных партий просто суммируются в процессе выработки политических решений. С точки зрения Руссо, коллективная воля связывается с безошибочной непогрешимостью благодаря общему чувству идентичности, которое реализуется на практике, когда многие действуют заодно: не соглашаться со мной значит в таком случае уже не просто бросать вызов моему личному мнению, от которого я могу отказаться, скорее, это значит бросать вызов самому моему ощущению того, кто я такой, то есть в данном случае мне как «британцу». Стоит напомнить, что общая черта сторонников и Консервативной, и Лейбористской партий, которые поддержали брекзит, заключалась в сильном ощущении угрозы национальной идентичности, которая может исходить как от иностранных мигрантов, так и от либеральных космополитов [Johnson, 2017].

Понимание сторонниками брекзита того, что их работа оборвалась, было продемонстрировано в недавнем диалоге в Twitter, о котором сообщил юридический комментатор *Financial Times* Дэвид Аллен Грин, ведущий блог под именем Джека Кентского [Green, 2017]. Собеседником Грина был один из самых «бесстыжих» антиэкспертов — Доминик Каммингс, который впервые получил известность в качестве специального советника Майкла Гоува, когда тот был министром образования Великобритании, а потом стал главным стратегом успешной кампании в поддержку брекзита, одним из руководителей которой был и Гоув. Когда Грин спросил Каммингса, считает ли он спустя год после голосования по выходу из ЕС, что британский народ при брекзите станет счастливее, Каммингс ответил, что правительственная стратегия должна заключаться теперь в максимизации «адаптивности» Британии к широкому спектру возможных будущих, каждое из кото-

рых обладает собственной формой счастья. На практике это означает, что потенциальные выгоды от выхода из ЕС должны превозноситься, тогда как издержки — затушевываться, даже если выгоды не могут полностью компенсировать издержки, если понимать издержки так, как они понимались в день референдума.

Проверкой для этой стратегии стало предложение о том, что после брекзита Великобритания должна стать открытой для любых договоров по свободной торговле с любыми странами, которые она не могла бы заключить, если бы осталась в ЕС. Очевидную потерю заметного объема торговли с Европой, который напрямую не компенсировался бы торговлей с другими странами мира, можно было бы тогда изобразить в качестве «инвестиции» в долгосрочную концепцию Британии как великой мировой державы, наиболее открытой к торговле с любыми странами. Конечно, такая «инвестиция» по-разному повлияет на разные группы населения, поэтому необходимо не только справедливо распределять издержки, но и соответственным образом приспосабливать описание этих издержек, чтобы люди не думали, что их жизнь будет слишком долго оставаться столь жалкой. В любом случае цель по-прежнему в том, чтобы оградить людей от необходимости признать, что они изначально приняли неверное решение. Но действительно ли необходим этот достаточно хитрый и, вероятно, довольно манипулятивный подход, который заключается просто в сохранении иллюзии безошибочности общей воли?

Подобный подход стал бы доказательством того, что голосование за брекзит было ошибкой. Такое доказательство должно выполняться в два этапа. Во-первых, бывший премьер-министр Кэмерон, который сразу после голосования подал в отставку, должен был признать, что объявил референдум в основном для того, чтобы решить давний внутренний спор в правящей Консервативной партии, разла-

гающее воздействие которого питало электоральные успехи Партии независимости Великобритании. В то время эта стратегия представлялась Кэмерону вполне реалистичной, поскольку он уже успел провести два референдума: один по независимости Шотландии, а другой по альтернативной схеме голосования, и в обоих одержал победу, что позволило оттеснить противников. Однако Кэмерон недооценил легкость, с которой ЕС можно превратить в козла отпущения за произвольное количество проблем, которые давили на общественное сознание, а потому брекзит стал выглядеть решением-панацеей. Это подводит нас ко второму и определенно более сложному этапу, на котором следовало бы сказать избирателям: мало того, что их подставили, заставив проголосовать по партийной повестке, так они еще и умудрились принять неправильное решение. На этом этапе вопрос о том, было общество введено в заблуждение или нет, становится гипотетическим. Факт остается фактом: девять из десяти регионов Великобритании, которым наиболее выгодно финансирование, поступающее от ЕС, проголосовали за брекзит. Суровый вердикт, гласящий, что это ситуация «пчелы против меда», в этих обстоятельствах не выглядит столь уж необоснованным.

Вопрос, соответственно, в том, сможет ли парламентская демократия Великобритании пережить это двойное признание в ошибке. По-видимому, никто, если не считать бывшего лорда-канцлера тори Кена Кларка, который ныне является парламентарием с самым долгим сроком службы[4], и лидера либеральных демократов Винса Кейбла[5], не желает проверить это на практике. Возможно, нежела-

---

[4] Звание старейшего члена Палаты общин (*Father of the House*) Кеннет Кларк носил с 2017 г. по ноябрь 2019 г., когда оставил пост члена Палаты. — *Примеч. ред.*

[5] Винс Кейбл сложил полномочия лидера либеральных демократов в июле 2019 г., а на выборах в ноябре 2019 г. не стал баллотироваться в Палату общин. — *Примеч. ред.*

ние политиков всех партий признать ошибку связано с отсутствием в Великобритании писаной конституции. Собственно, беспечности, с которой был проведен референдум столь большого национального значения, как брекзит, мог бы отвечать другой референдум, служащий решительному ограничению полномочий самого парламента, признай он, что голосование по брекзиту было чудовищной ошибкой. В конечном счете, антиэкспертные элиты, представляемые Гоувом и Джонсоном, которые смогли побить Кэмерона в его собственной игре, не смогли понять, что граждане могут воспринять объявление референдума в том смысле, будто они сами обладают собственными экспертными знаниями.

Следует вспомнить о том, что в первой трети XX в. такие сторонники управляемого экспертами массового общества, как Уолтер Липпман [Lippmann, 1922; Липпман, 2004] и Альфред Шютц [Schutz, 1946; Шютц, 2003], были обеспокоены все более чувственным характером новых медиа, когда печать дополнялась, но не заменялась звуком и видеоизображением. По их мнению, такой характер мог привести к приобретению людьми своего рода «псевдоопыта», заставляющего их думать, что они знают больше, чем на самом деле, просто получив возможность заявить, будто «видели» или «слышали» определенные вещи в эфире, а те, в свою очередь, впоследствии смешиваются с их реальным личным опытом, порождая то, что люди считают политически значимыми суждениями. И правда, «эксперт» — этимологически сокращение от слова «опытный» (*experienced*). Первоначально «экспертами» были люди, которые могли доказать в суде, что ранее они были свидетелями определенной закономерности в поведении, которая значима для принятия решения по рассматриваемому делу [Fuller, 2002, ch. 3]. Также предполагалось, что значение, связываемое с этим опытом, является «надежным», причем в двойном смысле, то есть «повто-

ряемым» и «заслуживающим доверия». Этим уже подразумевались вопросы образования и аккредитации, которые превратили «экспертизу» в эпистемический регион с высокой рентой, тогда как значение того, что, собственно, испытывалось в «опыте», оказалось в этом смысле *одновременно* неопровержимым и ограниченным.

Итоговая картина, отстаиваемая Липпманом, Шютцем и другими авторами, говорила о том, что социальный порядок в сложных демократиях требует «распределения знаний» или «разделения когнитивного труда». Такое предложение, по сути, порождает феодальную модель, скрытую за картографическими образами, которые по-прежнему заставляют представителей академии называть свои экспертные знания «полями» или «сферами» знания, разграниченными ритуалами взаимоуважения и доверия. Британская парламентская политика тоже в значительной степени опирается на эту модель, которая породила класс «профессиональных политиков», выборных представителей народа, но не делегатов, чей этос служения обществу взращивается с младых ногтей в независимых школах, которые британцы по традиции называют общественными. Конечно, антиэксперты официально против этой модели, несмотря на то что они сами укоренены в этих элитистских умонастроениях. Однако они заодно со сторонниками экспертизы в том, что у них в конечном счете один враг — руссоистское представление о том, что толпы являются носителями особой мудрости, особенно когда они приняли решение о плане действий, даже если остается совершенно неясным, как его осуществить и какими могут быть результаты. Исторически подобный разрыв между волей и знанием часто создавался демагогией, когда фигура диктатора начинала олицетворять публично заявленное устремление. Хотя Великобритания вряд ли свернет на дорожку демагогии, следующие несколько месяцев и лет в жизни страны станут крайне

интересным, но при этом очень рискованным экспериментом в области демократии, который многому научит мир, каким бы ни был конечный результат.

Хотя антиэкспертная революция развивалась не вполне по плану, она остается вектором судорожного прогресса демократии. Более того, академия — также один из пунктов повестки этой революции. Моя собственная антипатия к экспертизе подпитывалась идеей Йозефа Шумпетера о предпринимательских инновациях как о «созидательном разрушении». По меньшей мере, начиная со своей работы 2003 г. [Fuller, 2003a] я доказывал, что университету необходимо следовать установкам Шумпетера, чтобы главным в нем перестали считаться узкие места, создаваемые им в потоке знаний за счет распределений квалификаций и других форм «системы фильтрации», которые скептическому взору представляются поиском ренты. (Вспомним о корнях этого термина — *gatekeeping* — в практике установления средневековых пошлин.) В этом смысле я призывал университет вернуться к своей просвещенческой миссии и перестать отдавать предпочтение исследовательской деятельности, которая, видимо, составляет основу для поиска ренты путем закрепления прав первенства в научной литературе и в патентном бюро. Способность академии противодействовать экспертизации находит выражение в учебной аудитории, поскольку преподавание дает доступ к знаниям тем, кто в ином случае не мог бы приобрести их, не став частью контекста, в котором такие знания производятся и распределяются. Таким образом, университеты производят знания в качестве общественного блага путем созидательного разрушения социального капитала, сформированного исследовательскими сетями. И это их единственное коммерческое преимущество [Fuller, 2009; 2016a].

У бизнес-школ, возможно, уникальное положение, позволяющее им выполнять эту функцию. Преподаватель-

ский состав в них обычно прошел обучение за пределами академического поля бизнес-обучения, а в том случае, если бизнес-школа вообще на что-то годится, большинство людей, которые обучаются у таких преподавателей, и сами не останутся в этом академическом поле. Если какая-то часть университета и заслуживает права нести светоч антиэкспертности, то это именно бизнес-школы. В самом деле, если бы мне пришлось собирать философский факультет, я бы набрал на него людей, которые не получили профессионального образования, но которым было бы дано право обучать студентов, по большей части планирующих в будущем работать за пределами такого поля. Иными словами, он был бы похож на современную бизнес-школу. Подобный факультет мог бы даже добиться такого же успеха, что и бизнес-школы, если бы следовал этой организационной модели. Однако мой довод состоит в пригодности такой модели для философии как дисциплины, а не в ее точной финансовой результативности. «Философия», как и слово «бизнес», в таком случае должна была означать прежде всего «форум», или рынок (в греческом языке это одно и то же слово — *agora*), где люди, которые за его пределами были друг для друга чужими, обладали бы свободным пространством для обмена притязаниями на знание, предположительно выгодного всем сторонам, целью которого является, возможно, достижение целого, большего суммы своих частей. В принципе, такое пространство может быть где угодно, однако учебная аудитория могла бы стать образцовым пространством для подобного рода трансакций. Основная цель этого упражнения состояла бы в порождении общего чувства гуманизма.

Конечно, сделка в такой ситуации не вполне симметрична. Ничего нельзя продать, пока нет чего-то на продажу, а потому и академики должны сначала выйти с предложением, пытаясь убедить будущих студентов в том,

что есть что-то такое, что им нужно знать. На более абстрактном уровне такой начальный гамбит подкрепляет идею бремени доказательства, то есть нормативное основание, на котором стоит любой аргумент в реальной жизни: если я утверждаю, что вам чего-то недостает, моя задача — доказать это. Из этого следует, что я должен обладать определенными востребованными товарами. Это демонстрируется тем, что именно студенты берут из предложенного академическими учеными. Опираясь на Адама Смита, экономист Дейдра Макклоски [McCloskey, 1982; Макклоски, 2015] доказывала подобие, если не тождество, обмена идеями и обмена товарами, который она связывает (по-моему, вполне обоснованно) с искусством риторики. В этом случае то, что считается «каноном» западной философии, может пониматься в качестве знания такого рода, что производится в соответствии с подобным духом спроса и предложения. На страницах канонических произведений читатель найдет множество реальных и воображаемых трансакций, которые либо проводились, либо даже были доведены до результата. Диалоги Платона — лишь наиболее очевидный пример такого рода, который, возможно, объясняет, почему каноны всегда начинаются с него, а остальная философия представляет собой «сноски» к нему, по крайней мере, по мнению Альфреда Норта Уайтхеда, который на самом деле не был большим поклонником Платона. В любом случае для создания подобного «канонического» эффекта можно было бы выбрать работы, отличные от ныне почитаемых, и в будущем они, возможно, и правда будут выбраны.

Глава 2
Что о ситуации постистины может рассказать философия

ИСТОРИЯ ИСТИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОСТИСТИНЫ

Философы утверждают, что ищут истину, но на самом деле это не так уж очевидно. Их можно также считать наиболее опытными экспертами по миру постистины. Они видят в «истине» то, чем она и правда является, а именно название бренда, вечно нуждающегося в продукте, который купит каждый. Это помогает объяснить, почему философы увереннее всего апеллируют к «Истине», когда пытаются убедить нефилософов, например, в судах или учебных аудиториях. Говоря на профессиональном жаргоне, «истина» вместе с понятиями, ей родственными, «по существу своему спорна» [Gallie, 1956]. Другими словами, философы расходятся не только во мнениях о том, какие пропозиции являются истинными или ложными, но и, что еще важнее, о том, что значит утверждать, что нечто является истинным или ложным.

Если мое замечание кажется вам слишком жестким или циничным, рассмотрим «карьеру» ключевых философских категорий, позволяющих обмениваться притязаниями на знание. Не последние в числе таких категорий —

«свидетельства» (*evidence*) и собственно «истина». Свидетельства — удобный отправной пункт для разговора, поскольку он прямо ведет к популярному образу нашего мира постистины как мира «после фактов», понимаемого в качестве злонамеренного отрицания прочных, хотя, возможно, и не неопровержимых, свидетельств, независимость которых устанавливает пределы того, что можно с тем или иным основанием утверждать о мире.

Но только в раннее Новое время философы начали проводить различие между чисто фактической концепцией свидетельств и личным признанием или же свидетельством авторитета. Этот разрыв стал очевидным лишь в середине XIX в., когда свидетельства, опирающиеся на мнение людей, в книгах по логике стали регулярно относить к «неформальным ошибкам», если только у таких людей не было «прямого знакомства» с рассматриваемым вопросом [Hamblin, 1970]. Само понятие «эксперт», являющееся юридическим изобретением конца XIX в. и представляющее собой сокращение от слова «*experienced*» («опытный»), позволило расширить идею «прямого знакомства» так, чтобы включить людей с определенным образованием, благодаря которому у них есть право на основе своего опыта делать индуктивные обобщения, относящиеся к рассматриваемому в данный момент вопросу. Таким образом, недавно попавший под запрет «аргумент от авторитета» вернулся через заднюю дверь [Turner, 2003].

Это постепенное оформление понятия свидетельства стало частью более общего процесса секуляризации знаний. В то же время было бы ошибкой считать, что современное понятие было создано специально для научного исследования. Скорее, оно выступало переложением процедуры инквизиции, использовавшейся в Европе для выявления еретиков и ведьм. В Англию эту процедуру импортировал Фрэнсис Бэкон, юрист короля Якова I, считавший, что природа сама скрывается от закона, слишком

долго пряча свои секреты от человечества. Поэтому нужны были особые суды, которые бы заставили природу расстаться с ее обычной двусмысленностью и выбрать между двумя взаимоисключающими ответами [Fuller, 2017].

Бэкон называл такие судебные расследования *Experimentum crucis* (решающим опытом), а Карл Поппер тремя столетиями позже превратил их в золотой стандарт научного метода. Конечно, у Бэкона и Поппера не было никаких иллюзий насчет того, что факты, произведенные, как мы сказали бы сегодня, в условиях «чрезвычайной выдачи», могут быть выражениями природы в более спокойных обстоятельствах. Напротив, Поппер дошел до того, что стал называть факты конвенциями, имея в виду удобные промежуточные остановки на бесконечном пути инквизиции природы. В конце концов, опыты считались решающими именно потому, что их результаты позволяли ускорить получение будущих знаний, которые в противном случае раскрывались бы — независимо от того, хорошо это или плохо — по графику самой природы, а потому у человечества было мало возможностей запланировать ответ, не говоря уже о том, чтобы направить движение природы на благо человечества.

Что касается «истины» («*truth*»), то само слово восходит к староанглийскому «*troth*», в котором уже заложены все философские сложности, присущие этому понятию. «*Troth*» означает верность, но чему именно — *источнику* или *предмету*?

Первоначально «истина» в этом смысле означала верность источнику. То есть речь шла о лояльности инстанции, уполномочивающей того, кто высказывает истину, и такой инстанцией могли выступать как христианское божество, так и римский военачальник. В этом контексте верность связывалась с выполнением того или иного плана, будь то план мироздания или сражения. Человек действовал в рамках *истины*, выполняя намерение силы,

предоставившей ему полномочия, независимо от того, как именно оно выполнялось и с каким результатом. Именно этот смысл «истины» позволил иезуитам, католическому контрреформаторскому ордену, основанному испанским офицером Игнатием Лойолой, исполнять промысел Божий, действуя на основе принципа «цель оправдывает средства».

Однако благодаря другому католику, Фоме Аквинскому, истину в современный ему период стали считать верностью предмету, а именно эмпирическим объектам, уже попавшим в поле игры. Его собственное латинское выражение — *adequatio ad rem*, неточно переводящееся как «соответствие вещи», отражает расхолаживающий характер этой концепции, которая по-прежнему в чести у философов, называющих ее «корреспондентной теорией истины». Фома Аквинский, писавший в конце XIII в., в период массового распространения ереси, утверждал, что мир, как он дан нам в обычных условиях, достаточно близок к божественному плану, а потому верующий должен перестать пытаться угадывать намерения Бога и вместо этого сосредоточиться на прояснении эмпирических деталей Творения. Сегодня Фома Аквинский является официальным философом церкви, надежным ориентиром для приспособления науки к вере.

Эти противоположные тенденции, заключенные в понятии истины, — то есть ориентация на источник или на предмет — сохранились и в наши дни. Ньютон, который, как известно, во втором издании своей «*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*» провозгласил «*Hypotheses non fingo*» («гипотез не измышляю»), на самом деле просто успокаивал подозрительных религиозных читателей, боявшихся того, что он, возможно, пытается проникнуть в «Разум Бога», а не просто предлагает ясное описание порядка природы. Конечно, учитывая объемные теологические сочинения Ньютона, при жизни не публиковавшие-

ся, он и в самом деле стремился разгадать намерения божества, в которое верил. Он стремился к источнику, а не просто к предмету всякого знания. Если принять это в расчет, можно увидеть иронию в том, что такой патентованный «атеист», как физик Стивен Хокинг, преемник Ньютона на посту главы кафедры математики в Кембридже, умудрился сделать ставку на «Разум Бога» как основную метафору в своей классической научно-популярной «Краткой истории времени». Ньютон и Хокинг различаются не только содержанием своей деятельности, но также уровнем самосознания. Ньютон намеренно скрывал то, от чего ко временам Хокинга формально отреклись, а может, и вообще давно позабыли.

Философом, позволяющим сориентироваться в этой порой несколько сюрреалистической интеллектуальной среде постистины, выступает Ганс Файхингер (1852–1933) — человек, на котором лежит ответственность за превращение Иммануила Канта в оплот академических исследований, поскольку именно он основал в 1896 г. журнал *Kant Studien*. Файхингер разработал также определенное мировоззрение на основе часто употреблявшегося у Канта выражения «*als ob*» («как если бы»). В значительной степени нормативная сила философии Канта проистекает из такого мышления и действия, «как если бы» определенные вещи были истинными, даже если вы, возможно, никогда не сможете доказать их и даже если они могут оказаться ложными. Файхингер [Vaihinger, 1924] назвал появившееся таким образом мировоззрение фикционализмом, и именно оно выражает кульминацию постистины как особой чувствительности. С точки зрения Файхингера, философия представляется наиболее постистинностным полем из всех существующих.

Идею Файхингера полезно рассмотреть с точки зрения общеизвестного раскола современной философии на «аналитическую» и «континентальную». Аналитики об-

виняют континенталов в том, что те переняли у Фридриха Ницше все его дурные привычки. Результатом стала традиция дурных рассуждений, ложных филологических изысканий, эксцентричных историй, обскурантизма и гипербол. Вот уж действительно целый букет преступлений против истины, но интересно, что наиболее важным и устойчивым вкладом аналитической философии считаются несколько мысленных экспериментов, по сути, попросту плодов воображения (таких, как «мозги в бочке» Хилари Патнема или «китайская комната» Джона Серла), которые, однако, выдаются за героические абстракции, полученные на основе некоей гипотетической реальности. Остальная часть аналитической философии представляет собой, по сути, всего лишь схоластические препирательства по поводу точной формулировки этих мысленных экспериментов и выводов, которые из них позволительно сделать. Иногда, впрочем, такие препирательства оживляются моментами сильнейшего негодования, а также демонстрацией невежества, узколобия и предубеждения по отношению к другим, как правило, «континентальным» или «постмодернистским», способам рассуждения.

Файхингер мог бы помочь нам в понимании того, что происходит сегодня. Наш подход к миру он разделил на *вымыслы* и *гипотезы*. В вымысле вы не знаете, что живете в ложном мире, тогда как в гипотезе знаете, что не живете в ложном мире. В обоих случаях «истинный мир» не обладает никаким определенным эпистемическим статусом. Напротив, вы предполагаете «ложный мир» и в своем рассуждении исходите из него. С этой точки зрения континентальные философы — это поставщики вымыслов, а аналитические — гипотез. То, что в быту мы называем реальностью, колеблется между двумя этими полюсами, никогда на самом деле не приближаясь к какому-то надежному смыслу истины. Вымыслы нужно представлять в качестве того, что существует в диапазоне от драм до за-

конов («юридических фикций»), а гипотезы — в диапазоне от сочинений Евклида и до того, что ученые проверяют в лабораториях, или же того, что делают люди, когда планируют будущее.

Значит ли это, что истина — понятие попросту избыточное? На это как раз и указывает «избыточная теория истины», предложенная логиком Фрэнком Рамсеем. Кроме того, теории истины, которые наследуют ей, но называются по-разному — «дефляционная», «дисквотационная», «экспрессивная» или даже «гоноративная» (если вспомнить интерпретацию Джона Дьюи у Ричарда Рорти), — тоже могут быть добавлены к постистинностному репертуару аналитической философии [Haack, 1978, ch. 7]. Но «на самом деле» (если так можно выразиться), Файхингер бы сказал — и я с ним согласен, — что истина оказывается всем тем, что определяется судьей, полномочным в рассматриваемом деле. Другими словами, Бэкон в конечном счете был прав, а это, возможно, объясняет, почему Кант посвятил ему «Критику чистого разума». Но о каких именно полномочиях мы здесь говорим? В следующем разделе, который посвящен философским началам всего концептуального комплекса постистины, я сосредоточусь на идее *модальной власти*, которая включает контроль над тем, что считают возможным другие люди. Когда Отто фон Бисмарк заявил, что политика — это искусство возможного, он тем самым признал открытие Платоном того, что всякая власть сводится к модальной власти.

РОЖДЕНИЕ РИТОРИКИ КАК КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОСТИСТИНЫ

Различие философии и риторики как областей академического исследования в период Нового времени все больше

институционализировалось. На самом деле это еще слабо сказано. В это время судьба философии радикально разошлась с судьбой риторики. Философия стала чрезвычайно серьезной дисциплиной, посвященной Истине, тогда как риторику стали считать в лучшем случае служанкой Истины, которая изображалась то простым украшательством, то откровенной диверсией. Во многих отношениях именно такого результата и хотел добиться Платон. Более того, существует отдельный промысел, которым занимаются исследователи, гадающие, как Платон — в лице многочисленных сократов, говорящих его голосом, — смог провернуть этот трюк в борьбе с софистами, торговцами постистиной в Афинах IV в. до н.э. Софисты, скорее, желали, чтобы различие между философией и риторикой вообще не проводилось. И должно быть ясно, что в этом споре я на их стороне.

Вопреки общепринятому мнению исследователей, размышлявших об этих вопросах, я полагаю, что Платон и софисты расходились друг с другом не столько в том, что можно считать хорошей «диалектической» (то есть философской или риторической) практикой, сколько в том, каким должен быть доступ к ней — свободным или ограниченным. Действительно, я хотел бы, чтобы мы видели и в Платоне, и в софистах торговцев постистиной, которые при конструировании истины больше озабочены сочетанием удачи и умения, чем истиной как таковой. Обращая особое внимание на враждебность Платона к драматургам, я буду доказывать, что ставкой является не что иное, как контроль над «модальной властью», которая в конечном счете определяет сферу возможного в обществе. Закончу я коротким обсуждением проблематики связей с общественностью как современной версии примерно той же истории.

Около 25 лет назад Эдвард Скьяппа и Джон Пулакос вступили в довольно специфический спор об истоках риторики, который в итоге выплеснулся в ряд книг и жур-

нальных статей [Schiappa, 1990a; 1990b; Poulakos, 1990]. Специфика этого спора определялась тем, что он вроде бы был завязан на чисто формальный вопрос, который Скьяппа проработал чрезвычайно подробно, а именно вопрос о том, что «риторика» как имя существительное вообще не существовала до тех пор, пока Платон не изобрел ее в «Горгии». Но ставкой спора было нечто большее, что вполне понимал Пулакос: речь шла о возможности отрицания самостоятельной, сознающей себя риторической традиции, которая не была бы подчинена традиции философской. Такое откровенно антиплатоновское понимание риторики давно отождествлялось с «софистами», учителями словесных искусств, которые в сократических диалогах в основном играют роль фона. Однако даже защитники софистической чести были вынуждены признать, что само представление о том, что эти учителя разделяли какое-то общее мировоззрение, в значительной степени определяется тем, что своего общего врага они нашли в лице Сократа. В самом деле, Скьяппа обвинил Пулакоса и других защитников софистов в том, что они стали жертвами риторики самого Платона, поскольку довольно разношерстную группу персонажей они рассматривали так, словно они составляют единую школу мысли. Более того, Скьяппа также, видимо, считал, что внимательное исследование исходного словоупотребления у Платона показывает, что в целом оно предвосхищало отказ аналитической философии от «риторики» как от чего-то ненужного, обманчивого и ошибочного.

В контексте этого спора я склонен согласиться с вердиктом Пулакоса, заявившим, что внимание Скьяппы к букве греческого текста не позволяет ему понять дух греков. Однако я не так уверен в положительных утверждениях самого Пулакоса, который отстаивал независимость софистической традиции. В конце концов, Сократ и его противники-софисты у Платона не так уж различаются

в той власти, которая есть у них над *логосом*. Собственно, это, вероятно, и есть причина, по которой они готовы считать друг друга ровнями в диалоге, что существенно отличается от эпистемического авторитета, которым они пользуются у своих фанатов или клиентов. Однако, помимо тех или иных доктрин, которые могли, а может, и не могли быть у них общими, в софистах как группе Платона раздражало, что они продавали свои диалектические навыки любому, кто был готов платить, независимо от того, действительно ли этот человек нуждался в таких навыках. Ранее я уже указывал на то, что стиль софистов, возможно, предвосхитил маркетинг в современном смысле предложения товаров, которые увековечивают спрос на самих себя, поскольку важнейшим коммерческим свойством риторических услуг софистов было именно то, что их покупатель получал конкурентное преимущество по определению временное, а потому всегда нуждающееся в пополнении (ср. с «пожизненным образованием»). Это существенно расходилось с тем взглядом на рынки, который обнаруживается у Аристотеля, мыслившего их в качестве расчетных центров, служащих для уравновешивания излишков и дефицитов домохозяйств, причем в любом случае сами по себе рынки целью не были [Fuller, 2005b, ch. 1].

Если определять самый большой грех софистов в более привычных риторических терминах, он заключался в их равнодушии к характеру потенциального клиента. Конечно, Сократ никогда не порицает желание софистов заработать себе на жизнь. Он даже допускает, что их уроки имеют определенную ценность. Однако Сократ клеймит софистов за спекуляции на своем товаре, ссылаясь на тип людей, которых эти услуги обычно привлекают. В этом отношении Сократ — изначальный враг свободного рынка. Он считает, что только людей с правильным характером можно учить тем навыкам, которым в меру сво-

их возможностей могут учить и софисты. Действительно, в переписке с Лео Штраусом Александр Кожев отмечал, что Платон отстаивал такую биржу метауровня, на которой те, кто знает, как управлять, вступали бы в трансакции с теми, у кого есть власть, позволяющая управлять, так что каждый удовлетворял бы законные потребности другого, что создавало бы целое, которое было бы больше суммы своих частей [Strauss, 2000; Штраус, 2006]. В этом уже скрывается вывод, на котором Платон основал свою карьеру, а именно: соответствующий рынок должен оставаться малым. Кроме того, к тому времени, когда Платон писал свои труды, деструктивные последствия широкого распространения софистических учений уже успели сказаться на безопасности Афин как государства. Но важнее то, что Платон требовал не уничтожить софистические учения как таковые, а ограничить доступ к ним, предоставляя его только специально подготовленному классу будущих лидеров, «царей-философов», описание которых приводится в «Государстве».

Эта стратегия помогает объяснить озабоченность Платона цензурой и особенно предложенное им изгнание «поэтов», хотя с таким же успехом он мог бы говорить о «софистах», то есть обо всех тех, у кого есть навыки, которые могли бы составить конкуренцию тем, что необходимы царю-философу. В этом смысле можно было бы сказать, что Платон придумал термин «риторика» не столько потому, что хотел провести различие между хорошей философией и плохой, сколько потому, что желал собрать полный комплект философских навыков в виде одного источника власти и контроля. Мы могли бы назвать это — по аналогии с «монополистическим капитализмом» — *монополистическим интеллектуализмом*. Например, когда Сократ проводит свое знаменитое разоблачение искусства письма в «Федре», следует понимать, что в той же или даже большей мере он обличает индивидуальное применение

письма, а не просто письмо как таковое. В конце концов, письмо способно каждого человека сделать законом для него самого, поскольку каждый может сочинять сценарии, которыми станет руководствоваться в своей речи и своих поступках. Хотя Сократ подчеркивал проистекающую из такого положения дел неподлинность слов, перспектива создания общества грамотных индивидов еще больше усложняла задачу управления, как она видится любому начинающему царю-философу, ведь в таком случае поступки и слова людей опосредовались бы на таком уровне, на котором их мысли стали бы менее прозрачными, а потому и менее доступными для манипуляций.

Рассмотрим другой пример: ключевая риторическая стратегия, применяемая Платоном в «аллегории пещеры», в седьмой книге «Государства», включает переключение точки зрения, то есть сдвиг от того, что видят люди света, к тому, что видят люди тьмы, причем цель в том, чтобы дать первым возможность вывести из пещеры вторых. Эта способность переворачивать точку зрения представляла собой диалектическое умение, которому обычно учили софисты. Однако, поскольку такое умение становилось доступным всем платежеспособным клиентам, суммарный эффект его освоения состоял в том, люди получали возможность предугадывать ходы друг друга, а потому политика уподоблялась игре, в которой ритор постоянно то упреждает своего собеседника, то приспосабливается к нему, неизменно представляя его своим противником. В столь подвижных и даже нездоровых условиях у диалектика очень мало возможностей или желания осуществить нечто похожее на диалектический синтез в духе Гегеля или *Aufheben* (снятие), в котором противники обнаруживают пространство, позволяющее им отложить свои различия и достичь большего, чем они могли бы достичь каждый своими силами или же в результате конкуренции за одну и ту же позицию [Melzer, 2014, ch. 3].

Пока у меня получалось обсуждать Платона и софистов, не используя слова *истина*. Дело в том, что и первый, и вторые ориентировались, если говорить в современных категориях, на постистину. Их интересовала не столько сама истина, сколько условия, в которых истина возможна. Интуитивно это можно понять — как и увидеть, в чем же различие между Платоном и софистами, — если обратить внимание на то, что и софисты, и Платон считали политику игрой, то есть полем игры, предполагающим определенное сочетание удачи и умения. Однако софисты считали политику преимущественно *азартной игрой*, тогда как Платон видел в ней *игру мастерства*. Так, клиент, прошедший обучение у софистов, применяет навык, чтобы максимизировать случайность, которая затем может быть превращена в удачную возможность, тогда как царь-философ использует примерно те же самые навыки для минимизации случайности или же для противодействия чистому случаю. Далее я в основном буду заниматься фигурой *драматурга* как особой разновидности «поэта», бросающего вызов платонической инициативе в самом важном ее пункте, поскольку он обыгрывает именно это различие.

Исполнительские искусства — естественный медиум мира постистины. Классическое расхожение Платона и Аристотеля по вопросу нормативного статуса театра позволяет понять этот момент. По сути, они оказались двумя сторонами одной медали. У Платона драматурги и артисты вызывали крайнее подозрение своей способностью сбивать у аудитории ощущение различия между реальным и возможным, тогда как Аристотель приветствовал драматические представления, но только в том случае, если сюжет пьесы достигает развязки за время сценического действия. Таким образом, ни тот, ни другой не поощряли перехлест театральных эффектов на общество в целом. Однако Платон считал такой перехлест явной политиче-

ской угрозой, тогда как Аристотель — всего лишь эстетической неудачей. В этом различии, возможно, отразилось то, что Платон писал, когда Афины еще были независимым демократическим государством, тогда как Аристотель — уже после того, как город попал под власть его работодателя Александра Великого. Другими словами, когда Аристотель рассуждал о нормативном статусе театра, цена вопроса была уже невелика.

Почему размывание различия между *действительным* и *возможным,* или, если преподнести то же различие в несколько иной форме, между *фактом* и *вымыслом*, представляет столь значительную политическую угрозу? Для начала напомним о двух общих типах обоснования моральных теорий: с одной стороны, они могут обосновываться отсылкой к законодателю, который либо является человеком, либо ориентирован на людей, с другой — они обосновываются отсылкой к «природе», понимаемой в качестве сущности, либо безразличной к человечеству, либо заинтересованной в людях, но только как части более общего порядка. Традиция, включающая Моисея, Иисуса, Канта и Иеремию Бентама, относится к первой категории. Тогда как традиция, включающая Аристотеля, Эпикура, Дэвида Юма и современных эволюционных биологов, — ко второй. Что касается Платона, он, что примечательно, придерживался по этому вопросу двойственного мнения. Да, он верил в истину, обоснованную в первом смысле, предлагая уроки возможным политическим лидерам — царям-философам — в соответствии с такой трактовкой. Но в то же время Платон считал, что бесперебойное функционирование государства требует, чтобы все остальные верили в «естественное» обоснование морали.

В историях теологии и философии двойственная позиция Платона обычно называется *учением о двойной истине* [Melzer, 2014, ch. 2]. Это выделяет его в качестве мыслителя постистины, но не потому, что он отрицает наличие ис-

тины. Платон не только не отрицает наличие истины, но и приносит ей клятву верности. Скорее, постистинностный подход Платона проявляется в той ограниченной роли, которую он отводит истине в делах человека, в закавыченном понимании «истины», закрепляющей эпистемическое превосходство системы убеждений элит над таковой масс, что, с его точки зрения, обеспечивает более эффективное правление. В самом деле, учение о двойной истине постулирует, что и элиты, и массы должны быть заинтересованы в наличии двух «истин»: одна распространяется на всякий возможный мир, в котором мы могли бы жить (постистинностный смысл «истины правителей»), а другая заверяет каждого в том, что мир, где мы сейчас на самом деле живем, справедлив.

Пока протестантская Реформация не запустила процесс распространения грамотности в Европе, платоновское понимание элитной истины было доступно лишь меньшинству, умеющему читать и писать. Эти люди могли вполне серьезно стремиться постичь разум Бога, что было золотым стандартом понимания манипуляций с возможными мирами. В конце концов, сама идея возможных миров укоренена в способности по-разному интерпретировать текст, которая, в свою очередь, требует грамотности. Однако с массовым распространением грамотности платоновская чувствительность начала демократизироваться. «Постистинностный» горизонт платоновских элит постепенно «приватизировался», когда все больше людей учились читать текст самостоятельно, интерпретировать его по-своему и составлять законы для самих себя. То, что получило название «публичного», означало истину, предписанную в данном поле, то есть подразумевала наличие правил текущей игры, которые коллективно ратифицировались и применялись этим множеством платоников. То есть публичное стало материей «общественных договоров» и «конституций». Когда во времена Просве-

щения XVIII в. на этот феномен обратили внимание, «лицемерие» предстало амбивалентным термином, обозначающим тех, кто публично играет по правилам, но при этом пытается применять их себе на пользу [Sennett, 1977; Сеннет, 2002]. Политика парламентов и собраний сохранила эту демократизированную платоновскую установку вплоть до наших дней. Однако сегодня мы живем в эпоху еще большей демократизации, связываемой с развитием киберграмотности, то есть с «состоянием постистины».

Но вернемся к Платону. С его точки зрения, артисты виновны в том, что создают живое ощущение какого угодно числа «неестественных» порядков, то есть альтернативных миров, которые наводят зрителей на мысль о том, как бы воплотить их, выйдя из театра, — воплотить исключительно силой своей личности и воли. Конечно, именно так законодатель и утверждает свой «естественный» порядок, однако он в обычном случае не сталкивается с конкуренцией, заставляющей его раскрыть карты. Платон, а вслед за ним и Макиавелли считали, что прочность сотканной законодателем политической ткани сохраняется лучше всего тогда, когда швы ее остаются скрытыми, а не разоблачаются как всего лишь импровизации по мотивам сценария, который можно было бы прочесть иначе и получить альтернативную версию реальности [Goodman, 1978; Гудмен, 2001; Fuller, 2009, ch. 4; Фуллер, 2018, гл. 4].

Как и следовало ожидать от человека, который революционизировал философию, переняв саму форму драмы, Платон отлично понимал драматургов, как и они его. Они стали заклятыми врагами в постистинностном мире, в котором «настоящие верующие», если можно их так назвать, составляют остальную часть общества, то есть «массы», которые видят в законности своего мира отражение некоего естественного порядка, а *не* итог борьбы за власть противоборствующих сил. Собственно, Платон и

драматурги борются за *модальную власть*. Я имею в виду здесь понятие модальности, которая в современный период часто понималась в качестве своего рода логики второго порядка.

Говоря в целом, модальность связана с тем, как нечто существует в мире: если определенная пропозиция *p* истинна, насколько она истинна? Даже если мы согласимся с тем, что *p* и правда истинна, есть существенная разница в том, считать ли, что *p необходимо* истинна или же только *случайно* истинна. Конечно, большая часть того, во что мы верим, считается нами случайно истинным, но случайность и сама составляет спектр возможностей, начиная с почти полной необходимости (когда, к примеру, очень трудно представить условие, при котором истина *p* была бы отменена) и заканчивая почти полной ложностью (когда очень легко представить условие, при котором истина *p* была бы аннулирована). Платоновский политический порядок поддерживается массами, считающими, что случайное является почти что необходимым. И наоборот, театр — это основное средство преобразования случайных истин законодателя — и статус-кво в целом — в почти полную ложность, что достигается за счет сценического построения правдоподобных альтернативных («почти истинных») реальностей, конкурирующих с теми, что обычно демонстрируются за пределами театра.

При таком понимании модальной власти знаменитые диалоги Платона о природе справедливости могут предстать в несколько ином свете, особенно когда его позицию выражает его неотцензурированный представитель, Сократ. Ключевым моментом выступает цитата, сфабрикованная Фукидидом в пятой книге «История Пелопоннесской войны». Один афинский дипломат рассказывает своему коллеге, представляющему страну, которая скоро будет завоевана, что «право, как водится, это вопрос лишь среди равных по власти, тогда как сильные делают то, что

могут, а слабые терпят то, что должны». Эта цитата считается предпосылкой для диалектической встречи Сократа с Фрасимахом в «Государстве», где последний доказывает, что «сила создает право»[1]. Содержание вопросов Сократа не вполне совпадает с тем, как оно обычно представляется. Сократ понимает Фрасимаха в том смысле, будто, по мнению последнего, право на правление предполагается самой идеей могущества, на что он отвечает, что право на правление достается тому, кто обнаруживает, что никто другой не стал бы лучшим вождем, а значит, сила правителя вытекает из *этого* факта. Короче говоря, Сократ переворачивает утверждение Фрасимаха: *право создает силу*.

Но как именно мы должны анализировать контрдовод Сократа? В конечном счете, «право» в этом контексте означает, судя по всему, не что иное, как «сравнительное преимущество». Более того, было бы анахронизмом предполагать, что Сократ имеет в виду некую стандартную демократическую процедуру, которая наделяла бы правом на правление на основе, скажем, результатов голосования. Афиняне практиковали аккламацию и выборы путем жеребьевки. Скорее, он имеет в виду нечто гораздо более неопределенное и в то же время похожее на игру. «Сила» оценивается в зависимости от восприятия того, что серьезных альтернатив не существует, что кандидат «почти что необходим», а потому получает право править. Как именно публично доказывается эта почти

---

[1] Соответствующая цитата из русского перевода Фукидида: «Ведь вам, как и нам, хорошо известно, что в человеческих взаимоотношениях право имеет смысл только тогда, когда при равенстве сил обе стороны признают общую для той и другой стороны необходимость. В противном случае более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться» [*Фукидид*. История. Кн. 5. 89]. Из Платона: «... я называю справедливостью выполнение того, что пригодно сильнейшему» [*Платон*. Государство. 341a]. — *Примеч. пер.*

полная необходимость — вопрос открытый, однако Сократа вполне можно понять в том смысле, что его тезис подразумевает согласие правителя и подвластного. Другими словами, обе стороны должны каким-то образом — мирным путем или насильственным, дискурсивным или интуитивным — прийти к согласию о том, что одна сторона лучше годится для правления, то есть интересы обеих сторон оптимизированы таким соглашением.

Естественным потомком такого подхода в наши более демократические и более экономистские времена является «принцип различия» Джона Ролза [Rawls, 1971; Ролз, 1995], составляющий основу его знаменитой теории справедливости. Согласно этому принципу неравенство оправдано, только если наиболее неблагополучные группы населения получают в этом случае бóльшую выгоду, чем в том, если бы неравенство отсутствовало. Однако этим предполагается, что люди могут — так или иначе — согласиться с суждениями такого рода, в том числе и тогда, когда дело доходит до признания легитимности подчинения самих себя «вышестоящему». Платоник боится того, что драматурги могут разрушить тонкое ощущение «почти полной необходимости», которое скрывается за подобными суждениями, убедив зрителей в том, что истинное сегодня может завтра оказаться ложным, и наоборот, то есть «необходимое» накрывается тенью «возможного». Драматурги угрожают разоблачить то, что сам Платон предпочел бы оставить скрытым, а именно подавление воображения, необходимое для того, чтобы режим законодателя соответствовал имеющемуся у людей чувству естественного порядка.

Если судить со строго драматургической точки зрения, самый большой комплимент, который можно сделать драме, — сказать, что действие на сцене настолько «реалистично», что его легко представить и за пределами сцены. Но именно в этом пункте различие факта и вымыс-

ла размывается, что создает опасность для платоновского мира «закона и порядка». Если говорить в категориях модальной власти, различие факта и вымысла сильнее всего тогда, когда разным состояниям мира легко приписать разные степени неопределенности, составляющие спектр от необходимого (являющегося модальным эквивалентом «определенно истинного») до невозможного (модального эквивалента «определенно ложного»). В обыденном опыте этим занимается здравый смысл, оценивающий «рискованность» различных действий и планов. Однако, когда все кажется равно (не)определенным, тогда различие факта и вымысла действительно стирается, а значит, драматург одержал победу над царем-философом. В таком случае люди начинают недооценивать риски, связанные с фундаментальной переменой в порядке действий, а потому и соглашаются с ней с большей легкостью или же просто инициируют подобные перемены, что угрожает авторитету царя-философа, а также, как считал сам Платон, и социальному порядку в целом.

Во многих работах по греческой этимологии отмечается, что слова «теория» и «театр» восходят к одному общему корню, а именно к греческому слову «*theos*», обозначающему «бога». В такой этимологии скрывается представление о божестве, силы которого опираются на его способность видеть одновременно в рамках своей собственной системы координат и за ее пределами, то есть на то, что оно является двойным зрителем, или «*theoros*». В логике это называется осведомленностью *второго порядка*: можно не только играть в определенную языковую игру, но также знать, что игра эта лишь одна из многих, в какие можно сыграть. Далее я связываю эту осведомленность с ментальностью *постистины*. В диалогах Платона софисты, очевидно, пытаются привить своим клиентам ментальность такого рода, которая, в принципе, должна наделить их богоподобной способностью решать, в ка-

кую игру играть на открытом пространстве агоры. Сократ отталкивается от этого базового смысла рефлексивной осведомленности, утверждая наличие в конечном счете только одной игры, а именно *истины*, приверженность которой позволила бы каждому играть по простым правилам, следуя, соответственно, тому, что логики назвали бы осведомленностью *первого порядка*.

Возможно, наиболее откровенный пример подхода Сократа приводится в 20-й главе «Протагора», в которой ему удается заставить своего противника-софиста признать, что все добродетели составляют одну, поскольку у всех у них одна и та же противоположность, *aphrosyne*, что обычно переводят как «отсутствие пропорции или перспективы». В процессе убеждения Протагора в своем тезисе Сократ постепенно устраняет понимание добродетелей как чего-то подобного навыкам, когда каждая добродетель обладала бы своим собственным градиентом, так что можно было бы показывать лучшие или худшие результаты. Это позволяет нейтрализовать образ гражданина, предполагаемый софистами, а именно того, чья компетенция заключается в разыгрывании то одной добродетели, то другой соответственно требованиям момента, то есть примерно так же, как поступает экономический агент, «оптимизирующий» полезность и принимающий решение действовать, когда он нашел компромисс между разными интересами. Сократ, со своей стороны, предполагает, что в тезисе о существовании разных добродетелей скрывается незнание существа добродетели. То есть справедливость, добро, красота и т.д. — все это просто аспекты добродетели как таковой. Добродетель в этом однозначном смысле отождествляется с истиной, в которой каждая вещь понимается в своем подлинном смысле. С этой точки зрения, размножая добродетели как умения, Протагор продает части, словно бы они были целым. Аргумент Сократа в его плотиновской переработке будет

иметь огромное влияние в эпоху Средневековья, когда авраамическое божество станет представлять то, что Сократом было определено в качестве единой истины, скрывающейся за внешними проявлениями добродетелей.

Итоговое различие между Сократом и софистами состоит не в диалектических способностях обеих сторон, которые по сути одинаковы. В этом смысле «философия» как термин, придуманный Платоном для обозначения стиля аргументации Сократа, и «риторика» — для обозначения софистического стиля сами являются не более чем риторическим трюком. Скорее, различие заключается в неприятии Сократом свободного — одни сказали бы «демократического», а другие «коммерческого» — способа применения софистами этих общих способностей. Представлять посылки разумных доводов в качестве чистых выдумок того, кто этими доводами пользуется, значит изображать любого человека в виде потенциального божества, каковым он может стать, если достаточное число других людей решат считать его посылки правилами игры, по которым все они впоследствии будут играть. И как было известно Платону по личному опыту, софистам действительно удалось убедить достаточное число граждан в их, так сказать, «диалектической божественности», а потому афинская демократия в итоге уподобилась хаотическому сообществу богов греческой мифологии. К несчастью, в реальном мире это привело к поражению афинян в Пелопоннесской войне со спартанцами, что стало началом безвозвратного упадка Афин.

В версии, предложенной Платоном, Сократ защищает необходимость играть только в одну игру, что объясняет, почему софисты и «поэты» попали в одну и ту же категорию. Я закавычил слово «поэты», поскольку этот термин следует понимать в исходном греческом смысле *poesis*, то есть в смысле производительного использования слов для создания миров. Во времена Платона наиболее опас-

ными поэтами были драматурги, но в наши дни главным источником сравнимого по силе беспорядка могут стать опытные программисты или «хакеры» [Wark, 2004]. Если Платон считал, что только профессиональные цари-философы должны культивировать воображение второго порядка — тут можно вспомнить «Игру в бисер» Германа Гессе, — то его враги были готовы распространять эту способность среди максимального широкого круга. Ставкой этого противостояния была *модальная власть*. Иными словами, какими бы ни были — или казались — правила игры, они могут быть иными. С точки зрения постистины истина представляется крайним ограничением воображения, объясняющим авторитарный или даже тоталитарный привкус содержательных предложений Платона по управлению политией, выдвинутых в «Государстве».

В то же время легко понять, почему Августин и другие раннехристианские мыслители выбрали Платона в качестве метафизического ориентира для своих собственных монотеистических воззрений, ведь диалоги ясно показывали опасности, возникающие тогда, когда люди пытаются вести себя подобно богам в политеистическом космосе. Однако христианство также было религией, утверждающей, что верующие в каком-то смысле обладают прямой связью с божеством. Действительно, поскольку, согласно Библии, люди сотворены *imago dei*, то есть «по образу Божьему» (эта выражение было популяризировано Августином), возможность того, что каждый человек сможет не просто подражать богу, как у греков, но и на самом деле приобретет божественную природу, оказалась неисчерпаемым источником ересей. Итогом стала протестантская Реформация, она, можно сказать, воспроизвела софистическую ситуацию, от которой пытались уйти первые христиане, подписавшиеся под принципами Платона. Конечно, исходное решение самого Августина состояло в том, чтобы усилить авторитет утвердившейся к его времени

«универсальной» (или по-гречески *katholikos*) Церкви, которая в общем и целом продержалась две тысячи лет, несмотря на два раскола на европейском континенте, сначала примерно в 1000 г. между Востоком и Западом (что привело к образованию православных церквей), а потом, около 1500 г., между Севером и Югом (с образованием протестантских церквей).

МОДАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

В этом контексте стоит напомнить, что «развлечение» (*entertainment*) — английское слово, появившееся в начале XVII в., когда оно стало использоваться для выражения временного владения (*tenancy*) в абстрактном смысле, как, например, если король держит при дворе поэта или драматурга для забавы, но также для того, чтобы его присутствие оказывало влияние на его собственное политическое суждение. Платон бы ужаснулся такой инновации, как, собственно, и Томас Гоббс, который с подозрением относился к театральности экспериментальных доказательств, ставших особой разновидностью королевских развлечений, генеалогия которых стала предметом наиболее влиятельной в современной исторической социологии монографии [Shapin, Schaffer, 1985; разбор обеспокоенности Гоббса см.: Shaplin, 2009]. Страх, вызываемый развлечениями (или возможность, ими создаваемая), состоит в том, что, после того как занавес наконец опущен, зрители могут продолжать действовать, следуя духу представления, которое они лицезрели, превращая тем самым «реальную жизнь» в продолжение сцены или, чего боялся Гоббс, лаборатории.

Если говорить о современной науке, Гоббсу было бы чего опасаться и сегодня, может, даже больше, чем в его время. Исследователи пока еще не осознали в полной

мере той роли, которую способность инсценировать, разыгрывать или симулировать события в цифровых медиа приобретает в качестве составляющей процедуры научного подтверждения, наряду с лабораторным экспериментом и более традиционными техниками компьютерного моделирования. Хотя Джон Хорган, редактор *Scientific American* [Horgan, 1996], уже провокационно заявил, что место научного исследования — это больше не поле, а лаборатория и компьютер, а потому способы оценки притязаний на знание больше походят на литературную критику, поскольку во главу угла ставятся математические критерии, ориентированные на эстетику.

В той области, которую Дэвид Керби [Kirby, 2011] удачно окрестил «голливудским знанием», консультанты, курсирующие между научным и кинематографическим сообществами, не просто передают информацию, которую нужно знать и тем, и другим, чтобы наладить коммуникацию. Скорее, ученые и кинематографисты занимаются взаимной калибровкой своих целей и стандартов успешности. В частности, кинематографисты не просто оформляют ожидания своих зрителей, но также подпитывают и само научное воображение, когда определенные аспекты сложных понятий и ситуаций усиливаются и порой даже преувеличиваются, но в любом случае доводятся до логической крайности, что очень похоже на лучшие мысленные эксперименты. Этот процесс заслуживает серьезного эпистемологического анализа, поскольку он подрывает различие, которое так ценилось социологами экспертных знаний [Collins, Evans, 2007], а именно различие между теми, чья экспертиза является всего лишь «интеракционной» (примером выступает тот критический взгляд, который любитель может предложить профессионалу, основываясь, к примеру, на знакомстве с соответствующей литературой), и теми, чья — «контрибуционной» (то есть способностью сделать реальный вклад в данную сферу деятельности).

Поразительным примером является протофеминистский фильм Фрица Ланга 1929 г. «Женщина на Луне», многие элементы которого — начиная с конструкции посадочного модуля и до ритуала обратного отсчета — были подхвачены НАСА 30 лет спустя, отчасти под влиянием Вернера фон Брауна, который смотрел фильм в юности. Более общий пример — меняющийся образ ДНК начиная, скажем, с простого комбинаторного изображения молекулы на примитивном компьютерном экране в телесериале BBC 1973 г. «Восхождение человека» и заканчивая трехмерной динамической машинерией, которую мы привыкли видеть в современных научных фильмах. Этот пример иллюстрирует, как усовершенствования в медиарепрезентациях помогли переориентировать и научное, и общественное понимание того, о чем говорят те или иные фундаментальные концепции. В этом отношении, если говорить словами из старой песни Гила Скота-Херона, следующая научная революция может случиться в телевизоре.

Само представление о том, что научные теории могут сохраняться или, наоборот, отвергаться в зависимости от того, допускают ли они, скажем, качественные кинематографические впечатления, может поначалу показаться несерьезным, однако так ли оно отличается от оценки обоснованности математических моделей по элегантности симуляций, производимых на компьютерном экране? Когда задумываешься о вариантах таких тектонических сдвигов в научной репрезентации, всегда полезно помнить о долгосрочной перспективе. Вспомним, что среди первых возражений на использование экспериментов как способа разрешения научных споров было и то, что они требуют слишком много закулисных инсценировок и «редактирования», а потому создают артефакт, не имеющий четкого коррелята в природе и служащий лишь для манипуляции органами чувств. В самом деле во многих случаях эксперименты нельзя было точно воспроизвести, так что они рас-

считывали, скорее, на то, что впечатленный наблюдатель начнет рассматривать природу в свете принципов или феноменов, предположительно продемонстрированных экспериментом. Возражения такого рода, наиболее известными из которых стали те, что Гоббс предъявил Роберту Бойлу, обычно считаются ранненововременной версией старой платоновской критики поэзии и драмы как фальшивой имитации подлинного знания и чувства. И в том же самом смысле мы можем трактовать современный скептицизм, мишенью которого становится «наука-по-телевидению», как только люди с соответствующими медийными компетенциями пополняют ряды инспекторов науки вслед за ремесленниками, механиками и программистами.

Мое постистинностное понимание интеллектуальной силы, скрытой в индустрии развлечений, противостоит основному пункту влиятельной и злой критики ее гипотетических наркотических эффектов, которую представил Нил Постман [Postman, 1985]. Конечно, Постман в основном занимался телевидением, которое он понимал в духе Маршалла Маклюэна, то есть в качестве всепоглощающего, но не интерактивного «холодного» медиума, который и правда высасывал жизнь из зрителей, что в довольно красочной форме было представлено Дэвидом Кроненбергом в его фильме «Видеодром» (1983). Но Постман мог бы сосредоточиться не на вампире, а на *вирусе* как модели такого режима развлечений, при котором хозяин не уничтожается, а просто заражается организмом-гостем. Это возвращает нас к проблеме, которая первоначально волновала Платона и которая была превращена в добродетель «театром жестокости» Антонена Арто [Artaud, 1958; Арто, 2000]: дело не в том, что поэты погружают своих слушателей в состояние сна, а в том, что слушатели могут попытаться воплотить такие сновидения в «реальной жизни». Нормативные границы «реалити-шоу» составляют интересный современный ориен-

тир, связанный с этой проблемой. Хотя телепродюсеры и зрители всячески приветствуют программы в стиле *Dragons' Den* (в американском варианте — *Shark Tank*), в которых предпринимательство преподносится как конкурс талантов, предложения разыграть в том же стиле еще и политические выборы были встречены негодованием, узнав о котором, Платон мог бы выдохнуть с облегчением, по крайней мере пока [Firth, 2009].

В конечном счете царь-философ обеспокоен не столько тем, что за естественным основанием социального порядка люди увидят скрытые махинации, сколько тем, готовы ли они иметь дело с последствиями деятельности в таком мире, в котором функции закона и природы более не считаются тесно связанными друг с другом, не говоря уже о том, чтобы подкреплять друг друга. Короче говоря, проблема постистины не в самой истине, а в способности людей справиться с ней. Собственно, если предполагать, что истина существует, оборотной стороной тезиса о том, что истина независима от ее человеческого понимания, оказывается вывод о том, что люди, возможно, не готовы с такой истиной столкнуться. В этом смысле неудивительно, наверное, то, что Генрик Ибсен, признанный величайшим драматургом современности, многие из своих пьес посвятил теме «жизненной лжи», которая раскрывается по мере развития сюжета, что приводит к буквальному или метафорическому насилию. Талант Ибсена состоит в такой расстановке своих героев, что они вынуждены непредумышленно прорабатывать жизненную ложь по мере развития сюжета, предвосхищая при этом то, что со временем они придут к ее полному пониманию. Как поняли уже самые первые поклонники Ибсена, особенно Джордж Бернард Шоу, в этом заключался относительно вежливый способ дестабилизации наличного порядка, способ, которому мог бы, пусть и с неохотой, отдать должное даже Платон, ведь он и сам был настоящим мастером диалога.

(Этим же объясняются сократические, хотя подчас и неуклюжие, попытки Бернарда Шоу, прямо утверждающего в своих пьесах то, для чего Ибсен нашел бы более замысловатую форму выражения.)

Какой бы победы платоники ни добились над драматургами на политической арене, их хватка по мере развития капитализма ослабела, особенно когда чисто финансовая спекуляция стала играть все большую роль в обороте капитала. Финансовая спекуляция требует реконструкции экономики по образу драматурга, который в конечном счете хочет того, чтобы люди поняли, что будущее не обязательно похоже на прошлое. Так, почтенные компании могут прогнуться под напором амбициозных стартапов, если последние получат достаточно поддержки от инвесторов, которых манят те же перспективы. Платоники — в том числе Джон Мейнард Кейнс — обычно рассматривают это в категориях «иррационального начала», свойственного поведению масс, которые спешат реагировать на любые обещания, способные повредить их материальному положению или, напротив, улучшить его. Однако таких инвесторов можно понимать и в совершенно ином смысле, а именно как тех, кто осуществляет свою рациональную волю в неустойчивом по самой своей природе мире, стремясь реализовать лучшее положение вещей. С этой точки зрения срок годности статус-кво, возможно, уже истек, а потому пришло время рассмотреть иной тип будущего. Но и в той и в другой интерпретации инвесторы обменивают безопасность настоящего на перспективу большей свободы (в форме большего доступного дохода от большего оборота), перераспределяя свои активы. Конечно, сработает ли такая стратегия, зависит от того, добьются ли начинающие компании тех результатов, которые они обещают; в противном случае инвесторы могут в конечном счете обеднеть. Но в обоих случаях софисты утвердили бы второпорядковую победу, поскольку

экономика действительно превращается из игры мастерства в азартную игру.

Наконец, стоит обратить внимание на человека, который дал наиболее впечатляющий платоновский ответ на подъем финансового капитализма, сосредоточившись как раз на той ключевой роли, которую реклама стала играть в продвижении товаров, которые еще должны были показать себя на рынке. Ответ этот в XX в. дал величайший теоретик «объективной журналистики» Уолтер Липпман [Lippmann, 1922; Липпман, 2004]. Свою карьеру он начал, работая вместе с Эдвардом Бернейсом, своим современником, ставшим отцом современного пиара [Bernays, 1923; Бернейс, 2015а], — оба были заняты в кампании Вудро Вильсона, которому удалось убедить американцев принять участие в Первой мировой войне. Это само по себе стало поразительным достижением пиара, если учесть, что США официально не подверглись нападению, а сама война шла на расстоянии трех тысяч миль, на европейском континенте, с которым нация иммигрантов когда-то была только рада окончательно распрощаться.

И Липпман [Lippmann, 1925], и Бернейс [Bernays, 1928; Бернейс, 2015б] понимали значение своего риторического переворота. Их параллельные судьбы, развертывающиеся на протяжении всего XX в., были прекрасно отображены в документальном фильме BBC «Столетие личности», снятом режиссером Адамом Кертисом. В общем и целом, в «ревущие» двадцатые Бернейс воспользовался американским этосом *laissez-faire* и сделал из стратегии успешной кампании, проведенной в военное время, многомиллиардную мирную индустрию, а Липпман призвал к введению государственного лицензирования, которое должно было помешать рекламщикам склонять потребителей к покупке товаров, услуг и, что немаловажно, акций компаний, не способных в конечном счете выполнить свои обещания. В одном из первых задокументированных кей-

сов «раскрутки» Бернейс смог перевернуть негативное описание пиара, данное Липпманом, который называл его «фабрикацией согласия», и превратить его в более профессиональную «инженерию согласия» [Jansen, 2013]. Конечно, Ноам Хомский гораздо позднее смог восстановить первоначальный смысл выражения Липпмана [Herman, Chomsky, 1988].

Тем не менее Бернейс одержал верх в широковещательной медиасреде, быстро развивавшейся в 1920-х годах, пусть даже первоначальные опасения Уолтера Липпмана оправдались еще в 1929 г., когда обрушился фондовый рынок Уолл-стрит, что привело к Великой депрессии, охватившей весь капиталистический мир. И все же платоники сохранили за собой оборонительную позицию, о чем свидетельствуют последовавшие капиталистические циклы падения и подъема, которые часто подогревались обещаниями инноваций, в конечном счете не выполнявшимися. Конечно, через какое-то время на сцену выходили государственные регуляторы, но всегда во втором акте — они оплакивали платоников, к которым не смогли прислушаться, хотя те на манер Кассандры пророчили грядущую катастрофу. И пусть мы привыкли не к такому образу Платона, именно таким он представляется миру постистины, который сжился с тем смыслом «риторики», которым был Платоном опорочен.

КАК ИСТИНА ВИДИТСЯ ПОСТИСТИНЕ: ВЕРИТИЗМ КАК «ФЕЙК-ФИЛОСОФИЯ»

Стоит подчеркнуть, что сторонник постистины не отрицает существования фактов, не говоря уже об объективных фактах. Он просто желает сорвать тот покров таинственности, в который обычно облачается создание и поддержание фактов. Например, эпистемологи давно уже пытаются разобраться с представлением о том, что «соот-

ветствие реальности» объясняет, почему определенное высказывание является «фактом». Если придерживаться самой обычной интерпретации, это кажется немного таинственным, поскольку таким выражением предполагается довольно странное развитие событий. Рассмотрим пример научных фактов. 1) Ученые делают что-то такое в лаборатории. 2) Они публикуют что-то такое, что убеждает их коллег-ученых в том, что там что-то случилось, и это запускает череду действий, которая вначале оставляет свой след на коллективном корпусе научного знания, а в конечном счете и на мире в целом как предмете «экспертного» суждения. 3) Однако — и именно это говорят нам сторонники «истины» — легитимность факта (то есть то, что делает его «истинным») в конечном счете проистекает из того, что находится *вне* этого процесса, а именно из реальности, которой он «соответствует».

Тому, кто не научен таким хитростям (то есть не знаком с модусом «истины»), пункт 3) кажется совершенно произвольным выводом, если даны только пункты 1) и 2). Поэтому неудивительно, что в XX в. философы постепенно охладели к этому сценарию, что, в свою очередь, привело к развитию постистины как особого умонастроения. И существует прямая генеалогическая связь идей, которая ведет от логических позитивистов и попперианцев к современному социальному конструктивизму в социологии научного знания, вопреки тому, что в учебниках они обычно представляются противниками. Я даже как-то назвал исследования науки и технологий (*STS*) «постмодернистским позитивизмом», не имея в виду, что это ругательство [Fuller, 2006b]! Чтобы настроить читателя на нижеследующие размышления, рассмотрим карьеру Людвига Витгенштейна (1889–1951), две фазы которой проходят красной нитью через все эти процессы.

Два этапа философской карьеры Витгенштейна довольно четко описываются как попытки определить ис-

тину — с точки зрения сначала «истины», а потом «постистины»: кульминацией первого стал «Логико-философский трактат», а второго — «Философские исследования». Ранние работы Витгенштейна были сосредоточены на представлении об истинностно-функциональной логике, в которую можно перевести и в которой можно оценить все осмысленные суждения. Если суждение признавалось «имеющим значение», тогда можно было однозначным — или даже механическим — образом определить, истинное оно или ложное. Напротив, в поздних работах рассматривалось, как одна и та же цепочка данных — как количественных, так и качественных — может быть подведена под произвольное число правил или же проинтерпретирована в соответствии с произвольным числом правил, которые придадут ей значение. В этом случае требуемая форма вывода ближе к абдукции, чем к дедукции.

Ранний Витгенштейн выражает ориентацию «истины», в рамках которой правила игры познания понимаются всеми игроками достаточно хорошо, чтобы требования, заставляющие предъявлять «свидетельства», означали для всех игроков одно и то же. Это мир парадигм Куна, в которых игра познания называется «нормальной наукой» [Kuhn, 1970; Кун, 1977]. Конечно, в зависимости от состояния игры одни свидетельства могут значить больше других и даже перевешивать ранее предъявленные. Однако единообразие эпистемических стандартов означает, что каждый в равной мере признает такие ходы, а потому существует общее понимание собственной позиции в эпистемическом соревновании, в том числе и понимание того, какие команды показали наилучшие результаты.

Поздний же Витгенштейн иллюстрирует ориентацию на «постистину», в которой игра познания не определяется правилами; скорее, определение правил — это и есть предмет такой игры познания. Эмблемой этого подхода стал гештальт с изображением утки-кролика, кото-

рый появляется не только в этот период творчества Витгенштейна, но также и у Куна, в его описании психологии «сдвига парадигм», характерной для научной революции. Идея состоит в том, что одни и те же свидетельства могут иметь разный вес в зависимости от принятой системы координат, что само по себе может привести к радикальным сдвигам в мировоззрении. И Витгенштейн, и Кун соглашались с тем, что превалирование той или иной системы координат является вопросом не предрешенным, а эмпирическим, хотя постфактум он обычно прикрывается оправдательным нарративом, который данное сообщество рассказывает себе, чтобы коллективно двигаться вперед. Кун, как известно, называл этот нарратив «оруэлловским», ссылаясь на работу, которой в романе «1984» занимались сотрудники Министерства правды, регулярно переписывая историю так, чтобы она соответствовала сегодняшней линии партии, что позволяло ловко стирать из памяти любые следы того, что когда-то политический курс был другим или мог бы стать другим в будущем.

Поздний Витгенштейн и Кун не сходились в некоторых пунктах, поскольку первый, видимо, полагал, что правила игры могут измениться мгновенно в зависимости от того, кто присутствует при принятии решения, подлежащего к обязательному исполнению. Так, в принципе, числовой ряд, который начинается с чисел 2, 4..., может продолжаться разными числами — 6, 8 или 16 в зависимости от того, какое правило имеется в виду — $n+2$, $n \cdot 2$ или n^2. Обычно для решения такого вопроса используется прецедент, однако прецедент сводится, по сути, лишь к «конвенции». Альтернативные правила дальнейших ходов сравнимы в таком случае с альтернативными диалектическими концептуализациями ситуации, которыми софист постоянно жонглирует, ожидая того, пока не подвернется удачный момент (*Kairos*). В самом деле эта интерпретация в 1970–1980-е годы позволила превратить позднего

Витгенштейна в любимца этнометодологов, в том числе в рамках постепенно складывавшейся тогда «социологии научного знания», ставшей прообразом *STS*.

Тогда как Кун считал, что решающие моменты требуют определенной предыстории, логика которых в действительности вынуждает принять решение, пусть и крайне неохотно. Также оно может фактически повлечь отлучение тех, кто ранее составлял часть соответствующего сообщества. Подобная «логика» характеризуется таким накоплением нерешенных загадок в обиходе нормальной науки, которое впоследствии провоцирует «кризис», ведущий к смене парадигмы, устанавливающей новые правила научной игры. В этом смысле можно считать, что Кун нашел точку равновесия между двумя Витгенштейнами или — если вернуться к нашему прежнему обсуждению — между Сократом и софистами.

Показательно то, что все они обсуждают «истину» как нечто *внутреннее*, а не внешнее условиям игры. Иначе говоря, «истина» из субстантивного понятия превращается в процедурное. Собственно, для них «истина» — это второпорядковое понятие, у которого нет никакого определенного значения, помимо того, что соотносится с языком, в категориях которого могут выражаться притязания на знание. (В этом состоит так называемая «конвенция истины Тарского».) Именно в этом смысле Рудольф Карнап считал, что «парадигма» Куна позволила нарастить прагматическое мясо на позитивистских логических костях [Reisch, 1991; Fuller, 2000, ch. 6]. (Стоит подчеркнуть, что Карнап вынес это суждение до того, как поклонники Куна превратили его в кумира «постпозитивистской» философии науки.) В то же время эта ориентация заставила позитивистов отстаивать — и даже строить — универсальный язык науки, на который можно было бы перевести все притязания на знание и который позволял бы их оценить.

Для нас важнее то, что позитивисты не *предполагали* наличия некоего однозначного понимания истины, которого в конечном счете достигнут все честные исследователи. Скорее, истина — это просто общее свойство языка, который мы решаем использовать, или игры, в которую мы решаем играть. В этом случае «истина» соответствует удовлетворению «условий истины», заданных правилами данного языка, так же как «гол» соответствует удовлетворению правил ведения определенной игры.

Конечно, позитивисты несколько запутали дело, поскольку всерьез считали, что наука желает получить универсальное признание своих притязаний на знание, а потому нужно создать такой язык науки, который позволил бы каждому внутри него обмениваться притязаниями на знание, а отсюда вытекает необходимость «редуцировать» подобные притязания к счетным и измеримым компонентам. Это на самом деле в какой-то мере сделало из позитивистов врагов всех наук, существовавших в то время, поскольку у каждой науки была своя частная система координат, управляемая правилами ее конкретной языковой игры. Необходимость преодолеть эту тенденцию объясняет проект «Международной энциклопедии единой науки». В этом отношении цель логического позитивизма состояла в разработке такой эпистемической игры, называемой *наукой*, в которую мог бы играть каждый, обладая потенциальной возможностью в ней выиграть.

Возможно, наиболее разработанная «фейк-философия», если ее можно так называть, призванная противодействовать подходу постистины, называется веритизмом, который заново утверждает «внешнюю» концепцию истины, объявляя ее необходимым ограничением — если не первоочередной целью — всякого законного исследования. Веритизм популярен, пусть он и не господствует, среди теоретиков познания и науки в современной аналитической философии, а наиболее известным его предста-

вителем является Элвин Голдман [Goldman, 1999]. К числу поклонников этой доктрины за пределами аналитиков относятся и те, кто стремится подкрепить эпистемический авторитет некоего научного консенсуса перед лицом постоянно растущего числа скептиков и диссидентов. Далее в этой и следующей главах я буду рассматривать в основном работу Эрика Бейкера и Наоми Орескес [Baker, Oreskes, 2017], поскольку простота их формулировок порождает в конечном счете такую ясность, какой обычно не сыщешь у профессиональных — да, именно аналитических — философов. «Фейковый» характер веритизма проистекает из его продуманного отказа заниматься природой «истины», по существу своему спорной, как и родственными эпистемическими понятиями, что приводит к смешению проблем второго и первого порядка.

Приведем пример такого фейкового характера веритизма в действии:

> Напротив, истина (наряду со свидетельствами, фактами и другими словами, которые исследователи науки обычно из осторожности заключают в кавычки) — это намного более убедительный выбор одного из множества регулятивных идеалов предприятия, которое, в конечном счете, обладает очевидной когнитивной функцией [Baker, Oreskes, 2017, p. 69].

В этом высказывании допускается, насколько можно судить на первый взгляд, категориальная ошибка: предполагается, что «истина» — это еще один возможный, и при этом предпочтительный, регулятивный идеал науки наряду, скажем, с инструментальной эффективностью, культурной состоятельностью и т.д. Однако «истина» в смысле логического позитивизма — это свойство *всех* регулятивных идеалов науки, каждый из которых должен пониматься в качестве задающего языковую игру, управляемую своими собственными процедурами проверки, то

есть, если угодно, правилами игры, в соответствии с которыми одна теория определяется (или «верифицируется») в качестве, например, более эффективной или более адекватной, чем другая.

Веритизм как эпистемическая программа говорит, что, чего бы исследование ни стремилось достичь в контексте целей самого исследователя, оно прежде всего должно служить «Истине». Результатом стали некоторые довольно странные эпистемологические доктрины, включая «релайбилизм», который доказывает, что существуют процессы, регулярно порождающие истины, даже если у обладателей таких истин нет эпистемического доступа к ним [Goldman, 1999]. На первый взгляд кажется, что такое учение призвано отделить истину от субъективных состояний, осложнивших бы в противном случае генерализацию притязаний на истину, которые следует обособить от имеющейся у самого индивида версии «оправданного убеждения», не говоря уже о личном опыте. Однако, с точки зрения сторонника постистины, релайбилизм просто ищет предлог для того, чтобы люди отдали свои суждения на откуп экспертам, скажем, по когнитивным, поведенческим или нейронным наукам, то есть невыборным мастерам, занимающимся тем, что в нас самих остается нам неизвестным. В любом случае, с точки зрения незаинтересованного наблюдателя, веритизм, похоже, настолько спешит отделить истину от полезности, что обращается к такому определению истины, которое, если принять его за чистую монету, оказывается совершенно бесполезным.

Ричард Рорти в последние два десятилетия XX в. стал жупелом для представителей аналитической философии, и все потому, что раскрыл фейковый характер веритистов. Он обратил внимание на то, что философы могут сказать вам, что такое истина, но лишь пока вы принимаете кучу спорных посылок и надеетесь на то, что в аудитории, где вы говорите, нет тех, кто способен такие посылки

оспорить! В действительности Рорти отказался от любой версии учения о двойной истине философии, сравнимого с различными учениями о двойной истине, получившими распространение в Средние века, когда надо было спасти религиозную истину от критического исследования, то есть Рорти отрицал такое учение, согласно которому философы могли бы в своем кругу занимать полуотстраненную позицию по отношению к различным конфликтующим концепциям истины, но в то же время выступали бы единым фронтом перед не-философами, чтобы массам не пришла на ум идея поверить в нечто недостойное.

Как пояснил Рорти [Rorty, 1979; Рорти, 1997], его постистинностный подход определился его знакомством с введенным Уилфридом Селларсом [Sellars, 1963] различием между «явной» и «научной» картинами мира. Идея Селларса состояла в том, что эти две картины «несоизмеримы» в том смысле, который популяризировал Кун. Другими словами, они по-разному классифицируют один и тот же мир, поскольку преследуют разные цели, а потому любая однозначная «редукция» или даже оценка одной картины средствами другой оказывается, таким образом, упражнением по отстаиванию одного предпочтительного мировоззрения. Например, сказать, что определенному наблюдению здравого смысла противоречит научное открытие, значит неявно предполагать, что такое наблюдение можно считать подотчетным открытию или, говоря проще, что обычный человек должен играть в языковые игры ученого. Следовательно, позитивизм, как в его исходной социологической форме у Конта, так и в логической форме Карнапа, всегда обладал довольно стойким привкусом реформаторского отношения к миру. Моя собственная социальная эпистемология также определяется этим подходом.

Различие Селларса повлияло на ряд философов, которые во всех иных отношениях занимали противополож-

ные позиции по ряду ключевых вопросов эпистемологии и философии науки, включая Баса ван Фраассена (научного антиреалиста), Пола Черчленда (научного реалиста) и, что наиболее важно в нашем контексте, самоназванного «анархистского» философа науки Пола Фейерабенда [Feyerabend, 1981]. Фейерабенд был открытым врагом тех, кого называл «методопоклонниками», то есть философов (и, разумеется, ученых), приписывающих особую силу определенным ритуалам — доказательствам методологической чистоплотности, — которые должны повысить вероятность того, что у итоговых фактов появится искомое состояние «соответствия реальности». Как во времена фарисеев и пуритан, праведное поведение становится заменителем доступа к истине. Однако Фейерабенд [Feyerabend, 1975; Фейерабенд, 2007] показал, в чем риторическая сила и в то же время слабость такой стратегии поклонников истины, использовав случай Галилея, по современным стандартам не слишком щепетильного, а порой даже нечистоплотного мастера научного метода. Он не понимал оптики, на которой основывается работа телескопа, то есть несколько усовершенствованного перископа, приставленного к невооруженному глазу, в том числе папских инквизиторов. Однако мы бы сказали, что методологически строгие инквизиторы, судившие Галилея, ослепили самих себя, не дав себе увидеть «полную истину» его утверждений — возможно, в силу самой своей строгости.

Конечно, Фейерабенд не говорит, в чем мораль этой истории, и именно это производит впечатление. Тем не менее для сторонника постистины ясно, что мы знаем о правоте Галилея, поскольку правила научной игры изменились за несколько десятилетий после его смерти, что позволило его первоначальным притязаниям на знание утвердиться на новых, усовершенствованных основаниях благодаря Ньютону и его последователям. Собеседники

Галилея просмотрели то, что, хотя он и не удовлетворял *их* стандартам эмпирического доказательства, он в определенном смысле предсказывал будущее самой науки, по наступлении которого они сами устареют, а его притязания на истину станут фактами. Нечистоплотность и двуличие Галилея были, следовательно, рискованной эпистемической инвестицией, окупившейся в долгосрочной, но, конечно, не краткосрочной перспективе. Он пытался играть по правилам игры, отличной от той, перед которой должен был отчитываться. Суд над Галилеем показал сложности попыток изменения правил игры внутри самой игры, когда игроки считают, что с правилами все в порядке. Это последнее замечание помогает обосновать утверждение Куна о том, что ученые не перейдут к новой парадигме, пока в старой не накопится достаточно нерешенных проблем.

Как мы уже видели, сторонник постистины играет в две игры сразу: конечно, он или она играет в игру знания, в которую он или она вступили и в которой у них на первый взгляд мало пространства для маневра (*Spielraum*). Но он или она играет также — по крайней мере в своем уме — еще и во вторую, более желательную игру, в которую он или она хотели бы превратить актуальную игру. Это объясняет ту ценность, которую софисты приписывали *kairos*, возможности отстоять определенный аргумент. Она сводится к поиску диалектической точки перегиба, моменту, когда гештальт может просто переключиться с «утки» на «кролика». В этом смысле сторонник постистины — это эпистемический «двойной агент», а потому он уязвим перед обвинениями в лицемерии, в отличие от сторонника истины. Я связывал этот смысл выражения «двойной агентности» с «чушью» — термином, которым уязвленные веритисты чествуют постмодернистов вот уже четыре десятилетия [Fuller, 2009, ch. 4; Фуллер, 2018, гл. 4]. Однако относительно нейтральный подсчет очков в противо-

борстве сторонников истины и постистины привел бы к выводу, что последние стремятся ослабить различие факта и вымысла, а потому и подорвать основания моральной непреклонности своих оппонентов, облегчив переключение между различными играми знания, тогда как сторонники истины хотят усилить это различие, усложнив переключение между различными играми знания. Короче говоря, различие завязано на исход борьбы вокруг того, что ранее я назвал «модальной властью».

КОНСЕНСУС: СФАБРИКОВАННОЕ СОГЛАСИЕ КАК РЕГУЛЯТИВНЫЙ ИДЕАЛ НАУКИ?

Когда веритисты говорят, что истина — это «регулятивный идеал» всякого исследования, они просто указывают на такую расстановку социальных сил, при которой самоорганизующееся научное сообщество выступает окончательным арбитром всех притязаний на знание, принимаемых обществом в целом. Конечно, научное сообщество может в чем-то ошибиться, однако ошибки обнаруживаются только тогда, когда научное сообщество решает признать их, а исправляются они опять же только тогда, когда научное сообщество говорит, что они исправлены. Собственно, веритисты отстаивают то, что я назвал «когнитивным авторитаризмом» [Fuller, 1988, ch. 12]. С точки зрения постистины веритизм сводится к слегка приукрашенной версии морального крестового похода, что ясно по таким псевдоэпистемическим понятиям, как «доверие» и «надежность», благодаря которым «научность» ассоциируется с корпусом знания и одновременно с людьми, такое знание производящими. Я говорю «псевдо», поскольку нет согласия относительно специальной эпистемической меры подобных качеств. Суждения о людях неизменно используются в качестве замены суждений о мире.

Например, *доверие* — качество, присутствие которого ощущается преимущественно как двойное отсутствие, а именно как мудрый отказ изучать претензии на знание самостоятельно, который, как решается впоследствии, повлек не негативные последствия, в основном потому, что некая «доверенная сторона» (известная также под именем «ученых») провела необходимую работу по проверке. Я назвал доверие «флогистонным» понятием по этой причине, так как оно напоминает псевдоэлемент флогистон [Fuller, 1996]. В самом деле, мое общее несогласие с подобным умонастроением привело меня к доказательству того, что университеты должны заниматься «эпистемическим подрывом доверия». Вот мой первоначальный тезис:

> *Короче говоря, университеты функционируют как уничтожители доверия к знанию, чьи корпоративные способности к «созидательному разрушению» мешают новому знанию превращаться в интеллектуальную собственность* [Fuller, 2002, p. 47; курсив оригинала).

Под корпоративными способностями я имею в виду различные имеющиеся у университета средства, гарантирующие, что люди, находящиеся в положении, позволяющем развивать новое знание, — не просто часть класса тех, кто первоначально его создал. Конечно, я имел в виду обычное преподавание, нацеленное на выражение даже наиболее сложных понятий в категориях, которые могут понять и использовать обычные студенты, что ведет к деконструкции тех сугубо исторических — или «зависимых от траектории» — путей, где инновации могут социально закоснеть, создавая, в свою очередь, отношение доверия между «экспертами» и «профанами». Но также я имел в виду и программы «позитивной дискриминации», которые специально нацелены на привлечение более широкого круга людей, чем могли бы посещать университет, если бы та-

ких программ не было. Вместе эти две компоненты противодействуют «неофеодализму» (или, если угодно, «поиску ренты»), к которому склонно академическое производство знания и о чем обычно забывают веритисты.

Что касается основного критерия истины, выдвигаемого веритистами, а именно *надежности*, его значение зависит от определения условий — например, устройства эксперимента, — при которых ожидается тот или иной паттерн явлений. За пределами таких жестко заданных условий, то есть там, где, собственно, и наблюдается основная часть «научных контроверз», неясно, как следует классифицировать и подсчитывать отдельные эпизоды, а потому неясно, что значит «надежный». В самом деле, *STS* не только привлекли внимание к этому факту, но и продвинулись дальше, например, в работе Гарри Коллинса [Collins, 1985], где ставится вопрос о том, возможна ли даже лабораторная надежность без своего рода сговора между исследователями. Другими словами, социальное достижение «надежного знания», по крайней мере, отчасти является выражением солидарности членов научного сообщества, то есть, если говорить прямо, смыкания рядов. Это просто несколько менее лестная характеристика того, что веритисты представляют светоносным эпистемическим процессом «формирования консенсуса» в науке.

Особенно удачный пример такой ситуации получил название «климатгейта», начавшегося со взлома хакерами британского сервера исследовательской группы климатологов в Университете Восточной Англии в 2009 г., за которым последовало несколько запросов по акту «свободного доступа к информации». Хотя, формально говоря, никаких правонарушений выявлено не было, электронные письма показали, в какой мере ученые со всего света на самом деле сговаривались, пытаясь представить данные по климатическим изменениям так, чтобы скрыть двусмысленности в интерпретациях и тем самым преду-

предить возможный перехват повестки силами так называемых «климатических скептиков». Наиболее естественный способ интерпретации этой ситуации состоит в том, что она показывает микропроцессы, в которых научный консенсус в обычном случае действительно буквально «фабрикуется». Тем не менее веритисты вряд ли готовы рассматривать «климатгейт» в качестве парадигмального случая «научного консенсуса». Но почему бы и нет?

Причина заключается в их отказе признать тяжелый труд и даже борьбу, неотделимую от процесса достижения коллективного соглашения по любому значимому притязанию на знание. С точки зрения веритистов, информированные люди делают одни и те же выводы на основе одних и тех же данных. Реальное социальное взаимодействие исследователей само по себе не имеет особого когнитивного веса. Оно просто закрепляет тот вывод, который в той же ситуации мог бы сделать всякий разумный индивид. Другие люди могли бы добавить какие-то данные, но они не могут изменить правила верного умозаключения. Противоположный — а именно ориентированный на постистину — взгляд на формирование консенсуса отличается откровенно «риторическим» характером [Fuller, Collier, 2004]. Он указывает на сочетание стратегических и эпистемических соображений в той ситуации, в которой актуальное взаимодействие сторон задает параметры, определяющие границы любого возможного консенсуса. Даже Кун, который ценил консенсус в качестве связующего элемента нормальной науки, занимающейся разгадыванием загадок, хорошо понимал его риторические и даже принудительные качества, проявляющиеся в самых разных областях от педагогики до коллегиального рецензирования. Наконец, обратимся собственно к вопросу риторической власти, связанной с формированием консенсуса в науке.

Подозрения относительно наличия консенсуса какого угодно рода появились у меня уже давно. Единственная

глава моей докторской диссертации, вошедшая в мою первую книгу, была посвящена именно этой теме [Fuller, 1988, ch. 9]. Двойной вопрос, который я могу задать всякому, кто желает утвердить «научный консенсус» на чем бы то ни было, состоит в следующем: в *силу какого авторитета* и *на каком основании* делается такое утверждение? Даже Поппер, великий апологет науки, считал научные факты не более чем конвенциями, соглашение о которых принимается в основном для того, чтобы разметить временные остановки на бесконечном коллективном пути. С точки зрения специалиста по риторике, «научный консенсус» затребован только тогда, когда научные авторитеты ощущают, что для них возникла угроза, которую невозможно устранить обычными методами коллегиального рецензирования. «Наука» в конечном счете рекламирует себя в качестве свободнейшего исследования, предполагающего толерантность ко многим расходящимся и даже противоречащим друг другу исследовательским направлениям, которые должны совмещаться с актуальными данными, сохраняя возможность для пересмотра в свете новых, полученных в дальнейшем данных. В более общем смысле наука действительно демонстрирует эту спонтанную открытость плюрализму, хотя конкретные варианты, имеющиеся в наличии в данный момент, могут меняться. Конечно, некоторые направления исследований в тот или иной момент развиваются сильнее других. Для отслеживания подобных трендов можно использовать наукометрию, которая уподобляет «наблюдателя за наукой» аналитику фондового рынка. Но это логика скорее «мудрости толпы», чем «научного консенсуса», который должен казаться чем-то более авторитетным и уж наверняка менее волатильным.

Действительно, обращения к «научному консенсусу» становятся наиболее настойчивыми в случае тех вопросов, у которых есть две характеристики, возможно, всегда

переплетенные друг с другом, но они в любом случае вытаскивают науку из отведенной ей зоны комфорта, зоны коллегиального рецензирования: 1) они по природе своей междисциплинарны и 2) они значимы для общественной политики. Вспомним об изменении климата, эволюции, о любом вопросе, который имеет отношение к здоровью. К «научному консенсусу» взывают в таких именно вопросах, поскольку они не сводятся к условиям «нормальной науки», в которых работает коллегиальное рецензирование. Защитнику ортодоксии диссиденты кажутся теми, кто «меняет правила науки» с той лишь целью, чтобы повысить убедительность собственных аргументов. Тогда как, с точки зрения диссидента, ортодоксия искусственно ограничивает исследование в тех случаях, когда реальность не соответствует ее дисциплинарному шаблону, а потому изменение в правилах науки, возможно, и правда становится пунктом повестки.

Здесь стоит обратить внимание на то, что защитники «научного консенсуса» обычно принимают в своей работе посыл, утверждающий, что согласиться с диссидентами хоть в чем-то значит дать волю социальной иррациональности масс. Ссылаясь на недавно возникшую науку (или псевдонауку) меметику, они полагают, что в социальном бессознательном таится некая антинаучная потенция. Такую антинаучную склонность обычно подпитывают религиозные чувства, которые грозят пробудить диссиденты, сведя, таким образом, на нет все те результаты, которых добился модерн.

Конечно, в рядах диссидентов можно встретить признаки религиозных настроений. Известным примером является «Стратегия клина» *Discovery Institute*, основанная на работе Филиппа Э. Джонсона [Johnson, 1997], в планах которой было притупить «методологический натурализм» как «тонкое острие клина», что позволило бы вернуть США к их христианским корням. Само ее существование

помогло изничтожить аргументы в пользу школьного преподавания концепции разумного замысла в деле «Кицмиллер против Школьного округа Довер» 2005 г. Тем не менее паранойя ортодоксии недооценивает способность модерна — в том числе и современной науки — поглощать и инкорпорировать диссидентов, укрепляясь в самом этом процессе. Тот факт, что теория разумного замысла смогла конвертировать креационизм в научную валюту, полностью отказавшись в своей аргументативной стратегии от Библии, следует считать подтверждением этой мысли. Сегодня дарвинистам приходится прилагать еще больше усилий, чтобы разбить эту теорию, что можно видеть в их все более изощренных опровержениях, которые часто заканчиваются тем, что дарвинисты уступают определенные пункты, попросту допуская то, что данные оппонентов они трактуют по-своему, без обращения к «разумному дизайнеру».

Короче говоря, сама идея «научного консенсуса» в эпистемологическом плане переоценена. Она, очевидно, должна нести некую бóльшую нормативную силу, чем все то, что может случиться на этой неделе на переднем краю научных мод. Однако какова ожидаемая продолжительность жизни теорий, вокруг которых объединяются в тот или иной момент времени ученые? Например, если современная теория утверждает, что планета должна пережить климатическую катастрофу в ближайшие 50 лет, что случится, если климатические теории сами переживут катастрофу через, скажем, 15 лет? Конечно, «катастрофа» — это, возможно, слишком сильное выражение. Данные, скорее всего, останутся неизменными и даже обогатятся, однако их общее значение может радикально поменяться. Кроме того, этот факт широкая публика может и не заметить, поскольку ученые, согласившиеся с последним консенсусом, — именно те, кто принимает также следующий. А потому они подчистят коллективную историю, описы-

вающую, как и почему произошли эти изменения, то есть произойдет упорядоченный переход на манер династического престолонаследия.

Как мы уже отмечали, эту историю скрепляет именно то, что является основным симптомом эпистемической переоценки научного консенсуса, а именно совершенно необязательное обращение к «истине» или «поиску-истины» (то есть «веритизму») как к чему-то, этот консенсус обеспечивающему. Однако даже самые упорные защитники консенсуса считают, что он должен быть *построен*. Этот оборот отлично согласуется с обычным социально-конструктивистским пониманием того, что представляет собой консенсус. И нет ничего неправильного в попытках согласовать общественное мнение с определенными фактами и ценностями, даже на большой шкале, на которую указывает идея «научного консенсуса». Это вопрос обычной политики. Однако, какой бы консенсус при этом ни фабриковался — какими угодно средствами и на каком угодно спектре мнений, — он не обладает «естественной» легитимностью. Более того, он не соответствует какому-то предзаданному идеалу истины и не складывается из некоей неизменной «материи истины» [Fuller, 1988, ch. 6]. Это социальный конструкт, вот и все. Если консенсус продержится определенное время и на определенном пространстве, его устойчивость не будет связана с тем, что он был благословлен или сориентирован «Истиной»; скорее, он будет результатом обычных социальных процессов и связанных с ними форм мобилизации ресурсов, то есть множества внешних факторов, которые влияют на ключевые моменты той или иной игры.

Представление о том, что консенсус в эпистемологическом плане обладает в науке более светоносным статусом, чем в других частях общества (где его можно просто списать со счета, признав «групповым мышлением»), является артефактом рутинного переписывания истории,

которым ученым занимаются, когда нужно сомкнуть ряды. Как отмечал Кун [Kuhn, 1970; Кун, 1977], ученые преувеличивают степень доктринального согласия, чтобы дать толчок деятельности, которая в конечном счете поддерживается обычными механизмами дисциплинарных норм и повседневных рабочих практик. Работа Куна помогла породить миф консенсуса, возможно, с его молчаливого согласия. И правда, когда в бытность в Кембридже я занимался изучением истории и философии науки у Мэри Хессе (около 1980 г.), представление о том, что окончательный консенсус по правильной репрезентации реальности мог бы послужить трансцендентальным условием возможности научного исследования, всячески пропагандировалось, чем мы были обязаны модному тогда философу Юргену Хабермасу [Habermas, 1971], льстившему своим англоязычным поклонникам цитатами из старого американского прагматика Чарльза Сандерса Пирса, которого он называл источником своей идеи. Исторический ревизионизм, даже когда им занимаются философы, всегда начинается с себя.

Глава 3
Социология, а также исследования науки и технологий как науки эпохи постистины

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Понять «постистину» с точки зрения тех, кто выдвинул ее на позицию слова 2016 г. Оксфордского словаря английского языка, и правда очень хочется. Как мы отмечали, слово это в таком ругательном смысле означает тех, кто отказывается прислушиваться к разуму и фактам, обращаясь вместо них к помощи эмоций и предрассудков. Однако социологу знания такая формулировка кажется слишком самонадеянной, чтобы быть истинной. В конце концов, люди, которых обычно клеймят, связывая их с «постистиной», — начиная со сторонников брекзита и заканчивая последователями Трампа — в целом смогли обойти экспертов в их собственной игре, пусть даже им еще предстоит взять под контроль все поле игры в целом. По крайней мере, на эмпирическом уровне это указывает на то, что эксперты не так рациональны и не так уж опираются на факты, как они сами о себе думали, а сторонники постистины не настолько эмоциональны и предвзяты, как думали о них эксперты.

Я сам разделяю сторонников «истины» и «постистины» в соответствии с тем, играют ли люди по правилам

актуальной игры знания или же они пытаются изменить правила игры себе на пользу. В отличие от сторонников истины, которые играют по существующим правилам, сторонники постистины желают такие правила изменить. По их мнению, то, что считается истиной, соотносится с игрой знания, которая в данный момент разыгрывается, а это значит, что в зависимости от того, какая именно игра ведется, некоторые стороны получают преимущество в сравнении с другими. Постистина в этом смысле является хорошо знакомой социально-конструктивистской позицией, и многие аргументы, применяемые сегодня для защиты «альтернативных фактов» или же «альтернативной науки», так или иначе выдают такое происхождение. Они говорят о мирах, которые могли бы быть или все еще возможны, каковая возможность как раз и составляет предмет модальной власти.

Когда Питер Бергер, закрепивший социологическое применение термина «социальное конструирование» в своей классической работе «Социальное конструирование реальности», написанной вместе с Лукманом [Berger, Luckmann, 1966; Бергер, Лукман, 1995], в 2007 г. умер, его обличители не преминули связать его с ментальностью постистины, поскольку в 1970–1980 гг. он получал финансирование от американского табачного лобби. Действительно, кампанию против курения он изображал в качестве прежде всего морального крестового похода, проанализированного им в статье, вошедшей в знаменитый сборник научных работ в защиту курения «Курение и общество» [Tollison, 1985]. Дело в том, что запрет курения в общественных местах предполагал — как причину или следствие — значительный сдвиг в способах осмысления людьми публичного и приватного пространства, не говоря уже о том, что они оценивают само курение как особое занятие. И запрет действительно привел к изменению правил игры, самих норм обычного социального взаимодействия [Collins, 2004]. Это,

в свою очередь, позволило наделить фактические данные, свидетельствующие о негативном влиянии курения на здоровье, бо́льшим весом, чем могли бы иметь какие-либо преимущества общительности и расслабленности, связываемые ранее с этим занятием.

Нет сомнений в том, что Бергер и правда был мыслителем постистины. Это позволило ему с самого начала признавать то, что более поздние защитники «научного консенсуса» против курения [Oreskes, Conway, 2011] могли признать лишь нехотя, а именно что любой публичный спор — в том числе и основанный на вопросах науки — является в то же время спором о концептуализации самих категорий спора и позиции, занимаемой нами, как только эти категории приняты. Проблематичность курения зависит от того, в каком смысле понимается сама эта практика — преимущественно как выбор личного жизненного стиля или же как проблема общественного здоровья. Конечно, эти две интерпретации тесно связаны друг с другом в плане последствий.

Тем не менее в морали, политике и праве открытым остается вопрос о том, кто несет бремя риска — человек, желающий курить, или же человек, который не хочет подвергаться воздействию дыма. Ответ на него определит, кто будет платить и какую именно цену, чтобы каждый мог оставаться частью одного и того же общества. То есть это было классическое несогласие между идеалами «либерализма» и «социализма», в котором «социалистическая» концептуализация в конечном счете одержала верх, то есть победила масса людей, которые не приемлют воздействия табачного дыма. После достижения такого результата те, кто проиграл во второпорядковом сражении за оформление спора, то есть такие «либералы», как Бергер и его спонсоры, изображаются в качестве тех, у кого есть «мотив» искажать истину, причем у их оппонентов, получается, такого «мотива» нет. Но, конечно,

«мотив» есть у обеих сторон, поскольку они действуют на основе принципиально разных взглядов на то, как должен быть организован мир. В этом отношении подход Бергера составляет единое целое с «культурной теорией риска», разработанной антропологом Мэри Дуглас и политологом Аароном Вилдавски [Thompson et al., 1990].

В более общем смысле можно сказать, что социология как дисциплина сама была рождена под знаком «постистины». В конце концов, одно из преимуществ социологии, обещанных Эмилем Дюркгеймом, заключалось в том, что она сможет предоставлять «моральное образование» в условиях быстро меняющегося мира Третьей французской республики, в которой правила игры основывались уже не на религиозных и семейных узах, а на общей секулярной и национальной идентичности, что было показано произошедшим после 1870 г. поворотом системы образования от религиозных авторитетов к республиканским. Собственно, «социологией» Дюркгейм первоначально занимался на педагогическом факультете. Стоит также отметить, что другой отец-основатель социологии — Макс Вебер — также принадлежал к поколению, возникшему в момент консолидации немецкой нации в ее современной форме, то есть германского Второго рейха, который являлся продуктом той же самой Франко-прусской войны, приведшей во Франции к решительному переходу от католической монархии к секулярной республике.

И Дюркгейм, и Вебер — как и другие основатели социологии — много сил потратили на изучение психологических следствий быстрого изменения правил игры к концу XIX в., когда накопился изрядный запас нерастраченной энергии [Mazlish, 1989]. Дюркгейм, как мы помним, определил этот феномен в качестве *аномии*, своего рода неукорененности, которая иногда приводит к самоубийству. Сама аномия является следствием такого положения дел, когда люди оказываются между двумя совер-

шенно разными нормативными режимами: они, очевидно, ушли от старого порядка, но не вполне приспособились к новому, только еще складывающемуся.

Социология в тональности постистины в основном занимается управлением аномией, которую в более нейтральном смысле можно понимать в качестве социального сдвига форм. Есть много способов заниматься таким управлением. Например, такое управление может приобретать черты личного стиля Георга Зиммеля, который писал о чужаке (или «еврее»), или У.Э.Б. Дюбуа, который писал о двойном сознании (или «негре»). Или же его можно рассматривать в более абстрактных и общих категориях, считая его встроенным в политическую и профессиональную жизнь. Так, Парето подчеркивал, что всякий успешный политик должен решить, кем ему быть — тем, кто поддерживает статус-кво (львом), или же тем, кто его меняет (лисой), а Роберт Мертон [Merton, 1976] сосредоточился на той двусмысленности, с которой сталкиваются профессионалы, управляющие «экспертными» и «профанными» ожиданиями относительно их поведения, когда понятно, что эти две группы действуют в таких нормативных режимах, которые отчасти конфликтуют друг с другом. Драматургический подход Эрвинга Гоффмана к социальной жизни и этнометодология являются, вероятно, наиболее последовательными вариантами постистинностной социологии из всех разработанных на сегодняшний день.

Однако сегодня общество уже не то, что во времена Дюркгейма или даже Гоффмана. В последнюю четверть века или даже больше мы наблюдали упадок присущей государству всеобщего благосостояния универсалистской концепции общества, стабилизировавшей, по крайней мере на официальном макроуровне, нормативные ожидания «развитых» обществ, которые определяли правила реализации этих ожиданий, а также вехи и промежуточные результаты этого процесса. Это означало, что политиче-

ские разногласия разрешались в относительно ограниченном контексте все более профессиональным политическим классом. Более того, даже на метауровне несоизмеримые ценностные системы «капитализма» и «коммунизма», определяющие холодную войну, сопоставлялись друг с другом в категориях взаимно признанных рейтингов, начиная с величины военных арсеналов и заканчивая объемом валового внутреннего продукта (ВВП). Так, «теория игр», известная нам сегодня благодаря науке о принятии решений, была разработана именно в этом контексте. Подходы истины и постистины, казалось, отлично совместились друг с другом, поскольку все стороны считали недопущение глобальной ядерной войны единственной игрой, в которую стоит играть. На уровне науки это была та конвергенция, которая бы понравилась Куну.

Актуальная ситуация постистины совершенно другая, однако социология в этом тоже замешана. Она отличается все большей передачей вопросов социальной идентичности с уровня национального государства на уровень преимущественно самоорганизующихся и самопровозглашенных групп, за каждой из которой признается право взаимодействовать с остальным обществом на собственных условиях, отображаемых в правах собственности на язык, пространство и ресурсы. Именно это подразумевается сегодня под «политикой идентичности», определившей влиятельную интерпретацию, которую Майкл Буравой [Burawoy, 2005; Буравой, 2008] дал задаче «публичной социологии», как он сам ее называл, в своем председательском обращении 2004 г. к Американской социологической ассоциации. Конечно, этот процесс был представлен в негативном виде как взращивание «культуры жалоб», в которой не дозволяется даже ссылаться на определенные самоидентифицирующиеся группы иначе, как по правилам их собственных языковых игр, в которые члены группы играют, в основном для того, чтобы добиваться уступок от остального обще-

ства [Hughes, 1993]. На самом деле не нужно быть циником, чтобы подозревать политику идентичности в стимулировании установки «поиска ренты» в отношении к социальному миру. Более позитивное предположение состоит в том, что политика идентичности составляет расширение социального горизонта, плюрализацию языковых игр, у каждой из которых есть собственные цели и связанные с ними комплексы навыков.

Политика идентичности — в своем лучшем обличье — представляется раем постистины без классических дестабилизирующих последствий аномии, которые в конечном счете просто отражали неустойчивое чувство социальной конформности в национальном государстве. Теперь же людям просто нужно утверждаться в качестве тех, кто они есть, на выбранном ими игровом поле. Однако здесь уже можно заметить определенную проблему, а именно феномен «транс», как в «трансгендере», «трансрасовом» и «трансгуманистическом». Этот феномен доводит подход постистины до его логического завершения, предполагая, что каждый, в принципе, может научиться играть в любую игру идентичности, даже если брать наиболее фундаментальные в онтологическом смысле игры. В этом контексте трансгуманисты говорят о «морфологической» свободе, выступающей основным пунктом «Трансгуманистического билля о правах» [Fuller, 2016b]. Возможно, неудивительно, что Мартин Ротблатт, трансгуманист, глубже остальных продумавших, в какой мере сетевые идентичности (или наши «аватары») являются продолжением реальных идентичностей (то есть наших обычных физических личностей), является еще и тем человеком, который сменил мужскую идентичность на женскую, став богатейшей женщиной-гендиректором в США [Fuller, Lipinska, 2016].

Но если вы полагаете, что либеральное отношение к смене гендера можно распространить и на смену расы, подумайте еще раз, обратив внимание на беспрецедентную

контроверзу, возникшую в американском философском сообществе в связи с публикацией Ребекки Тувел [Tuvel, 2017], которая утверждала, что переход, скажем, из белой расы в черную следует оценивать в том же духе, в каком и переход от мужского к женскому: если допускать один, то должен допускаться и другой. Такому аргументу можно предъявить возражения двух видов: один — со стороны «истины», а другой — «постистины». Возражение со стороны «истины», которое, собственно, и разожгло споры вокруг статьи, состоит в том, что смена гендера в определенном смысле более «законна», чем смена расы, причем значение «законности» в этом случае остается стратегически неопределенным. (Я считаю, что такое возражение в конечном счете определяется всего лишь предрассудками нашего времени.) Возражение со стороны «постистины» состоит в том, что мобильность идентичности в целом — будь она гендерной, расовой или какой-то иной — может создать новые неравенства в силу асимметричного направления переходов, если, к примеру, женщинами будет становиться больше мужчин, чем, наоборот, мужчинами женщин. И, конечно, над всем этим возвышается олимпийское возражение, утверждающее, что поддержание такого неопределенного уровня мобильности идентичности уже означает слишком буквальное понимание идеи нормативных режимов как игр. К сожалению, существование на переднем крае нашего мира постистины означает нечто иное, а именно то, что игры серьезны.

Здесь стоит упомянуть одну попытку в стиле постистины стратегически раскрутить идентичность, которая, однако, в поистине постистинностной манере послужила лишь тому, чтобы раскрыть новые поля игры. Речь о понятии *интерсекциональности*, которое было введено американским юристом Кимберли Креншоу [Crenshaw, 1991] и стало ключевым пунктом «критической теории расы». Основополагающим событием для нее были слушания Сената в 1991 г.,

на которых Кларенс Томас проходил утверждение на пост судьи Верховного суда США. Томас был чернокожим консервативным судьей, который работал в администрации Рейгана, когда, как утверждалось, объектом его сексуальных домогательств стала чернокожая сотрудница-юрист Анита Хилл. На слушаниях Хилл дала обширные свидетельские показания о ее отношениях с Томасом, на которые его защитники, в основном белые, ответили тем, что она является инструментом белого либерального истеблишмента, который не желает его назначения, поскольку он не соответствует политическому представлению этого истеблишмента о чернокожем. Томас через какое-то время был утвержден в должности, продолжая и по сей день свою деятельность на посту судьи Верховного суда. Однако в этом деле черная идентичность была превращена в разменную карту более обширной игры, в которую в основном играют белые, карту, которую могли использовать игроки противоположных партий. «Черная карта» была разыграна в интересах Томаса и против другого чернокожего, который был представлен в качестве «псевдочерного».

Интерсекциональность нацелена на то, чтобы предупредить подобные вещи, для чего чернокожим и женщинам надо напомнить о том, что сохраняются системные формы угнетения, общие для них как представителей определенных расы и гендера, которые выходят за пределы любых политических и личных разногласий, какие только могут возникать между ними. Следовательно, они должны проявлять осторожность в том, с какими иными группами, основанными на идентичности, солидаризоваться. Однако в силу отсутствия согласия относительно того, должны ли раса, класс, гендер или какой-то другой категориальный срез человеческой жизни наделяться статусом более высокого порядка, чем тот, который Креншоу приписывала расе и гендеру (именно в таком порядке), интерсекциональность сама стала довольно растяжимым поня-

тием, источником сильнейших и зачастую ожесточенных дискуссий на собраниях профессиональных социологов, которые затем выродились в обычное для академических исследований крохоборство. В данном случае феномен «транс» существенно усложняет проблему, поскольку расширяет проблематику интерсекциональности: дело не только в использовании уже существующих идентичностей ради достижения актуальной стратегической цели, но и в приобретении новых идентичностей ради потенциальной стратегической цели.

Один из контекстов, в которых особенно заметны проблемы, связанные с интерсекциональностью, — это добропорядочная, политкорректная форма веритизма, сегодня особенно популярная среди феминисток и мультикультуралистов, а именно *эпистемическая справедливость*, или, говоря точнее, эпистемическая *не*справедливость [Fricker, 2007]. Это уточнение важно. Можно было бы подумать, что эпистемическая справедливость означает необходимость отдать должное *знанию*, и в ответ на это можно было бы предложить разные теории справедливости, которые оценивают конкурирующие требования справедливости, честности, заслуженности, экономности, полезности и т.д. в производстве, распределении и потреблении знания. Это отражает постистинностный подход моей собственной «социальной эпистемологии», поскольку она предполагает, что нормы, управляющие знанием и познающими субъектами, должны конструироваться одновременно: тот, кто знает, и то, что познано, всегда соотнесены друг с другом. Идентичности не высечены в камне или, если уж на то пошло, в генетических либо исторических записях. Эпистемическая справедливость должна решать эти вопросы на индивидуальном и в то же время коллективном уровне.

Однако «эпистемическая несправедливость» в ее модной форме исходит из того, что непроблематичная кон-

цепция «социальной справедливости» задает правила для эпистемической игры, так что нормативной целью становится определение и корректировка нарушений в игре, отсюда и «эпистемическая *не*справедливость». Под такими несправедливостями обычно имеется в виду тот факт, что представителям строго определенных социально дискриминированных групп мешают вносить свой — основанный на их уникальных взглядах, опыте и данных — вклад в исследования, которые уже получили социальное признание. Не отрицая исторически сложившееся пренебрежение голосами женщин и меньшинств, которое повредило как им самим, так и развитию человечества в широком понимании, можно задаться вопросом, способно ли такое узкое понимание «эпистемической несправедливости» сохраниться в условиях продолжающейся «транс»-революции. Почти 20 лет назад я рассмотрел нечто подобное в контексте вопроса о том, должны ли программы позитивной дискриминации в университетах пониматься прежде всего в качестве поддержки, скажем, женщин как индивидов независимо от их эпистемических позиций или же поддержки особой формы «женского знания» независимо от того, какие индивиды, в том числе и мужчины, могут быть его носителями [Fuller, 2000a, ch. 4]. Конечно, можно поддерживать положительную дискриминацию в обоих этих смыслах, к чему я и сам склоняюсь, но они все же требуют различных программ действий, которые, что интересно, на практике могут друг другу противоречить.

ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ И НАУЧНОЕ ТРЮКАЧЕСТВО

Постистина — отпрыск, от которого исследования науки и технологий (*STS*) всегда старались откреститься, не в последнюю очередь в недавней передовице, опубликованной в главном профессиональном журнале *Social Stud-*

ies of Science [Sismondo, 2017]. Но к заслугам *STS* можно с полным правом отнести то, что они в своей собственной исследовательской практике закрепили — если не сказать изобрели — по меньшей мере четыре общих сюжета постистины, познакомив с ними и широкую публику:

1. Наука — то, что образуется, когда опубликована научная статья, а не то, что обеспечило возможность публикации статьи, поскольку реальный ход исследования всегда открыт для множества противоборствующих интерпретаций.

2. Истиной в науке считается институализированная контингентность, которая, если ученые выполняют свою работу, со временем будет преодолена и заменена, не в последнюю очередь потому, что это, видимо, единственный имеющийся у них способ продвинуться в своих областях исследования.

3. Консенсус — неестественное положение в науке, он требует фабрикации и поддержки, что является работой, которую легко недооценить, поскольку большая часть ее осуществляется за кулисами, в процессе коллегиального рецензирования.

4. Основные нормативные категории науки, такие как «компетенция» и «экспертиза», являются довольно растяжимыми, поскольку их условия определяются силовой динамикой, устанавливающейся между специфическими коалициями заинтересованных сторон.

Однако *STS* говорят, да недоговаривают. Удивительно, особенно со строго эпистемологической точки зрения, что *STS* шарахаются от этих сюжетов всякий раз, когда такие политически нежелательные элементы, как отрицатели климатических изменений или креационисты, присваивают их, эффективно используя в собственных целях. В обычном случае это можно было бы считать «независимым подтверждением» значимости этих сюжетов, поскольку такие нежелательные элементы доказывают, что

не нужно быть политкорректным ученым, работающим в области *STS*, чтобы найти этим сюжетам полезное применение. В этом отношении специалисты по *STS*, похоже, забыли различие между контекстами открытия и обоснования, известное по философии науки. Нежелательные элементы на самом деле помогают *STS*, показывая надежность их основных идей, поскольку это люди, которые в остальных отношениях мало в чем сходятся с нормативной ориентацией большинства ученых, работающих в области *STS*, и при этом они смогли приспособить эти идеи в своих целях, во всяком случае, в той мере, в какой эти нежелательные элементы сами так думают [Fuller, 2016a].

Конечно, ученые, работающие в области *STS*, имеют полное право протестовать против любого индивида или группы, которых они считают политически нежелательными. Однако это политическое, а не методологическое сражение. *STS* не должны спешить с обвинением нежелательных элементов в «неверном применении» означенных идей, не говоря уже о том, чтобы извиняться за профессионалов того или иного исследовательского поля, применяющих эти идеи, а также цензурировать их или каким-либо образом ограничивать. Напротив, они должны прислушаться к мудрости Оскара Уайльда и попросту согласиться с тем, что подражание — самая искренняя форма лести. *STS* дали возможность таким нежелательным элементам начать собственную игру, а если ученые, работающие в области *STS*, слишком робки, чтобы самостоятельно отстаивать свои партийные интересы, в ответ они могут помочь желательным элементам в том, чтобы поднять общий уровень игры.

Рассмотрим бесконечные споры вокруг преподавания эволюции в США. Тот факт, что разгромить теоретиков разумного замысла на научных основаниях не так легко, как креационистов «молодой Земли», означает, что, когда их противники-дарвинисты используют свой эпистемиче-

ский авторитет, как если бы теоретики разумного замысла были «просто» креационистами, обнажается сама политика этой ситуации. Так, в отличие от предшествующих судебных слушаний по вопросам креационизма, в деле «Китцмиллер против Школьного округа Довер» 2005 г., в котором автор этих строк выступал свидетелем-экспертом со стороны защиты, судья отказался вникать в тонкости философии науки и обратился к грубому социологическому факту, состоящему в том, что большинство эволюционистов не считают разумным замысел этой научной теории. Дарвинистам хватило этого, чтобы выиграть битву, но хватит ли, чтобы выиграть войну?

Те, кто следил за «эволюционным развитием» креационизма в теорию разумного замысла в последние 40 лет, мог бы прийти к выводу, что дарвинисты на самом деле поступают недобросовестно, поскольку они не принимают всерьез то, что теоретики разумного замысла пытаются играть по правилам дарвинистов, подчеркивая признанные самой наукой лакуны в неодарвинистской теоретической конструкции. В самом деле, спустя десяток лет после дела Китцмиллера мало доказательств того, что американцы стали относиться к Дарвину с большей симпатией, чем до суда. И никто не считает, что президентство Трампа вскоре изменит эту ситуацию.

STS официально отказались от позиции, характерной для мира постистины, в 2004 г., когда Бруно Латур выбросил белый флаг в «научных войнах», которые к тому времени бушевали уже почти 15 лет, — они стали интеллектуальным последствием произошедшей после холодной войны переоценки государственного финансирования науки, в которой заметную роль сыграла демистификация, проведенная в русле *STS* [Ross, 1996; Fuller, 2006b]. Показательны условия капитуляции, представленные в работе Латура [Latour, 2004; Латур, 2015]. Латур, по сути, взял на себя вину за *STS*, то есть за исследования, которые науч-

ному истеблишменту показались более разрушительными, чем того желала сама эта область исследований. Покаявшийся Латур говорит, что *STS* — это просто эмпирическая тень полей, которые они изучают. По сути, исследования науки и технологий повышают консенсус там, где он есть, показывая, как он поддерживался, и точно так же усиливают разногласия, если они присутствуют, показывая, как они сохранялись. В этом случае знаменитое методологическое требование Латура «следовать за акторами» абсолютно созвучно позитивной оценке *паразита* как ролевой модели, данной Мишелем Серром [Serres, Latour, 1995; Fuller, 2000b, ch. 7]. Если исследования науки и технологий и кажутся «критическими», то это лишь непреднамеренное следствие многих политических и практических проблем, связанных с наукой и технологиями, которые на самом деле остаются нерешенными. *STS* нисколько не способствуют установлению нормативного статуса этих вопросов. Они просто прорабатывают их и в процессе такой проработки, возможно, напоминают людям о том, о чем они в ином случае, может быть, хотели бы забыть или что они хотели бы проигнорировать.

Со стороны Латура это была довольно значительная уступка. В конце концов, в работе, которая сделала его интеллектуальной звездой, а именно в книге «Нового времени не было» [Latour, 1993; Латур, 2006], Латур попытался универсализировать то, что основополагающая Эдинбургская школа *STS* назвала принципом симметрии, то есть методологический принцип, ассоциирующийся с «натуралистическим» в широком смысле подходом к социальным исследованиям, согласно которому одни и те же причинные факторы должны рассматриваться при объяснении любых эпизодов истории науки и технологии независимо от того, какими мы их считаем сегодня — «хорошими» или «плохими» [Bloor, 1976]. Смелый на первый взгляд ход Латура, благодаря которому он остался любим-

цем «постгуманистов», состоял в таком расширении этого принципа, чтобы в социальных объяснениях не было привилегий не только у наших ценностных предпочтений, но и у любого чувства видового шовинизма, требующего исключительных прав человека на реализацию тех состояний мира, для которых необходимо участие нечеловеческих существ.

Однако Латур не предвидел, что симметрия применима не только к спектру изучаемых объектов, но и к спектру изучающих субъектов. Он, похоже, несколько наивно полагал, что универсализация принципа симметрии превратит *STS* в центральный узел общей сети тех, кто изучает «технонауку». Вместо этого получилось так, что каждый, кто может читать работы Латура и других представителей *STS*, стал применять принцип симметрии к самому себе, что привело к образованию довольно сквозных сетей и неожиданных последствий, особенно с того момента, как этим принципом овладели креационисты, климатические скептики, врачеватели — последователи нью-эйджа и другие претенденты на место в «кучке жалких», как изволила их назвать Клинтон. Использовав симметрию в свою пользу, «жалкие» получили определенные результаты, по крайней мере, в том смысле, что баланс сил постепенно склонился в их пользу, опять же независимо от того, хорошо это или плохо.

Я считаю, что мир постистины — это неизбежный результат большей эпистемической демократии. Другими словами, как только инструменты производства знания становятся общедоступными — и при этом показано, что они работают, — они в конечном счете будут работать для всякого, кто может ими воспользоваться. А это, в свою очередь, подорвет ту довольно-таки эзотерическую, иерархическую основу, которая опеделяла традиционное воздействие знания как силы стабильности, а часто и господства. Как мы отмечали, классическим образцом тако-

го эзотеризма является «Государство», в котором Платон отстаивает то, что в Средние века стали называть учением о «двойной истине»: одна — для элит (истина, которая позволяет им править), а другая — для масс (истина, которая позволяет им оставаться подвластными).

Конечно, цена, которую пришлось заплатить за обнажение постистинностного характера знания, состоит в раскрытии властной динамики, которая может интенсифицироваться и в конечном счете подорвать социальный порядок. Как мы уже выяснили, именно в этом заключалось мнение Платона о конечной фазе демократии. В раннем Новом времени это стало очевидным в связи с религиозными войнами, которые разгорелись в Европе почти сразу после того, как Библия стала общедоступной. Бэкон и другие авторы видели в научном методе способ сдержать любой будущий конфликт путем установления нового эпистемического режима господства. Хотя нормы демократии можно соблюсти, попытавшись отвлечь внимание от голой властной динамики в стиле Латура метафизическими репликами в сторону и периодическими вспышками праведного гнева, все это львиные тактики, которые служат лишь тому, чтобы забыть о лисьих истоках *STS*. Исследования науки и технологий должны наконец взять на себя ответственность за мир постистины и призвать лисий дух, таящийся в этой области исследований, чтобы он сделал с ними что-то неожиданное и творческое. В конце концов, в истине *Aude sapere* (кантовское «Смей знать») скрывается истина *Audet adipiscitur* («Кто смеет, тот выигрывает» Фукидида).

Тем не менее *STS* остаются связанными латуровской капитуляцией. Это заставило Серджио Сисмондо [Sismondo, 2017], главного редактора основного профессионального журнала *STS*, заняться превознесением достоинств того, кто кажется совершенно чуждым самому подходу *STS*, а именно Наоми Орескес, историка науки из Гарвар-

да, которая стала публичным защитником научного истеблишмента. Характерная тема ее работ — выраженная *асимметрия* между *естественным* формированием научного консенсуса и *искусственными* попытками создать научную контроверзу [Oreskes, Conway, 2011; Baker, Oreskes, 2017]. Но именно это умонастроение, предполагающее, что «нет науки, пока не пришло ее время», *STS* и попытались опровергнуть, потратив на это последние полвека. Даже если политические предпочтения Орескес, с точки зрения большинства ученых, занимающихся *STS*, вполне корректны, она допустила методологическое жульничество, предположив, что «истина» какого-либо публично важного вопроса с наибольшей вероятностью состоит в том, что в данный момент времени полагает большинство ученых-экспертов. Пассивно-агрессивные мучения Сисмондо в его передовице вызваны тем, что ему необходимо примирить собственное интуитивное согласие с Орескес с противоположно направленным вектором большей части исследований науки и технологий.

Наиболее важный для *STS* вопрос, попадающий в фокус постистины, — это недоверие к *экспертизе*, которому исследования науки и технологий определенно способствовали, ограничив прерогативы экспертных знаний. Сисмондо не хочет понять, что даже такие политически умеренные ученые, работающие в области *STS*, как Гарри Коллинз и Шейла Джасанофф, занимаются в своих исследованиях тем же самым. Коллинз в основном интересуется экспертизой как формой знания, признанной в качестве таковой другими экспертами, тогда как Джасанофф хорошо понимает, что цена, которую эксперты платят за надежные сведения, поставляемые ими инстанциям, определяющим политический курс, состоит в их согласии соблюдать предначертанные им границы [Collins, Evans, 2007; Jasanoff, 1990]. Ни та ни другая позиция не близка той намного более авторитетной роли, которую, по мне-

нию Орескес, должна была бы играть научная экспертиза в политическом процессе. С точки зрения *STS* те, кто разделяет нормативный подход Орескес к экспертизе, должны думать о том, как улучшить общественные отношения науки, например, о том, как ученые могли бы стать социально и материально ответственными за результаты политических и практических решений, принимаемых на основе их советов.

Когда я говорю, что *STS* заставили и более и менее респектабельных ученых «поднять уровень игры», я имею в виду то, что может оказаться наиболее долгосрочным вкладом исследований науки и технологий в общий интеллектуальный ландшафт, а именно представление о науке как об *игре* в буквальном смысле слова — возможно, самой большой и важной. Рассмотрим американский футбол, в котором матчи обычно проводятся между командами с разными ресурсами и разными послужными списками. Конечно, команда с лучшими ресурсами и лучшим послужным списком имеет больше шансов выиграть, однако иногда она проигрывает, и это единичное событие уже может подорвать доверие к команде, что приведет к дальнейшим потерям и даже бегству игроков. Каждый матч считается свободным пространством, где на 90 минут команды считаются равными, несмотря на их историю, возможно, совершенно разную. Идея Бэкона о решающем опыте, с готовностью подхваченная Поппером, связана как раз с этим умонастроением, определяющим для научной установки. «Социальный конструктивизм» *STS* попросту обобщает эту установку, перенося ее из лаборатории в мир. И если *STS* смогут искренне согласиться с собственным умонастроением, они смогут перейти от слов к делу.

Величайшее достоинство идеи игры в том, что она сфокусирована на обратимость удач, поскольку каждый матч имеет значение не только для объективного статуса сопер-

ничающих команд, но и для их субъективного ощущения движения. Однако если основываться на замечаниях Бейкер и Орескес о теории разумного замысла [Baker, Oreskes, 2017], они, похоже, считают, что научная игра заканчивается раньше, чем это происходит на самом деле, то есть после одного или даже нескольких поражений команда должна, получается, просто собрать чемоданы и объявить о собственном поражении. Здесь стоит напомнить, что существование атомов и реляционный характер пространства-времени — два положения, связываемые с революцией в физике, произведенной Альбертом Эйнштейном, — на протяжении большей части XIX в. считались спорными, если не давно похороненными, несмотря на наличие признанных проблем с полным осуществлением обещаний парадигмы Ньютона. Ученые, по-прежнему придерживавшиеся таких немодных взглядов, например, Эрнст Мах, если говорить о реляционном характере пространства-времени, казались чудаками, застрявшими в тех несбывшихся вариантах будущего, какими они представлялись науке прошлого. Однако после революций в теории относительности и квантовой механике репутация Маха радикально изменилась, и он прославился не чем иным, как своей прозорливостью. Так, Венский кружок, из которого выросло движение логических позитивистов, изначально был назван в честь Маха [Feuer, 1974].

Примерно так же разумный замысел может оказаться одной из этих «спорных, если не похороненных» идей, которые станут составляющими следующей революции в биологии, поскольку даже биологи, которых Бейкер и Орескес, вероятно, уважают, признают то, что в неодарвинистском синтезе есть существенные пробелы. Тот факт, что защитники разумного замысла повысили научность своих аргументов по сравнению с креационизмом, — а это я охотно признаю — уж точно не то, на что следует жаловаться противникам этого движения. Скорее, он пока-

зывает, что сторонники разумного замысла учатся на своих ошибках, как и любая хорошая команда, пережившая цепочку неудач. Соответственно, следовало бы ожидать улучшения результатов. Можно признать, что все эти вопросы в американском контексте несколько усложняются, поскольку конституционное отделение церкви от государства в последние времена интерпретировалось в том смысле, будто оно включает запрет на любой учебный материал, мотивированный специфическими религиозными интересами, словно бы отцы-основатели стремились институализировать генетическую ошибку[1]! Тем не менее эта зашоренная интерпретация позволяет Бейкеру и Орескес по-прежнему спорить с более ранними версиями «креационизма разумного замысла», подобно генералам, чьи экспертные познания сводятся к минувшей войне. К счастью, однако, все более информированную публику не так-то легко одурачить подобными операциями эпистемического арьергарда.

Некоторые ученые, работающие в русле *STS*, признают, что метафора игры подходит для описания того, как наукой занимаются сегодня, однако отвергают мое применение этой метафоры, особенно в отношении к собственной практике *STS*. Аманда Филлипс [Phillips, 2017] развивает эту тему в интересном направлении, обсуждая введение в американский футбол «минометного удара» (*mortar kick*), который не нарушает правил игры, но угрожает безопасности игроков. Это приводит ее к выводу, что залповый удар позорит или ставит под угрозу дух игры. Я вполне могу согласиться с ней в этом конкретном пункте, который она затем желает распространить на

[1] Имеется в виду «генетическая ошибка» в рассуждениях, когда ценность или обоснованность того или иного аргумента оценивается по истории и мотивам, в том числе тех, кто такой аргумент отстаивает. — *Примеч. пер.*

нормативную позицию, свойственную *STS*. Однако с этим я тоже могу согласиться, но сначала я хотел бы рассмотреть, готова ли была бы она отказать в праве на жизнь прошлым инновациям, изменившим ведение игры, и если да, то каким именно. Другими словами, я хотел бы прийти к более четкому пониманию того, что она подразумевает под «духом игры», который в числе прочего включает и суждения о допустимых в течение определенного периода времени рисках.

В обычном случае те же самые вопросы могут рассматриваться и в судебных решениях. Иногда судья принимает «поворотные решения», которые могут отменять прошлые постановления суда, но в любом случае они создают прецедент, на основе которого должны приниматься решения в будущим. Если вернуться к рассматриваемому примеру, Филлипс могла бы сказать, что футбол долгое время подрывал свой дух и что запретить следует не только «минометный» удар, но и некоторые другие более ранние нововведения. (В американском конституционном праве это было бы аналогично истории судебной интерпретации гражданских прав после принятия XIV поправки, по крайней мере, если считать от решения Верховного суда по делу 1954 г. «Браун против Совета по образованию», которое отменило предшествующие судебные постановления, интерпретировавшие «равные» права в том смысле, будто они допускают расовую сегрегацию.) Конечно, Филлипс могла бы вынести более ограниченное решение, заявив просто, что «минометный удар» — слишком большой шаг в развитии игры, которая до сего момента сохраняла свой собственный дух. Или же она могла бы попросту постановить, что «минометный удар» не противоречит духу игры, вот и все. Аргументы, использованные для оправдания любого такого решения, стали бы упражнением в прояснении того, что же означает «дух игры».

Все эти соображения заставляют нас глубже продумать то, что же, собственно, означает именование науки «игрой». Можно показать, что это по меньшей мере значит, что наука — это прежде всего автономная деятельность в том смысле, что она имеет четкие границы. Если кто-то знает, играет он в футбол или нет, точно так же он знает, занимается он наукой или нет. Конечно, воздействие такой игры на все остальное общество остается открытым вопросом. Например, когда были придуманы особые учебные заведения и введены программы получения степеней, призванные обучать людей «науке» (и здесь я подразумеваю наиболее широкое академическое значение этого термина, то есть *Wissenschaft*), особенно когда они получили поддержку и финансирование национальных государств, наука стала источником решающего эпистемического авторитета почти во всех областях практической политики. По-настоящему серьезные очертания этот процесс стал приобретать только во второй половине XIX в.

Примерно так же можно было бы вообразить историю футбола, которая развивалась бы, например, по образцу современных Олимпийских игр, где крупные политические единицы стали проявлять интерес к развитию Игр как к способу решения их давних проблем, которые в противном случае могли бы вылиться в насилие, возможно, даже массовое. В самом деле, Олимпийские игры можно было бы проводить по четкому графику, сделав из них своего рода сублимированную версию мировой войны. В этом возможном мире футбол — как один из представленных видов спорта — выполнял бы функции, для которых ныне используется вооруженный конфликт. В этом случае спорт мог бы черпать вдохновение у различных научных «гонок», в которых велась холодная война, в частности, у гонки за освоение Луны, которая стала весьма успешной версией этой стратегии в реальной жизни, поскольку смогла предотвратить глобальную ядерную войну.

Ее интеллектуальным остатком является то, что мы все еще называем теорией игр.

Бейкер и Орескес [Baker, Oreskes, 2017] небезосновательно придрались к аналогии, проведенной Дэвидом Блуром [Bloor, 1976], между скепсисом социального конструктивизма по отношению к трансцендентным концепциям истины и ценности и скепсисом, с которым австрийская школа экономики (как и большинство экономистов в целом) относится к самой идее «справедливой» цены, понимаемой в качестве некоего нормативного идеала для реальных цен. Здесь, собственно, скрывается не просто аналогия. Альфред Шютц, учитель Питера Бергера и Томаса Лукмана, знаменитых авторов работы «Социальное конструирование реальности» [Berger, Luckmann, 1966; Бергер, Лукман, 1995], присоединился к Фридриху Хайеку в качестве члена кружка Людвига Мизеса в межвоенной Вене, поскольку учился у него на юридическом факультете [Prendergast, 1986]. Рыночные трансакции служили очевидным образцом для идеи «социального конструирования». Эта мысль стала ясной уже Адаму Смиту и еще больше прояснилась в работах самого Бергера [Fuller, 2017], причем сегодня его продолжает весьма убедительно развивать историк экономики Дейрдра Макклоски, в последнее время — в своей феноменологической истории торговой жизни [McCloskey, 2006; 2010; Макклоски, 2018].

Однако, критикуя аналогию Блура, Бейкер и Орескес упускают самую соль: когда представители австрийской школы и другие экономисты говорят о нормативном статусе реальных цен, они понимают рынок в несколько идеализированном смысле; следовательно, для его выражения необходим термин «свободный рынок». Об этом моменте следует помнить, поскольку он восходит к той нормативной повестке, которая конкурирует с отстаиваемой Бейкером и Орескес. В результате постепенного утверждения неолиберализма во второй половине XX в.

эта нормативная повестка прояснилась — она заключается, в частности, в том, чтобы *освободить* рынки, что позволит установиться реальным ценам.

Здесь следует подумать о том, что в подобном «свободном рынке» есть прямое соответствие между ростом числа поставщиков и большей степенью свободы покупателей, поскольку он не только снижает цену, но также заставляет покупателей уточнять свой выбор. Именно в этом и заключается образовательная функция, выполняемая рынками, — в общем социальном обновлении в смысле просвещенческой миссии, которую в начале XVIII в. отстаивали Смит, Кондорсе и другие авторы [Rothschild, 2002]. То есть рынки защищались в качестве эффективных механизмов поощрения обучения, так что «руку» в выражении «невидимая рука» следует понимать прежде всего в качестве руки наставника. В этом контексте «реальные цены» — это просто актуальные эмпирические результаты рынков в «свободных» условиях. Вопреки Бейкеру и Орескес, они не соответствуют некоему априорному трансцендентальному царству «справедливых цен».

Однако рынки не «свободны» в требуемом смысле, пока государство стратегически блокирует определенные спонтанные трансакции, например, вводя особые тарифы для всех поставщиков, кроме официально лицензированных, или же позволяя определенному подмножеству агентов рынка организоваться так, чтобы можно было навязывать тарифы чужакам, желающим выйти на рынок. Другими словами, свободный рынок — это не просто более низкие налоги и меньший объем регулирования. Это еще устранение субсидий и предупреждение формирования картелей. Следует напомнить, что «Богатство народов» Смит писал против «меркантилизма», то есть против экономической системы, в чем-то напоминающей «социалистические» системы, которые неолиберализм попытался свергнуть, призвав к «свободному рынку». На самом

деле, один из первых неолибералов (известных также как «ордолибералы») Александер Рюстов придумал в 1930-х годах выражение «либеральный интервенционизм», под которым подразумевал значительную роль государства в освобождении рынка, например, путем расформирования охраняемых государством монополий [Jackson, 2009].

Капиталисты защищают частную собственность только в той мере, в какой она способствует коммодификации, которая, в свою очередь, обеспечивает торговлю. Капиталистам не обязательно подписываться под земельным подходом к частной собственности в стиле феодализма, который за счет тех же законов о наследовании ограничивает движение капитала, чтобы стабилизировать социальный порядок. Конечно, капитализм требует того, чтобы торговцы знали, кто чем владеет в каждый момент времени, а для этого нужны четкие сигналы, обозначающие собственность. Однако капитализм развивается только тогда, когда торговцы склонны расставаться с тем, чем они уже владеют, чтобы приобрести что-то другое. В конечном счете, богатство не может расти, если капитал не находится в обороте. Следовательно, государство служит капитализму, устраняя барьеры, которые заставляют людей слишком легко соглашаться со своим актуальным положением, что служит адаптивной реакцией на ситуации, которые они считают неспособными поменяться. Это помогает объяснить, почему либерализм, то есть движение, теснее всего связанное с формирующейся капиталистической чувствительностью, изначально назывался «радикальным» от латинского слова *radix* — «корень» [Halevy, 1928]. Он обещал организовать общество в соответствии с фундаментальной природой человека, полное выражение которого сдерживали существовавшие (как правило, основанные на собственности) режимы, неспособные обеспечить каждому то, что в XX в. стали называть равными возможностями, среди которых не на последнем месте и

возможность обменять свое прошлое на билет в вероятно лучшее будущее.

Эту достаточно сглаженную картину нормативной повестки мыслителей свободного рынка я предлагаю потому, что Бейкер и Орескес совершают риторическое мошенничество, ассоциируемое с исходными врагами капиталистов, меркантилистами. Оно заключается в предположении, что интересам общества лучше всего служат авторизованные производители (чего угодно). В самом деле, когда речь заходит о Европе раннего Нового времени — «эпохе абсолютизма», такая элизия государства и общества является важной составной частью как раз того, что подразумевается. Государство (*state*) в соответствии с его латинскими корнями — это якорь устойчивости, постоянная система координат, относительно которой определяется все остальное. Здесь можно сразу же вспомнить о Ньютоне, но в метафизическом отношении важнее был Гоббс, чья абсолютистская концепция государства была нацелена на воплощение авраамического божества в человеческой форме, телом которого в буквальном смысле является политическое тело республики.

Если отставить теологию, меркантилизм на практике стремился переизобрести и рационализировать феодальный порядок для зарождающейся современной эпохи, в которой «промышленность» все больше понималась не как средство для определенной цели, а как самостоятельная цель, или, говоря точнее, не просто как средство для получения плодов природы, но и как форма человеческой самореализации. Соответственно, политические границы на карте стали пониматься в качестве оболочки сверхорганизмов, которые к XIX в. приобрели известность как «национальные государства». В этом случае задача правителя не просто в том, чтобы сохранять мир на участках земли, которые по большому счету оставались самоуправляемыми, а, скорее, в том, чтобы «организовывать»

их так, чтобы они могли действовать в качестве единой производственной единицы, которую мы ныне называем «экономикой». Первой современной теорией такого положения вещей стала «физиократия», в которой правление рассматривалось по модели врача, орудующего с телом республики.

Первоначально меркантилистская программа включала королевские лицензии, предоставлявшие исключительные права на «домен», понимаемый в том смысле, который не ограничивался участками земли, но распространялся на все потоки производства богатства. Конечно, со временем эти права выродились в привилегии и субсидии, которые допускали некоторую конкуренцию, но обычно на неравном основании. Низовыми выгодополучателями такого процесса стали академические дисциплины, понятые в качестве отдельных доменов, или «областей», которые к концу XIX в. были институализированы благодаря переносу степени «доктора» из зоны ее первоначальных управленческих функций на средневековые либеральные искусства и на их современных наследников в науках [Fuller, 2013]. Именно здесь мы начинаем замечать практики «поиска ренты», характерные для современной системы академического знания, которая, прикрываясь поиском истины, в итоге начинает использовать для этой цели все доступное знание. Эту линию мысли я буду развивать в следующей главе.

В противоположность меркантилизму, «либеральная» чувствительность капитализма заключалась в том, чтобы перенаправить энергию государства на предупреждение формирования новых «зависимостей от ранее выбранного пути» в виде, скажем, торговой монополии, основанной на первоначально полученной и постоянно обновляемой королевской лицензии, которая могла бы послужить лишь сокращению возможностей будущих поколений. Это была откровенно антифеодальная программа. Последним

фронтом подхода, зафиксированного в такой программе, оказывается академия, которая, как давно уже признано, структурируется в категориях принципа, названного Мертоном «кумулятивным накоплением», источники которого многообразны, причем в значительной степени они взаимно усиливают друг друга [Merton, 1968b]. Перечислим лишь некоторые из них: 1) государственные лицензии, предоставленные производителям знания, начиная с хартии Лондонского королевского общества, даровавшей бессрочно гарантированное пространство самоорганизуемому сообществу, вольному заниматься какой угодно деятельностью в рамках исходно согласованных ограничений; 2) нормальная наука, управляемая парадигмой в стиле Куна, которая уступает следующей парадигме лишь в силу внутреннего провала, а не внешней конкуренции; 3) якорный эффект, создаваемый в силу влияния ранних этапов академического образования на последующую профессиональную карьеру и проявляющийся в самых разных областях начиная с рабочих мест и заканчивая грантами; 4) оценка академического труда в категориях системы коллегиального рецензирования, полномочия которой, не ограничиваясь вылавливанием ошибок, распространяются и на оценку значимости для предпочтительных исследовательских повесток; 5) разделение знания на «поля» и «области», которое поддерживает гротескный картографический дискурс «пограничных работ» и «охраны границ».

Список можно было бы продолжить, но мысль ясна всякому способному видеть: академия по-прежнему сопротивляется и неолиберализму, и неопопулизму, выступая с неофеодальных позиций, которые бы пришлись по нраву меркантилисту. Родословная по-прежнему играет определяющую роль, каков бы ни был источник прав прародителей. Отношение самого Мертона к многочисленным проявлениям «кумулятивного преимущества» в ака-

демии, похоже, было довольно амбивалентным, хотя как социолог он, видимо, не отнесся с должным уровнем критичности к той псевдолиберальной интерпретации, которая была дана «кумулятивному преимуществу» как эффекту работы «невидимой руки» в системе знания. Однако, как недавно показал Алекс Чизар [Csiszar, 2017], даже Мертон признавал, что внедрение наукометрии в 1960-х годах (в форме индекса научного цитирования) познакомило академию с тенденцией, ранее выделенной им в бюрократиях, а именно со «смещением цели», при котором, как только качественная цель формулируется в виде количественного показателя, возникает стимул работать на этот показатель независимо от его реального значения для достижения первоначальной цели. Следовательно, кумулятивный эффект высокого цитирования становится суррогатом «истины» или иной цели, трансцендентной по отношению к показателю. В этом реальном смысле то, что можно в лучшем случае считать мудростью научной толпы, в итоге постоянно — хотя и ошибочно — принимается за светоносный научный консенсус в его эпистемической функции.

Глава 4
Постистина академии: нераскрытые публичные знания

ВВЕДЕНИЕ: ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ АКАДЕМИИ И ПРЕТЕНЗИИ НА БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРАВА

Академическая свобода действительно может быть путем к истине, куда бы он ни вел, но не очевидно, что академические ученые, предоставленные самим себе, будут непременно изучать, не говоря уже о том, чтобы эксплуатировать, все то, что познаваемо. Если сформулировать ту же мысль несколько более провокативно, университет склонен компрометировать свой собственный либеральный универсализм, если только внешние силы не заставляют его изменить обычный порядок действия. Возможно, две наиболее значимые в историческом плане силы, противодействующие тенденции университета к компрометации, то есть своего рода внешние факторы академического универсализма, соединились в XX в. в то, что президент США Дуайт Эйзенхауэр назвал, хотя и в ругательном смысле, «военно-промышленным комплексом». Вся эта глава целиком посвящена этому вопросу.

Но мой тезис с самого начала может быть признан спорным и контринтуитивным. В конце концов, военный

и промышленный сектора общества обычно изображаются в качестве факторов, которые тормозят или же искажают чистое академическое исследование. Однако такая картина во многом неверна, хотя она и определяла рассказы историков о развитии наук. Она привела к пренебрежению тем, что руководитель программ Национального научного фонда США Дональд Стоукс [Stokes, 1997] назвал «квадрантом Пастера», то есть фундаментальными исследованиями, *ориентированными на применение*, среди которых важные интеллектуальные прорывы, оказывающиеся результатом работы с крупномасштабными или же долгосрочными практическими проблемами. Здесь как раз и скрывается повестка постистинностного исследования, которая открыто выступает против обычного порядка академии.

Выражение «квадрант Пастера» напоминает нам, что бессмертные достижения Луи Пастера в том, что ныне называется микробиологией, требовали интеграции знаний из разных академических областей, что обычно влекло критику одной или нескольких из их фундаментальных посылок. Как показывает затяжная «франко-прусская война» Пастера с Робертом Кохом, его работы помогли решить важные практические проблемы, связанные с государственными интересами в области торговли и войны. Конечно, сегодня академия считает их по самой своей природе «биомедицинскими». В данном случае нормативный термин «заболевание» выступает своего рода передаточным звеном, позволяющим перевести результаты Пастера из области «прикладных» исследований в фундаментальные, так что его первоначальные попытки преградить путь бактериям, чтобы они не подрывали шелковую, молочную, винную и пивную промышленность и не уничтожали войска на фронте, считаются настоящими «научными открытиями», сделанными в биологии и медицине как в отдельных дисциплинах.

Несмотря на академическую кооптацию работ Пастера, исходная мысль Стоукса не теряет своего значения. Основная эпистемологическая интуиция состоит в том, что устойчивость *глубинных* практических проблем (то есть связанных с человеческим существованием как таковым, причем не исчезающих со временем и не решаемых путем случайного перебора вариантов) в основном обусловлена относительно плохой организацией научного знания, которое в своем обычном состоянии не позволяет провести нужные связи, а вовсе не с какими-то тайнами в самой реальности. Именно в этом смысле то, что я позже буду называть «военно-промышленной волей к знанию», служит контрмерой по отношению к эпистемическим недостаткам академической свободы.

В работах по библиотечному делу и науке об информации показывается, что неспособность академических ученых провести необходимые связи между собственными трудами, позволяющие извлечь из них максимальную выгоду, приводит к значительному объему «нераскрытого публичного знания» [Swanson, 1986]. Это выражение первоначально указывало на способность специалиста по библиотечному делу прочесть и сопоставить работы из двух когнитивно родственных областей, друг друга обычно игнорирующих, чтобы предложить убедительную гипотезу решения давней медицинской проблемы, — и все это без получения исследовательского гранта на переизобретение того, что и так уже известно, хотя и в неявной форме, нужно лишь озаботиться поисками этих знаний [Fuller, 2016a, ch. 3]. Такая ситуация находит отражение в хорошо известном факте: во всех областях преобладающий объем внимания уделяется относительно небольшой доле научной литературы в каждом конкретном поле, примерно в той же пропорции, которая была представлена «принципом 80/20» Парето, согласно которому 80% реальных следствий обусловлено 20% доступных причин.

Это положение можно понимать по-разному, а сам Парето считал, что оно может применяться в самых разных сферах. По крайней мере, как мы вскоре увидим, оно может пониматься как в *львиных*, так и в *лисьих* категориях.

В любом случае в контексте академической практики оно, по сути, означает, что 80% академических усилий сфокусированы на 20% доступного знания. Это была одна из проблем, первоначально поднятых историком науки Дереком де Солла Прайсом [Solla Price, 1963; Солла Прайс, 1966], который популяризовал выражение «большая наука», чтобы описать нашу эпоху становления самого поля наукометрии, количественного исследования различных социально-экономических аспектов науки как самостоятельной системы и в то же время части более обширных социально-экономических систем. Прайс выяснил, что, когда все больше ученых вступают в определенную область исследований, а их исследовательский горизонт становится более сфокусированным, создавая эффект «переднего края», соотношение Парето легко сдвигается до значений 90/10. А с учетом того как ученые цитируют работы друг друга, все большее их число становится в итоге зависимым от постоянно уменьшающегося числа коллег. Результат, грубо говоря, состоит в том, что огромное большинство исследований обычно не цитируется и не читается, а потому и вовсе не оказывает какого-либо ощутимого эффекта.

Некоторые видят в таких исследованиях исключительно прирост *шума* в системе знания, поскольку они мешают «сигналам», посылаемым исследованиями, достойными внимания. Именно в этом смысле Мертон [Merton, 1968] предполагал, что ученым, оказавшимся на академической периферии, стоило бы максимизировать влияние своих идей, передавая их другим исследователям, тем, что находятся ближе к центру. Другие, обычно экономисты, тоже видят в избытке исследований «шум», но больше

в смысле Панглосса, то есть считают их «фоном», который, как в гештальте, позволяет предстать в виде «фигур» эпистемическим «сигналам», заслуживающим внимания. Шум может считать состоящим из фальстартов или же предшественников тех, кто в итоге получает львиную долю цитирования, будучи вынужденным поднять уровень своей игры в силу именно относительного дефицита объема коллективного внимания. То же самое предполагалось и предложенной самим Парето трактовкой соотношения 80/20 как социологического закона, который опирался на лейбницевский принцип достаточного основания. Он позволил Парето назвать 20% элиты, владевшей на протяжении всей истории человечества 80% богатства, «аристократией», хотя ее заслуга доказывается в категориях не наследуемых безусловных прав, а сравнительного преимущества.

Последний пункт не вполне тривиален, ведь Парето, судя по всему, считал, что принцип 80/20 является чуть ли не естественным законом человечества, поскольку общество независимо от того, с чего начинает и какой путь выбирает, в конечном счете выруливает на ту же общую траекторию или приходит к той же тенденции, что и остальные. В общей теории систем это называется «эквифинальностью», которая в античные времена связывалась с сильно выраженным фаталистическим настроем, а в современности, наоборот, со столь же сильными прогрессистскими настроениями [Fuller, 2015, ch. 6]. В результате уже в его времена читать Парето как политического автора стало сложно, хотя его справедливо считают своего рода либералом.

Мой собственный, достаточно взвешенный взгляд состоит в том, что Парето был не так уж далек от британских фабианцев и других движений, считавших, что «элиты» — это в каком-то смысле неотъемлемая часть человеческого бытия, хотя интересный политический вопрос

заключался в том, на каком именно основании они формируются. Фабианцы, которые частично опирались на Платона, а частично — на сторонника евгеники Фрэнсиса Гальтона, считали, что таким основанием должно быть «достоинство», понимаемое в качестве способности достижения результатов в той или иной социально значимой деятельности, что близко к психометрическому пониманию интеллекта, которое в начале XX в. как раз входило в моду. На этом основании можно рационально организовать общество в целом. Парето, очевидно, не согласился бы с фабианцами в том, что результатом такого процесса может быть истинно эгалитарное общество — в идеях или в поступках. С точки зрения Парето, в этом как раз и заключалось главное лицемерие социализма. Действительно, после включения Маркса в социологический канон в 1960-х годах откровенный отказ Парето от эгалитаризма сделал из него фигуру, обсуждать которую социологам стало неудобно.

Тем не менее даже в первоначальной трактовке Парето принцип 80/20 может интерпретироваться в пользу либо льва, либо лисы. Это различие можно понять на одном примере, сравнив установки по отношению к землевладельческой экономике конца XVIII — начала XIX в. в Британии, ставшей главным предметом классической политэкономии. Карл Поланьи назвал произошедшие в них изменения «великой трансформацией» [Polanyi, 1944; Поланьи, 2002]. Читателю, когда он будет оценивать сильные и слабые стороны обычного режима производства знаний в академии, следует иметь это в виду.

Львы в концепции Поланьи — это землевладельцы-тори, отличавшиеся выраженным и совершенно неприкрытым патернализмом, который оправдывался тем, что они правили как наместники Бога в его земных владениях. Они решали, какая часть земли должна обрабатываться, а какая — стоять под паром, и какую долю урожая спра-

ведливо отдать тем, кто над ним работал. В те годы, когда производительность угодий не дотягивала до ожидаемых величин, урожай распределялся так, чтобы работники не померли с голода. Землевладельцы действительно вершили на земле Божий суд. Поланьи обычно относился к ним с большей симпатией, чем было нормой в современный ему период. В те же времена, когда работал Поланьи, обычно склонялись к тому, что Герберт Баттерфилд назвал «историей вигов» по имени политических противников тори в парламенте. Виги олицетворяли собой постепенное размывание наследственных прав, обосновывающих руководящую роль тори, которое к началу XIX в. привело к созданию свободного рынка труда и демократического представительства, что стало одним из этапов поступательного движения к человеческой свободе.

В описании Поланьи, лисы — это виги и их преемники-«либералы», герои классической политэкономии, чье понимание нормативности было привязано к внешним стандартам, в частности к законам. Это особенно ярко иллюстрировалось определением республики как «власти законов, а не людей», говоря словами отца-основателя США Джона Адамса. Хотя слова Адамса сегодня повторяют часто и с почтением, мысль Поланьи состояла в том, что, когда этот тезис был впервые сформулирован, он понимался в качестве призыва к такому правлению, которое больше напоминало бы игру, доступную для каждого, кто может и хочет играть по правилам. Не нужно было быть потомком семейства землевладельцев, как того требовало мировоззрение тори. На одном уровне это определенно означало освобождение. Но также это влекло риски для тех, кто собирался вступить в игру, ведь им часто приходилось опираться лишь на свою сообразительность, а ее не всегда хватало, когда и если они проигрывали. Эта идея получила яркое развитие у Маркса, в его идее эксплуатации, отражавшей то, как капиталистам удалось об-

ратить «законы» политэкономии в свою пользу и против рабочих. Неудивительно, что в этом новом дивном лисьем режиме настолько выросли статус и сложность права как профессии, которая стала господствующей силой в современной политике. Например, юристами были более половины американских президентов.

Прежде чем заняться академическим производством знания, надо сделать короткое замечание о контрастирующих нормативных подходах, разделяемых тори и вигами как сторонами спора, которое поможет читателю сориентироваться в дальнейшем. Мировоззрение тори исходит из достаточно оптимистического взгляда на человеческую жизнь, согласно которому каждый может по-своему добиться успеха, если признает место, отведенное другому. Если при этом и предполагается «равенство», то лишь в смысле взаимоуважения, то есть такое, благодаря которому отношения сеньора и крепостного сохранялись столетиями. С этой точки зрения все проблемы в человеческой жизни проистекают из преходящего неравновесия в этой системе взаимозависимости, которое, однако, со временем должным образом исправляется. Мировоззрение вигов предполагает гораздо меньше доверия к устоям человеческого существования. С их точки зрения, мир тори держится на самом деле на угрозе силы, какую, скажем, сеньор обычно безо всякого стеснения применяет к проштрафившемуся крепостному. Из этого следует мысль, которая вполне открыто обсуждалась в статьях «Федералиста», ставших основой для Конституции США, о том, что людям нельзя доверить самоуправление, если нет достаточного правового контура для их деятельности. Но как только такой контур создан, они могут свободно играть с системой, пытаясь использовать ее в своих целях, что и попытался сделать Трамп, пока с несколько ограниченным успехом.

Теперь применим те же аргументы к академическому производству знания. В этом случае львами оказывают-

ся те, кто защищает свойственное академии общее чувство генеалогической преемственности, определяемой инстанциями *alma mater* («мать-кормилица») или *Doktorvater* («отец-доктор»), так что, получается, выпускники лучших учебных заведений и лучшие преподаватели обладают безусловным правом на более серьезное отношение к себе — в плане как их потенциала, так и результатов, показываемых ими в роли производителей знания. Но предположим теперь, что какой-то успешный академический ученый избежал этой крайне зависимой от траектории системы «кумулятивного преимущества», как его вполне справедливо назвал Мертон [Merton, 1968], — например, благодаря тому, что отучился в маргинальном университете. К такому человеку относятся как к аномалии, которую надо нивелировать, объяснив ее, скажем, постдокторскими стажировками или другими случайными аффилиациями с институтами, более тесно связанными с предписанным порядком вещей. Собственно, в свете таких объяснений статус-кво закрепляется и освящается самой своей способностью к «самоисправлению», как у тори.

Рассмотрим тот довольно узкий смысл, в котором академические ученые говорят о «влиянии исследования». В основном оно ограничено их публикациями в определенных «высокоимпактных» журналах, которые обеспечивают быструю и широкую рецепцию публикуемых статей. Во второй половине XX в. этот процесс, осуществляемый по мановению некоей таинственной эпистемологической версии «невидимой руки», оказался в фокусе внимания. Его значение отстаивали такие разные мыслители, как экономист Фридрих Хайек, философ и химик Майкл Поланьи (брат Карла) и социолог Роберт Мертон, во многом в противовес призраку тоталитаризма. Это привело к пониманию самой идеи вертикального планирования исследований как наиболее легкого пути к искажениям, фальсификациям и идеологической обработке.

Однако с точки зрения постистины то влияние исследования, которое так ценится этими самозваными либералами, уже является *стихийно спланированным*, и не обязательно в доброкачественном смысле, поскольку контролеры академического производства знания ориентируются прежде всего друг на друга, что обеспечивается давно сформированными каналами коммуникации и признания. Тут-то мы и приходим к секрету Полишинеля, скрывающемуся в «коллегиальном рецензировании», который состоит в том, что редакторы журналов, агентства-спонсоры и экспертные комиссии — все они обычно выносят подчищенные (некоторые бы даже сказали «коррумпированные») суждения. Их предметом является как обоснованность притязаний на знание в ее строгом смысле, так и значимость для различных исследовательских повесток, которым отдается предпочтение. Итоговый результат — не столько свободный рынок идей, сколько подпорченная заявка на рецепцию нового знания [Fuller, 2016a, ch. 2].

В этом пункте лисы вступают в игру в качестве защитников забытых исследований как неосвоенного источника, который следует использовать, отыскивая в нем скрытый потенциал, позволяющий развить уже имеющиеся программы или же открыть новые. Отличительная для управления знаниями практика массового «майнинга данных» (*data mining*) представляет собой один из способов развития этой идеи, реализуемый в основном в приватном порядке. «Поверхностная обработка данных» (*data surfacing*) — другая, на мой взгляд, предпочтительная практика, хотя и столь же приватизированная: если первая завязана на клиентские нужды, то последняя позволяет менеджеру знаний перенастроить клиента, чтобы он смог эффективнее работать со всеми данными, которые можно получить [Fuller, 2016a, ch. 3].

Но нет причин, по которым даже национальным агентствам, занимающимся финансированием науки, не

стоило бы придерживаться энергичной стратегии эксплуатации академического знания, возможно, в духе «позитивной дискриминации», особенно если мы уже согласны с тем, что современные механизмы производства влияния в академии несправедливо искажены различными формами зависимости от траектории. В этом отношении Интернет, возможно, уже помогает повестке лис, поскольку более образованное население все больше проводит свои разыскания через поисковые интернет-системы, а не через обычные контрольные инстанции академического мира, такие как учебники и сертифицированные эксперты. Эти поисковые системы служат демократизации представления знания, поскольку они форматируют данные в виде простых списков, хотя сегодня Google, как хорошо известно, имеет возможность искажать результаты поиска в пользу своих клиентов. В любом случае основная мысль тут в следующем: чем больше людей, активно занятых поиском знаний, тем больше вероятность того, что недоиспользованные по закону Парето 80% получат необходимое внимание [Brynjolfsson, McAfee, 2014, ch. 10; Бриньолфсон, Макафи, 2017, гл. 10].

ПРОБЛЕМА АКАДЕМИЧЕСКОГО ПОИСКА РЕНТЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНТРМЕРА

Когда Пастер утверждал, что открытие идет на пользу только уже подготовленному разуму, он имел в виду такой разум, который не стеснен академическими предрассудками, а потому открыт более широкому горизонту реальности, включая 80% работ, которые уже представлены в научной литературе, но обычно никем не замечаются. Мысль о том, что академия может быть источником предрассудков, восходит к критике средневековых схоластов как производителей «идолов разума» у Фрэнсиса Бэкона.

История современного университета, начавшаяся с ректорства Вильгельма фон Гумбольдта в Берлинском университете в начале XIX в., может пониматься в качестве относительно успешной попытки оправиться после наезда Бэкона на академиков как источников торможения, а не агентов интеллектуального просвещения.

Здесь стоит отметить, что на протяжении двух столетий, разделяющих Бэкона и Гумбольдта, то есть в XVII–XVIII вв., университет все еще, как правило, считался прославляемой профессиональной школой, задача которой — воспроизводить правящие элиты общества, то есть юристов, врачей и духовенство. Эти профессии первоначально были бастионами преемственности, защищающими от перемен. Гумбольдт сменил инерционный образ университета на более динамичный и прогрессивный, сделав передовые исследования частью обычного образовательного процесса, чтобы будущие лидеры — сегодняшние студенты — не занимались впоследствии бездумным копированием прошлого.

Тем не менее я говорю о «наезде», поскольку нам сегодня известно — как, вероятно, было известно и самому Бэкону, — что не все средневековые схоласты соответствовали его влиятельному стереотипу. В частности, члены францисканского ордена (например, Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон, Бонавентура, Дунс Скот, Уильям Оккамский) первыми открыли тот склад ума и тот экспериментальный настрой, отстаиваемые и самим Бэконом, которые предвосхитили многие из «прогрессивных» установок, характерных именно для современности [Fuller, 2015, ch. 2]. Но, как бы там ни было, Бэкон создал стереотипный образ академиков, опирающихся в своей работе лишь на одну из двух книг, через которые Бог общается с человеком, то есть на Библию, но не на природу. Этот стереотип отражал обычное понимание схоластики в те времена. Возможно, если взять наиболее известный

пример, расхождение с авторитетом Библии само по себе определило конфликт Галилея, современника Бэкона, с католической церковью.

Сегодня экономисты определили бы все более эзотерическую траекторию схоластического комментирования Библии в качестве симптома «зависимой от пути» и «рентоориентированной» академической культуры, в которой, как только вы открыли источник истины (в данном случае Библию), вы преграждаете ее поиск любому, если только он не прошел тот же путь или же не вступил в контакт с вами, что и является исходной экономической моделью ренты как пошлины, взимаемой на единственной замощенной дороге, ведущей к выбранному вами пункту назначения. Эта модель определяла также контекст первоначальных атак на технический язык (жаргон), который затемняет, а не проясняет мысль, и она же стала одной из предпосылок для придуманного Якобом Буркхардтом термина «Темные века», характеризующего состояние европейской интеллектуальной жизни до наступления того, что он назвал «Возрождение».

В XVIII в. скептический взгляд Бэкона на академическую жизнь получил полное признание, что привело к различным схемам реорганизации академического знания под лозунгом освобождения человека от авторитета традиции. В частности, большую роль сыграло предложение Бэкона обосновать разделение дисциплинарного труда разницей наших психических способностей, дабы максимизировать их стихийную синергию, хотя в те времена нейробиология еще только зарождалась [Darnton, 1984, ch. 5]. Поскольку же Бэкон и его более поздние последователи были по-прежнему убеждены в том, что человек — творение Божье, они были уверены, что только зашоренность других людей, а именно духовенства, контролировавшего университеты, стояла на пути бесконечного прироста знаний и благосостояния, обещанного будущим.

В конечном счете, даже если открытия рекламируются в качестве нового откровения самой природы, обычно не слишком сложно найти несколько прецедентов такого открытия, притаившихся в работах прошлого, на которые никто не обращал внимания. Конечно, каждая из таких работ может оставаться частичной, однако можно добиться их правильной комбинации, из которой выводится инновация. Этого может оказаться достаточно в качестве рабочего определения «подготовленного разума» — подготовленного к научному открытию в смысле Пастера. В таком случае «открытие» — это просто высокотехнологичная версия платоновского припоминания (*anamnesis*), благодаря которому результат определенного эксперимента подталкивает нас вспомнить то, что мы уже знали, хотя и в неявной форме, а потому позволяет нам использовать с максимальной отдачей «нераскрытое публичное знание».

В эпоху Просвещения представление о том, что другие люди стоят на пути общечеловеческого прогресса, нашло отклик в значительно более широких кругах общества, что часто приводило к революционным последствиям. В частности, это привело к переходу от капиталистической ментальности к социалистической, если говорить о модернизации политэкономии. Рабочим термином стала «организация». Как еще до Маркса понял граф Анри де Сен-Симон (1760–1825), считавшийся утопическим социалистом, всемирно-историческая задача капитализма была бы решена лишь наполовину, если бы он ограничился низвержением феодальных привилегий, сковывающих свободную торговлю. В дополнение к этому производство само должно быть организовано «флагманами отраслей», способными собрать таланты, чтобы получилось целое, намного превышающее сумму составляющих его индивидов.

В таком случае врагом является не просто невежество, но *привычка*, понимаемая в качестве второпоряд-

кового невежества, которое отражается в обычных паттернах поведения. Коллективизированная привычка составляет «традицию», устойчивость которой отражает неспособность видеть альтернативные способы комбинирования знания ради получения более эффективных и мощных результатов, что в терминах данной книги можно считать недостаточным использованием «модальной власти». Отсюда вытекает требование: не только дать людям шанс испытать удачу на рынке, но также, что более важно, обеспечить флагманов промышленности научными ресурсами, чтобы разведать скрытые таланты людей и обеспечить последних возможностью применить на практике свои способности, которые в XX в. стали называться «человеческим капиталом» [Fuller, Lipinska, 2014, ch. 3]. В следующем разделе мы будем обсуждать это общее умонастроение, назвав его «военно-промышленной волей к знанию».

Организационную атаку Сен-Симона, вдохновившую два ведущих движения современности, именующих себя прогрессивными, а именно позитивизм (через Огюста Конта, секретаря Сен-Симона) и марксизм, можно лучше понять, рассмотрев ее в качестве переноса ненависти капитализма к ренте как форме создания богатства с собственности на землю и самопринадлежность. Получается, что ваш недоиспользованный человеческий потенциал является таким же предметом критики, как и недоиспользованная земля, которой вы владеете. Конечно, эти две ситуации нельзя диагностировать или исправлять одним и тем же способом, но они обе составляют моральный затор, который общество должно прочистить. Такое понимание нормативного равенства между собственностью на землю и собственностью на самого себя началось с попытки Жан-Жака Руссо универсализировать легалистскую трактовку «собственности», ставшую нормой в Европе раннего Нового времени. Ее интеллектуальное наследие можно

проследить в причудливой истории понятия отчуждения, из которой возникло современное понимание различия субъекта и Другого.

Вся эта линия мысли приходит к своему завершению в наши дни благодаря тенденциям к поиску ренты в академических дисциплинах, занимающих онтологическую зону, расположенную между собственностью на землю и собственностью на самого себя. В этом контексте процессы коллегиального рецензирования не просто удостоверяют предложенные притязания на знания, но и, что важнее, создают права на коллективную собственность, предоставляемые лишь той академической дисциплине, которая провела эту процедуру удостоверения. В результате более поздние исследователи обременяются необходимостью отдавать долг уважения такому заверенному знанию, без которого они не могли бы подтвердить собственные притязания на знание. Такую процедуру удостоверения, порождающую коллективные права на интеллектуальную собственность, на которую ставится ярлык удостоверяющего академического журнала, можно считать либо добавлением стоимости к исходному притязанию на знание (то есть «созданием актива»), либо же просто извлечением прибыли из монопольного условия учета такими удостоверяющими инстанциями данного притязания на знание (то есть «поиском ренты»). Одним из первых это различие начал исследовать Кин Берч [Birch, 2017].

Тот факт, что обычно это различие в мотивах процесса удостоверения остается незамеченным, отражается в капиталистическом скепсисе по отношению к регуляторам рынка, призванным, скажем, обеспечивать безопасность, поскольку у подобных курсов есть склонность тормозить конкуренцию. Регуляторы заявляют, что обеспечивают контроль качества товаров и услуг, находящихся в обороте, но стандарт часто задается на более высоком уровне, чем готовы принять сами игроки рынка, а пото-

му он сужает их пространство взаимодействия. Конечно, регуляторы рынка заявляют, что говорят от лица третьих сторон, которые могут понести ущерб от совершенно свободной торговли (от того, что экономисты называют «негативными внешними эффектами»). Однако сами эти третьи стороны обычно никто не спрашивает; скорее, регуляторы просто считают, что они уязвимы. Так, современный патернализм скрывает грубое представление о том, что люди не способны самостоятельно определять тот уровень риска, который они готовы принять в неопределенной ситуации. «Принцип проактивности», который будет обсуждаться в последней главе, был разработан в том числе и для того, чтобы подорвать эту лицемерную позицию.

В любом случае только что описанная динамика выявляет более общее затруднение либерализма, с которым он сталкивается, когда пытается отнестись к людям как к действительно свободным агентам, способным на самозаконодательство. Неудивительно, возможно, то, что принцип предосторожности, который подробнее будет обсуждаться в последней главе этой книги, был попыткой восстановить патернализм на глобальном уровне. Он должен был убедить людей в том, что они поступят рациональнее, воспрепятствовав действию, а не совершив его, если они не посоветовались с якобы более квалифицированными посредниками или не прошли через то, что Латур [Latour, 1987; Латур, 2013] в *STS* первоначально называл «обязательной точкой перехода». (Неудивительно и то, что за последние 30 лет консерватизм Латура, сначала едва-едва заметный, расцвел намного более пышным цветом.)

Контрмерой по отношению к этой общей неприглядной ситуации выступала *междисциплинарность* как лучшее академическое средство от эпистемического поиска ренты, из-за которого у дисциплин формируется все более собственнический подход к организованному исследованию. Естественным противником эпистемиче-

ского искателя ренты является тот, кого социолог Рэндалл Коллинз [Collins, 1979] назвал «квалификационным либертарианцем», который относится к представителям дисциплин так же, как Джордж Бернард Шоу к экспертам в целом, усматривая в них заговор против интересов общества. Появление Интернета привело к новой и очень сильной волне квалификационного либертарианства, ведь сегодня от новых вызовов и альтернатив экспертному мнению по практически любой теме нас обычно отделяет лишь несколько нажатий клавиш.

Как мы уже отмечали, дисциплина является «собственнической» в негативном смысле, если она может принуждать исследователей признать ее собственность на определенное поле исследования независимо от реальной значимости дисциплины для эпистемической цели исследователей, то есть это стратегия «заманить и подменить», которая приводит к «когнитивному авторитаризму». Если рассуждать интуитивно, то, чтобы знать экономику, вы должны либо ее изучить, либо полагаться на того или иного экономиста. То же самое относится и к знанию о физическом мире (обращайтесь к физике), о жизни (обращайтесь к биологии), о здоровье (обращайтесь к медицине), об обществе (обращайтесь к социологии) и т.д. Такая рента может принимать форму требования, предъявляемого к исследователям, которые должны получить специальное образование или же цитировать авторов, принадлежащих полю эпистемического рантье. Если организованное исследование является своего рода интеллектуальным путешествием, тогда дисциплины взымают «дорожные пошлины», возможно, по той простой причине, что они сами сперва проделали подобный путь.

Короче говоря, эпистемический поиск ренты — это куновская «нормальная наука» с ясным бизнес-планом. Она возникает, когда определенный теоретический и методологический аппарат или парадигма с доказанной эф-

фективностью распространяются на неопределенное число областей применения, вытесняя тем самым другие подходы и иные формы вопросов, на которые они могут быть обращены. Например, после первых ошеломительных успехов ньютоновской механики вся материальная реальность стала считаться объяснимой ее средствами, что привело к вытеснению многих скользких проблем, связанных с природой жизни и сознания, ставших впоследствии основой для биологии и психологии как отдельных дисциплин [Fuller, 1988, ch. 9; Prigogine, Stengers, 1984; Пригожин, Стенгерс, 1986].

Однако эти дисциплины прошли тот же процесс «нормализации». В конечном счете можно сказать, что различные области явлений были присвоены определенными дисциплинами, доступ к которым предполагает значительные издержки на вступление, и не просто в плане специального образования, но и в плане человеческих и материальных ресурсов, необходимых для доведения исследовательского проекта до успешного завершения. В то же самое время и, возможно, в силу именно такого повышенного требования к ресурсам мотивов для серьезной дисциплинарной переориентации очень мало. И правда, по Куну, дисциплине, чтобы ее парадигма и правда были заменены, надо оказаться на грани саморазрушения, то есть попасть в ситуацию «кризиса», влекущего за собой «революцию».

Таким образом, дисциплины — это «зависимые от пройденного пути» формации, сам успех которых в следовании определенному пути становится сильным аттрактором для других областей исследования. Доказанный успех ньютоновской механики стал шаблоном, которому последовали другие дисциплины. Конечно, этому процессу поспособствовала и философия, особенно отличившаяся в XX в. — в движении логического позитивизма. В этом случае мы можем наблюдать эпистемический поиск ренты в

его наиболее утонченном виде, особенно в области социальных наук. В конце концов, ньютоновская механика в период своего расцвета в XIX в., когда она пыталась найти объяснение для света, электричества и магнетизма, не давала никакого особого преимущества в постижении феноменов, исследуемых социальными науками. Напротив, Джеймс Кларк Максвелл в своем председательском обращении 1870 г. к Британской ассоциации развития науки со всей ясностью отметил, что именно физики должны освоить те виды вероятностного рассуждения, которые уже были введены в области исследования, названные Адольфом Кетле «социальной статистикой» [Porter, 1986].

Последовав совету Максвелла, следующее поколение физиков провело нескольких революций — сначала в термодинамике, а потом в квантовой механике. Тем не менее во времена Максвелла уже считалось, что физика как дисциплина нашла формулу эпистемического успеха, определив «золотой стандарт» научности, которым и можно судить кандидатов на титул «наука», в их числе не на последнем месте оказались науки социальные. Несмотря на ощутимое присутствие в социальных науках XX в. литературной и гуманитарной традиции, за необходимость приблизиться к стандартам эпистемической успешности физике пришлось заплатить соответствующую цену, означающую маргинализацию исследований, которые нелегко было втиснуть в рамки физики. Действительно, когда сегодня говорят о «междисциплинарных исследованиях» в социальных науках, часто имеется в виду не что иное, как такое совмещение «интерпретативной» и «позитивистской» сторон, которое было бы вполне уместно на страницах, скажем, Маркса, Вебера или Дюркгейма, писавших более ста лет назад.

Логический позитивизм играет двойственную роль в истории эпистемического поиска ренты. Я уже указывал на то, что он превратил физику в область организован-

ных исследований с высокой рентой. Однако в то же самое время позитивисты требовали, чтобы другие дисциплины объяснили, почему им нужны теории и методы, отличные от тех, которые используются в физике. В этом отношении логический позитивизм похож на своего рода либеральный империализм Викторианской эпохи. Оба официально были доктринами «свободной торговли», поддерживающими относительно гладкие трансакции идей в первом случае и товаров — во втором. Однако точно так же оба они занимали привилегированную позицию, с которой проповедовалась доктрина свободной торговли. В случае позитивистов привилегированное положение занимала математика — в варианте символической логики или же статистического представления.

Когда я был студентом, эту характеристику позитивизма выражали через различие между «контекстом открытия» и «контекстом обоснования». Наука как институт преобразует частные истории открытия в притязания на знание, которые, в принципе, может оправдать кто угодно, просто исследовав факты и рассуждения, обосновывающие определенное притязание на знание. Таким образом, индивидуальные идеи инкорпорируются в коллективный корпус исследования, что, в свою очередь, означает развитие человечества в целом. Так, хотя такая-то истина могла быть открыта каким-то строго определенным путем, задача науки — показать, что она могла быть открыта в разных обстоятельствах, если добыты необходимые факты и проведены соответствующие рассуждения [Fuller, 2000a, ch. 6]. Короче говоря, когда наука делает свое дело, зависимость от проделанного пути нарушается.

Легко понять, что этот позитивистский принцип означает конец эпистемического поиска ренты. Сами позитивисты — примерно в том же смысле, что империалисты в прошлом и глобалисты в наши дни, — считали устранение барьеров, препятствующих торговле, шагом к боль-

шей интеграции и междисциплинарности. Последнюю следовало стимулировать за счет антидисциплинарности на случай, если дисциплинам понадобится переводить свой специфический жаргон на общую *lingua franca* интеллектуального обмена. Но получилось не совсем так. Как и в экономике, уже существовавшее неравенство между силами разных дисциплин сказалась и на этой зоне свободной торговли. Хотя многие дисциплины и правда подружились с физикой, другие, чуждые ей, способы исследования были еще больше вытеснены на обочину интеллектуальной жизни. Математика в этом контексте стала скрытым барьером для свободной торговли. В результате эпистемический поиск ренты и предложенное от него позитивистами средство сегодня сосуществуют друг с другом безо всякого решения, сочетая, видимо, худшие черты обоих миров. И опять же это не слишком отличается от мировой политэкономии, что особенно очевидно в социальных науках.

С одной стороны, есть экономисты и психологи, способные при помощи математики приходить к поразительным идеям, которые понятны их коллегам-естественникам, способным их легко оценить. Такие идеи могут впоследствии привести к созданию междисциплинарных альянсов, которые сегодня можно встретить, к примеру, в Институте Санта-Фе. С другой стороны, исследователи с меньшими математическими наклонностями могут кивать на «самобытные» основы своего дисциплинарного знания. Это помогает объяснить развитие того, что можно было бы назвать «окопным ссылочным аппаратом», то есть высокой цитируемости строго ограниченного корпуса текстов. В любом случае, прежде чем сделать тот или иной интеллектуальный шаг, необходимо овладеть местным жаргоном, отсюда очень высокая рента, но в относительно небольшом, закрытом сообществе. Современный академический «постмодернизм» во многом может

быть понят именно в этом смысле, причем не только его хулителями. Иногда больно бывает видеть, как коллеги, берущиеся обсуждать, скажем, причины неравенства, скатываются к разговору о сравнительных преимуществах взглядов на этот вопрос того же Мишеля Фуко или Пьера Бурдье.

КУЛЬТ УСПЕХА И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОЛЯ К ЗНАНИЮ

Состояние разума, необходимое для приобретения знаний, начало существенно меняться в христианскую эпоху, которая развилась в секулярную современность. Греки считали, что «знание» в смысле систематического понимания того, как вещи связаны друг с другом, доступно всем образованным людям, у которых достаточно свободного времени. К ментальным состояниям, необходимым для достижения такого знания, можно отнести платоновское созерцание космоса и восприимчивое наблюдение за природой, отстаиваемое Аристотелем. Важно обратить внимание на отсутствие самой идеи *путешествия*, не говоря уже о таком путешествии, пункт назначения которого на первых этапах представляется в лучшем случае частично, причем люди, отправившиеся в путь, могут такого пункта назначения и не достичь. Тем не менее такое путешествие стало необходимым в контексте христианской эсхатологии (то есть теории человеческой судьбы) и современных секулярных концепций прогресса, поскольку люди пребывают в состоянии, которое значительно отстает от полной реализации их потенциала бытия в мире, что может объясняться как первородным грехом, так и давно укоренившимися привычками разума. Затем представление о таком путешествии стало частью коллективной психологии, необходимой для оправдания науки как межпоколенческого социального предприятия неопределенной

длительности [Passmore, 1970, ch. 10–12; Fuller, 2015, ch. 3]. Военно-промышленная воля к знанию выдвигает на первый план — возможно, больше, чем академические ученые, — удовлетворительное завершение эпистемического путешествия.

Тот факт, что академики склонны превозносить плюсы самого путешествия, а не пункта назначения, можно назвать «проклятием Канта» — речь об академическом нежелании, а может, и о неспособности определять цель исследования, которая бы считалась осмысленным завершением для тех, кто им занимается. Вместо такого завершения академики обычно предлагают «регулятивные идеалы» в духе Канта, но они определяют разве что установку на исследование, или, как говорил логик Альфред Тарский, «конвенции истины», задающие условия, выполнение которых требуется «истиной» (как синонимом завершения исследования), но как именно их выполнить, не сказано. Во всем этом недостает четкого ощущения *успеха*, которое играет центральную роль для военно-промышленной воли к знанию.

Успех предполагает, что путешествие закончилось тем, что оправдывает сам его факт. В этом конкретном смысле финал оправдает средства. Здесь следует напомнить, что выражение «цель оправдывает средства» первоначально было теологическим лозунгом, который оправдывает все зло в мире тем, что оно вносит свой вклад в осуществление божественного плана творения. Кант был заклятым врагом такого подхода, но не столько по этическим, сколько по эпистемологическим причинам: если доказать бытие Бога невозможно, тогда попытка мыслить на манер Бога является тщетной и даже потенциально опасной спекуляцией, которая игнорирует то, что уже известно, а именно человеческую конечность.

Военно-промышленная воля к знанию, напротив, занимает точку зрения, которую стали открыто защищать

через два поколения после Канта такие левые гегельянцы, как Людвиг Фейербах и Маркс. Она предполагает, что «Бог» — это просто название успешного завершения проекта человеческой самореализации. В этом случае любые препятствия, мешающие нам получить «то, что мы хотим» (в каком угодно определении), понимаются, скорее, в смысле вызова, который надо преодолеть, а не знака, запрещающего выход за пределы ограничений. Эта линия мысли, в свое время приведшая к взрывным политическим следствиям (в частности, к либеральным революциям 1848 г.), в генетический код философии была встроена шотландским философом Джеймсом Феррьером который получил образование в Германии и ввел в английский язык термин «эпистемология».

Словно предвосхищая «Трактат» Витгенштейна, Феррьер доказывал: если мир можно полностью поделить на то, что «известно», и то, что «неизвестно», из этого следует, что все познаваемо, и, таким образом, сама идея «непознаваемого» (например, кантовского ноумена) является бессмысленной. «Неизвестное» — это просто то, что «еще предстоит познать». (Это относится и к «неизвестным неизвестным», о которых пойдет речь ниже.) Соответственно, допустимым становится намного более конкретный и явный смысл итогов исследования — успешное завершение стратегии, которую можно спроектировать или выполнить, а это, в свою очередь, послужило развитию военно-промышленной воли к знанию в последние 150 лет.

Однако у «военной» и «промышленной» сторон этого интеллектуального комплекса были принципиально разные способы интерпретации «успеха». Разница эта иллюстрируется двумя смыслами, в которых мы можем достигать «истины», понимаемой в качестве конкретной цели исследования. Мы можем иметь в виду либо то, к чему мы приближаемся, либо то, что нарастает со временем, то есть «интенсивную» или «экстенсивную» величи-

ну: первая измеряется, вторая подсчитывается. Соответственно, можно говорить либо о «приближении к истине», либо о «накоплении истин». Вот в чем заключается различие между соответственно «военным» и «промышленным» подходами [Fuller, 1997, ch. 4; Fuller, 2002, conclusion].

Первый в основном сводится к тому, как преодолеть дистанцию, отделяющую от цели, а второй — к тому, как расшириться, чтобы инкорпорировать или же вытеснить всех остальных конкурентов, что само по себе является частью цели. Таким образом, возникают две концепции успеха: *победа* в войне и *монополия* в торговле, первая из них реализована в корреспондентной, а вторая — в когерентной теории истины. Капитализм играет особую роль в этой диалектике, поскольку он сосредоточен на *производительности*, нацеленной не только на производство большего количества материалов (то есть на промышленную сторону), но также на более эффективное производство, которое означает отказ от прежних практик или их уничтожение (что составляет военную сторону). Именно это двойственное качество капитализма заставило социалистов XIX в., не в последнюю очередь и Маркса, задуматься о будущем, которое благодаря новой технологии потребует меньшего объема труда. Это означало, что большинство людей будет жить либо в условиях безделья, либо в нищите в зависимости от того, что Маркс называл «общественными производственными отношениями». В категориях Парето, промышленная сторона капиталистической производительности принадлежит львам, а военная — лисам. Теперь применим ту же мысль к производству научного знания.

Военно-промышленная воля к знанию является определенно *антидисциплинарной*, однако в каком смысле она *междисциплинарна*? Она антидисциплинарна в силу отрицания того, что в самой генеалогии и вызревании дисци-

плин есть нечто «естественное». Таким образом, военная сторона должна ускорять производство знания, извлекая выгоду из любой неотложной ситуации, сосредоточивающей внимание на подавлении общего врага, тогда как промышленная сторона должна наращивать производство знания, позволяя ему выйти из лаборатории в жизненный мир. С этой двойственной точки зрения органический подход к исследованию под лозунгом «нет науки, пока не пришло ее время», отстаиваемый Куном [Kuhn, 1970; Кун, 1977], представляется мистификацией историей науки. В самом деле, военно-промышленная воля к знанию не относится к дисциплинам как охраняемым видам академической экологии, скорее, она рассматривает их с точки зрения растениеводства или животноводства, поскольку она готова скрещивать и сопоставлять знания из разных дисциплин ради улучшения условий человеческой жизни. Франко-прусская война 1870–1871 гг. показала, что передовым промышленным экономикам военные задачи могут послужить стимулом, заставляющим оптимизировать производственные процессы, сети распределения и ускоряющиеся инновации. Американский «Фонд Карнеги за международный мир» — один из наиболее влиятельных мозговых трестов — финансировал одного из основателей Венского кружка Отто Нейрата и британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, изучавших эти вопросы в свете соответственно Балканских войн и Первой мировой войны.

Хотя по своим политическим взглядам Нейрат был социалистом, а Кейнс — либералом, оба признавали то, что воспринимаемая угроза войны усилила желание государства стимулировать промышленность ради такого изменения ее привычного распорядка, которое способно было принести пользу обществу в целом, в том числе в силу последующего сохранения новых междисциплинарных практик, сложившихся в военное время. Именно это идейный

организатор победы Пруссии во Франко-прусской войне Гельмут фон Мольтке называл «перманентным чрезвычайным положением», о котором мы будем говорить далее. Во второй трети XX в. экономика стала основной дисциплинарной площадкой для конкретизации этой точки зрения. Главным проектом стала Комиссия Коулса, названная по имени владельца Chicago Tribune, которая к 1950-м годам успешно разработала разные эконометрические модели (ставшие прототипом для современных компьютерных симуляций) на широком идеологическом спектре различных экономик, не только кейнсианских, но и советских (на базе рыночного социализма Оскара Ланге) и даже неолиберальных (благодаря монетаризму Милтона Фридмана). В то время считалось, что этот проект решительно размежевал экономику с ее классическим свободно-рыночным основанием в том смысле, в каком Хайека можно было рассматривать естественным правопреемником Адама Смита, поскольку Коулс придерживался именно дирижистского подхода к экономике, считая ее машиной, киборг-версией Homo economicus, поддающейся контролю [Mirowski, 2002, ch. 5].

Самым главным был вопрос о том, можно ли человеческую креативность, источник предпринимательского духа, симулировать в той или иной систематической концепции экономической жизни. Среди важнейших противников Коулса были самозваные наследники Адама Смита в США, особенно Фрэнк Найт, который основал Чикагскую школу экономики. Найт отвергал вертикальный подход Коулса, предпочитая ему нечто «спонтанно порождаемое», но при этом таинственное; соответственно, Найт провел влиятельное различие между состояниями незнания, обусловленными подлинной «неопределенностью» (когда событию нельзя приписать ту или иную вероятность в силу его беспрецедентной природы), и «риском» (когда вероятность событию приписать можно, поскольку

у него были прецеденты). Первое представлялось сферой деятельности предпринимателя, а второе — управленца. По этой причине Найт полагал, что применение математики в экономике всегда будет ограничиваться рутинным (или «управляемым») экономическим поведением, но не его креативной частью. Этот тезис напоминает то, что часто говорят об ограничениях экспериментальной психологии в понимании человеческой креативности.

Однако Найт не смог предугадать, что математические модели радикально преобразят осмысление неопределенности. Задача состояла в управлении «неизвестными неизвестными», если вспомнить громкое высказывание министра обороны США Дональда Рамсфелда, сделанное им во время войны в Ираке, — в управлении за счет превращения их в «познаваемые» величины в симулированном универсуме, определяемом системой математических уравнений, на основе которых можно составить несколько разных прогнозов.

Рамсфелд предложил в общем-то высокотехнологичную версию того рассуждения, которое 150 годами раньше заставило Феррьера вложиться в эпистемологию. Все, что считается «неизвестным неизвестным», уже познаваемо, то есть оно существует, если вспомнить остроту Уилларда Вана Ормана Куайна, сказавшего, что «существовать значит быть значением связанной переменной» (как, например, в системе уравнений). Другими словами, «неизвестное неизвестное» должно удовлетворять определенным параметрам, которые можно по-разному формализовать. Так, хотя мы можем и не знать точных значений, мы можем знать «погрешность». Говоря в целом, экономика независимо от того, как понимается ее поведение в качестве «запланированного» или же «слепого», может моделироваться алгоритмами, координирующими независимые потоки входных данных с согласованной реакцией, составляющей выходные данные. На основе такого системного

мышления можно даже попытаться добиться «плановых» результатов «слепыми» методами, и наоборот, в чем, по сути, отображается политико-экономическое пространство, определяемое рыночно-социалистическими и социал-демократическими способами обеспечения [Fuller, 2016a, ch. 4]. В принципе, так трактовать можно все что угодно — от движения денег до распределения ресурсов.

Так возник важнейший междисциплинарный проект времен холодной войны, а именно кибернетика [Mirowski, 2002, ch. 2]. В разгар холодной войны политолог из Массачусетского технологического института (MIT) Карл Дойч [Deutsch, 1963] предложил концепцию государства как кибернетического мозга общества. Эту метафору британский консультант в области менеджмента Стаффорд Бир попытался понять в буквальном смысле, когда стал главным инициатором злосчастной попытки реализации кибернетического социализма в Чили (проект «Киберсин») с помощью мейнфрейма, который был уничтожен во время переворота Аугусто Пиночета в 1973 г. [Pickering, 2010, ch. 6]. В любом случае многие поклонники такого подхода, не в последнюю очередь и сам Рамсфелд, сделали неплохую карьеру, применяя этот шаблон. Хорошо это или плохо, но одним из первых адептов прикладной кибернетики (известной как исследование операций) был Роберт Макнамара, который, став сторонником системного мышления еще в Гарвардской школе бизнеса, во время Второй мировой войны руководил бомбардировками Японии, потом управлял богатствами *Ford Motor Company*, координировал военные операции США во Вьетнаме и, наконец, заведовал программами Всемирного банка по помощи развивающимся странам [Fuller, 2000b, p. 183].

Наиболее радикальная и как нельзя более убедительная формулировка военно-промышленной воли к знанию принадлежит человеку, под руководством которого прусские войска в 1871 г. одержали победу над Францией. По

Мольтке, общество должно считать, что оно всегда находится в «перманентном чрезвычайном положении», то есть надо мыслить в категориях, определяющих, кто или что может в следующий момент грозить самому его выживанию [Fuller, 2000b, p. 105–109]. Такой подход привлекает внимание общества к необходимости снова и снова утверждаться в непрерывно меняющихся условиях. Короче говоря, мирное время — это период, когда вы учитесь тому, как вести следующую войну. Соответственно, образ общества как организма и как системы сплавился воедино в вечной борьбе общества за определение границы между самим собой и внешней средой. Значение такого единого образа нельзя недооценивать. (Он будет важен и для «суперпрогнозирования», о котором пойдет речь в последней главе.) В конечном счете, если «система» обычно рассматривалась в качестве термина логики, формальных отношений частей к целому, то теперь она была смешана с содержательным биологическим императивом, согласно которому выживают только те, кто движется вперед (или растет). Как мы увидим, эта в эпистемологическом отношении глубокая, хотя и несколько параноидальная позиция достигла расцвета в период холодной войны.

Органицистская концепция общества сыграла на руку созданной в XIX в. концепции государства как стража «нации», то есть политической структуры, основанной на наличии коренного населения (к которому могут добавляться некоренные граждане, но могут и не добавляться). Также она хорошо согласовывалась с такими современными ей нововведениями, как «экспериментальное» определение Клодом Бернаром смерти как неспособности организма сохранить строгое различие между собой и средой (то есть определение смерти как смешения) и экономическая модель общего равновесия как самоподдерживаемого механизма, предложенная Леоном Вальрасом. И если определение смерти у Бернара стало рассматриваться в каче-

стве частного случая принципа энтропии в термодинамике, модель Вальраса была развита до понимания общества в качестве системы взаимосвязанных рынков, которые гармонизируются силами государства-регулятора. Подобный взгляд на мир отстаивался и младшим современником Вальраса Парето, которого, в свою очередь, в США переводил и пропагандировал гарвардский биохимик Лоуренс Хендерсон. Коллега Хендерсона физиолог Уолтер Кэннон придумал термин «гомеостаз», выражающий эту линию мысли в ее наиболее общей форме. Термин был подхвачен социологом Толкоттом Парсонсом, стремившимся к созданию междисциплинарной науки «социальных отношений», и, главное, математиком Норбертом Винером, в работах которого он стал одной из основ кибернетики [Heims, 1991, ch. 8].

С точки зрения последователей Мольтке, война — это просто силовая версия непрерывного конфликта, который обычно разыгрывается на рынке. Точно так же как производители-конкуренты стремятся помешать друг другу достичь монополии, национальные государства считают, что соперники отстаивают альтернативные гегемонические режимы, возникновение которых они пытаются предупредить. В этом отношении «мир» — это просто сублимация враждебности, определяемой конкурирующими универсализмами. Логику, поддерживающую эту линию мысли, проследить не так уж и сложно.

Однако идея Мольтке получила особое развитие во время холодной войны, когда сначала лаборатория, а потом и компьютер стали гибридными военно-промышленными платформами, используемыми в конкуренции государств. Так, в конкуренции между СССР и США в области космических программ, начавшейся в 1957 г. с запуска советского спутника и вылившейся в «гонку вооружений», демонстрация научно-технической мощи сама по себе значила больше ее реального применения как на войне, так и в торговле.

В конечном счете, США выиграли в холодной войне просто потому, что потратили на нее больше, то есть обанкротили СССР. После этого многие инновации, освоенные в период холодной войны, быстро оказались на рынке, что породило феномен Кремниевой долины и ее многочисленных глобальных подражаний, ставших двигателями экономики после холодной войны. Это, в свою очередь, привело к появлению новых вопросов национальной безопасности, сегодня отражаемых разнообразными биотехногибридными дискурсами о «вирусе» [Mazzucato, 2013].

Мольтке черпал вдохновение в классической работе Карла фон Клаузевица начала XIX в. «О войне», которая известна своим определением войны как «продолжения политики другими средствами». Однако он вывел Клаузевица на новый уровень, усовершенствовав, насколько можно судить, искусство войны. Здесь стоит представить войну в качестве диалектического процесса. На первом этапе война является естественным продолжением повседневного конфликта, лишенным согласованных правил или целей, то есть он продолжается до тех пор, пока стороны не решат, что продолжать борьбу не в их интересах. Так, римский военачальник III в. до н.э. Фабий, известный как своими действиями против Ганнибала во время Пунических войн, так и по названию фабианского социалистического движения в Великобритании, попросту изматывал своих более сильных противников, заставляя их бороться на своей собственной территории, что позволяло его войскам выигрывать, применяя партизанские тактики. На втором этапе война, напротив, приобретает четкие стратегические цели, а также снабжается теми согласованными правилами действий, благодаря которым определение Клаузевица начинает казаться верным. Это и остается общепринятым «современным» пониманием войны, в котором заключение и нарушение договоров между государствами составляет официальную летопись геополитических отношений.

Однако Мольтке стремился превратить войну в предельный случай человеческого бытия, что характерно уже для третьего этапа диалектики. В полном согласии с Гегелем, этот третий этап возвращает элементы первого фабианского момента. Так, противник, хорошо определенный в структурированном конфликте, как он понимался Клаузевицем, задает еще и среду, в которой реализуются наши собственные цели, больше связанные с нашим собственным существованием. В этом отношении противник интериоризируется в качестве средства наших собственных целей. Грубо говоря, противники нужны, чтобы досконально понять, кто мы такие и что, следовательно, заслуживает защиты и развития. Борьба между капитализмом и социализмом времен холодной войны, которая вполне осознавала себя в качестве борьбы манихейской, доводит до предела это уравнивание жизни и войны, не обладающее никакой очевидной целью. Говоря конкретно, она была отмечена превращением армии в наиболее проактивного агента государства в том, что касалось ее отношения к науке и технологии.

Это более смелое стремление к созданию общей науки стратегического контроля заявило о себе изменением логики военных поставок: их стали планировать не из-за необходимости подготовки к ожидаемой в ближайшем будущем следующей версии Второй мировой войны, а на случай участия в по-настоящему новой Третьей мировой войне, отнесенной на неопределенное будущее. В этом отношении британский политэкономист Мэри Калдор [Kaldor, 1982] писала о развитии «барочного арсенала», для которого быстрая реакция и операции на расстоянии становятся самоцелью независимо от конкретной краткосрочной выгоды. Значение этого момента для междисциплинарности в том, что всякий раз, когда образцовый пример этого подхода — американское Управление перспективных исследований Министерства

обороны (*DAPRA*) описывается как обитель «безумных ученых», их «безумие» обычно соотносится с отказом ученых принимать нормальные пространственно-временные параметры дисциплинарного исследования [Belfiore, 2009].

КОРПОРАЦИЯ КАК ЦЕНТР ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОЛИ К ЗНАНИЮ

Чтобы лучше понять вопросы, рассматриваемые в данном разделе, надо вкратце вспомнить историю корпораций. До XIX в. юридическая категория *корпорации* как образования, независимого от государства и обладающего особым юридическом статусом, была закреплена за гражданскими, академическими и религиозными организациями. В этом отношении Королевское общество было даже большей корпорацией, чем акционерные компании, которые сегодня принято считать первыми инструментами капиталистической экспансии Британии XVII–XVIII вв. Эти компании в конечном счете зависели от милости монарха, выступавшего главным акционером, который в обычном случае был лично заинтересован в их делах. Однако во второй половине XIX в. прокатилась волна экономической либерализации, которая создала возможность увековечивания фирм по корпоративной модели, включающей ограниченную ответственность собственников и права на расширение, особенно когда последнее считалось совпадающим с общественным интересом. Таким образом, корпорации в современном смысле получили право минимизировать трансакционные издержки путем приобретения важных для их продукции цепочек поставок и каналов сбыта. Но не менее важно то, что корпорациям позволили открыто торговать долями собственности на рынке, особенно на фондовом, благодаря чему нормой стали не контролирующие ход дел «акционеры».

Однако, как показали Адольф Берли и Гарднер Минс [Berle, Means, 1932] в своей знаменитой работе «Современная корпорация и частная собственность», итоговым результатом этих перемен в корпоративном праве стал разрыв между собственностью и управлением, определивший направление того процесса, который привел к деконструкции самого понятия собственности. Рыночная демократизация собственников как «акционеров» привела к снижению корпоративной ответственности, которая была передана классу профессиональных менеджеров, чьи рабочие места зависели от получения все большей отдачи на инвестиции акционеров любыми средствами. Для нашего контекста важно то, что рискованные решения, принимаемые новым классом менеджеров, обычно оформлялись и легитимировались междисциплинарными исследователями, нанимаемыми фондами, которые финансировались самими этими крупными корпорациями. Однако во времена подъема коммунизма и фашизма этот момент остался незамеченным. Напротив, в «Современной корпорации и частной собственности» видели доказательство взаимодополняемости массовой демократии и авторитаризма, поскольку акционеры, казалось, не интересуются тем, что делают менеджеры, пока дивиденды растут. А к тому времени, когда менеджеры терпели провал, менять курс часто было слишком поздно, ведь это могло повлечь значительные убытки. Исторической кульминацией этого стала Великая депрессия. Именно в этой ситуации американский президент Франклин Делано Рузвельт расширил роль государства как действующего в общественных интересах регулятора делового мира. Рузвельт обратился к таким междисциплинарным исследователям, как корпоративный юрист Берли, чтобы создать «мозговой трест», который разработал бы законодательство, способное не допустить рискованное поведения со стороны корпораций в будущем.

Появление корпоративных фондов — Рокфеллера, Карнеги, Форда, Слоуна и др. — отражает уникальное сочетание сил в американской политической экономии первой половины XX в. На интеллектуальном уровне присутствовало узнаваемое бэконовское желание освободить практические знания от их схоластических пут, что вело к распространению исследований на различные области социальной жизни, в том числе на такие значимые области, как рабочее место и семья, которые ранее академики игнорировали. В чем причина такого пренебрежения? Наиболее очевидная причина состояла в том, что в этих сферах не было хорошо проработанных текстуальных следов, заниматься которыми академикам было наиболее удобно. Так, до начала XX в. занятие «историей» обычно означало изучение речей, мемуаров, договоров и трактатов крупных политических деятелей. Учитывая то, что такое как нельзя более академическое поле, как «культурные исследования», сегодня обычно отдает предпочтение обыденной, а не элитарной жизни, легко забыть о том, что, за немногими значимыми исключениями (среди которых ранние этнографические работы Фридриха Энгельса, посвященные жизни британского рабочего класса), большая часть исследований не-элит первоначально выполнялась по заказу государства или промышленности. Конечно, мотивы этих заказов часто бывали вполне эгоистичны, но эти мощные социальные акторы, по крайней мере, признавали то, что их легитимность зависит от благосостояния населения в целом, тогда как академикам та же мысль в голову обычно не приходила.

Помимо этого интеллектуального стимула, который был характерен и для развития примерно в то же самое время корпоративных фондов в Германии и других странах, у американских промышленников была еще и политическая потребность освоиться с нормативными горизонтами складывающегося в те годы прогрессивно-

го движения, которое обычно считало крупный бизнес монополистом, уклоняющимся от налогов, то есть главным врагом общественной жизни. Так, Джон Д. Рокфеллер, столкнувшись с угрозой уплаты высоких налогов со своих нефтяных доходов, создал Фонд Рокфеллера, который должен был финансировать исследования путей повышения производительности труда рабочих, способных компенсировать налоговые потери. Джейн Майер [Mayer, 2016] придумала для этого интересное выражение — военизированная филантропия.

Тем не менее такие промышленники, как Рокфеллер, разделяли всемирно-историческое чувство американского национализма, свойственное сторонникам прогрессивного движения. Так, они считали себя теми, кто дополняет формирующееся проактивное государство, отстаиваемое Теодором Рузвельтом и Вудро Вильсоном. В частности, фонды играли ключевую роль в поддержке иностранных исследователей, чьи работы были сорваны двумя мировыми войнами, а также в финансировании исследований, связанных с повышением производительности рабочих и — на более глубинном уровне — с улучшением здравоохранения и образования. Эта общая стратегия сработала, поскольку США стали глобальным лидером в научных исследованиях задолго до создания Национального научного фонда (*NSF*) в 1950 г. Историк Чарльз Бирд еще в 1936 г. отмечал, что метод фондов состоял в фабрикации и одновременно устранении «культурного отставания», поскольку они порождали прорывные инновации в домашнем хозяйстве и на рабочем месте, служившие предлогом для сотрудничества с государством в научении масс новым — и предположительно более высоким — смыслам «нормальности» [Kevles, 1992, p. 205]. Собственно, фонды стали созидательными разрушителями американского образа жизни.

Университеты-флагманы дали на эту повестку путаный ответ. Среди тех, кто разочаровался в созидатель-

но-разрушительных импульсах фондов, был и Роберт Мейнард Хатчинс. Будучи в 1920-е годы деканом Йельской школы права, Хатчинс пригласил Фонд Рокфеллера для создания междисциплинарного института социальных наук, который должен был исследовать и исправлять последствия правовых решений, что привело к образованию так называемого правового реализма. Но в 1930-е годы Хатчинс в бытность свою ректором Чикагского университета неожиданно остановил развитие социальных наук (и открыл возможности для более «гуманитарных» подходов, связанных с Лео Штраусом и Хайеком), отказавшись от денег Рокфеллера, которого он считал ответственным за рыночную волатильность, вылившуюся в Великую депрессию. Вследствие этого Хатчинс стал последователем «вечной философии» и теории естественного права в смысле неоаристотелизма [Ross, 1991, p. 400–403]. А химик Джеймс Брайант Конант, став в 1933 г. президентом Гарварда, напротив, значительно облегчил фондам доступ к преподавателям и ресурсам своего университета. Конанту, ставшему первым ученым-естественником — главой университета из Лиги плюща, было привычнее иметь дело с социально опасным характером научной инновации, для изучения, управления и применения которой у академических ученых были идеальные условия. На это его вдохновлял и в этом поддерживал уже упоминавшийся гарвардский биохимик Хендерсон, который работал с промышленным социологом Элтоном Мэйо в финансируемом Рокфеллером Хоторнском эксперименте, где исследовались экологические факторы производительности рабочих [Fuller, 2000b, ch. 3–4; Isaac, 2011, ch. 2].

Отношения между корпоративными фондами и вездесущим правительством в США в первой половине XX в., остававшиеся в основном симбиотическими, сводились к неявному разделению труда в области финансирования исследований. Сначала государство рассматривало пла-

ны по развитию наук и технологий в качестве продолжения программы внутреннего развития страны, то есть по большей части это была модель университетов, которые получили участок земли от федерального правительства для организации практического сельскохозяйственного образования и создавались в сельских округах в XIX в. Основное внимание тогда уделялось прикладным исследованиям. Когда же сразу после Второй мировой войны обсуждался план создания постоянного Национального научного фонда, вице-президент MIT Ванневар Буш придумал выражение «фундаментальные исследования», означающее другое основание, на котором государство могло бы пожелать финансировать науку, — и это основание в конечном счете стало наиболее важным [Fuller, 2000b, p. 151]. Тогда как фонды, напротив, всегда знали о фундаментальных исследованиях и занимались ими в духе Стокса [Stokes, 1997], о котором речь шла в начале главы. С этой точки зрения такое поле исследований, как «молекулярная биология» (выражение Рокфеллера), было нацелено на улучшение основного капитала, которое в будущем могло бы привести к производству более качественных товаров. Однако в данном случае «основной капитал» означает не только более качественные зерновые культуры или скот, но и людей лучшего качества. Таким образом, хотя концепция знания, основанная на дисциплинарном подходе, могла рассматривать «евгенику» в качестве применения, пусть и неверного, генетики как отдельной науки, фонды рассматривали генетику и другие «социальные» (в широком смысле) науки в категориях «фундаментальных исследований», нацеленных на бесконечное расширение человеческого потенциала [Kay, 1993].

Эта концепция фундаментальных исследований означала, что фондам нужно было творчески обдумывать, что именно им следовало финансировать в условиях политико-экономической волатильности XX в., которая во мно-

гом создавалась в результате их собственных действий. Например, сразу после Великой депрессии Уоррен Уивер, руководитель естественнонаучных исследований в Фонде Рокфеллера, ныне известный по теории коммуникаций Шеннона — Уивера, построенной на понятии энтропии, перенаправил фонд с практики предоставления первоначального капитала на финансирование обширных дисциплинарных исследований, которые могли использовать деньги для достижения синергетического эффекта в междисциплинарных проектах [Kohler, 1994, part 3]. Именно в этом смысле Уивер впервые выделил молекулярную биологию как область, представлявшую интерес для фонда в 1930-х годах, что для физиков и биологов послужило стимулом для перехода в биологию, а через 20 лет привело к открытию двойной спирали ДНК. Интересно то, что Национальный научный фонд США в первое десятилетие XXI в. стал применять похожую стратегию для поддержки трансгуманистической в широком смысле слова повестки, объединяющей нано-, био-, инфо- и когнитивные науки в общих проектах, нацеленных на «повышение человеческой продуктивности» [Fuller, 2011, ch. 3]. Но, говоря в целом, после создания Национального научного фонда в 1950 г. фонды стали принимать более рискованные междисциплинарные заявки, например, на исследования радиационной медицины или механических моделей работы мозга (так называемая нейронаука), которые имели мало шансов на успех в дисциплинарных процессах коллегиального рецензирования, внедренных в Национальном научном фонде [Kevles, 1992, p. 209, 221].

Наконец, само долгосрочное влияние фондов на корпоративную форму бизнеса заслуживает внимательного изучения. Предметом работы Альфреда Чандлера, главного американского специалиста по истории бизнеса, который потратил на ее изучение всю свою жизнь, может считаться дезинтеграция современной корпорации в XX в.

вследствие двойной атаки со стороны ученых-естественников и ученых в области общественных наук. Сам Чандлер этого не говорит, однако именно так можно выразить динамику, описанную в его работе [Chandler, 1962], где рассказывается, как корпорация перешла от организации в *функциональных* категориях к организации в категориях *филиалов*: первая форма характерна для массового производства, а вторая — для рыночной специализации, отсюда «фордизм» и «постфордизм», как говорят социологи культуры. (Или, если в библейских терминах, Левиафан и Бегемот.) Исследования, легитимировавшие первую форму, были в основном естественнонаучными, а вторую — социальными. Небесными покровителями этих подходов являются соответственно Фредерик Уинслоу Тейлор и Абрахам Маслоу. С одной стороны, вы можете стремиться к производству чего-то настолько дешевого и в то же время полезного, что завоюете рынок благодаря массовому потреблению. С другой стороны, можно стремиться к подгонке того, что вы уже производите, под отдельные рынки, даже если это может потребовать больше инвестиций в изучение вашей клиентской базы, чем в физическое изменение вашего производства [Stinchcombe, 1990]. Однако эта биполярная стратегия, вероятно, привела к феномену «перенапряжения империи» в мире бизнеса, поскольку идентичность корпорации (или «бренда») компрометируется желанием быть всем для всех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ФРИЦА ГАБЕРА И БОЛЕЕ ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

Общая тема, пронизывающая наше обсуждение военно-промышленного пути к междисциплинарности, — это прометеевский потенциал «нераскрытого публичного знания», тех плодов эпистемических ассоциаций, которые

выходят за пределы зависимости от траекторий, дающей официальным парадигмам возможность извлечения ренты. Сто лет назад эта проблема понималась в категориях знаний вне академии, возникающих в силу такого неявного пренебрежения. Генри Ицковиц [Etzkowitz, 2002] считает, что Ванневар Буш в период его работы на электроинженерном отделении в MIT первым начал рекомендовать академикам регулярно совещаться с представителями бизнеса с целью придумывать новые идеи и даже формировать то, что сегодня называют стартапами. Один из студентов Буша — Фредерик Терман — стал проводником этих идей на Западном побережье США, где он, будучи в 1950-х годах провостом обласканного федеральными фондами Стэнфордского университета, создал академический центр, ставший основой для современной Кремниевой долины. Хотя вопрос итоговой экономической эффективности информационно-технологической революции, запущенной Кремниевой долиной после завершения холодной войны, остается открытым, до сих пор эта революция считалась в общем и целом явлением позитивным. Но когда некоторые громкие заявления касательно искусственного интеллекта окажутся близки к практической реализации, тогда, возможно, соберутся грозовые тучи — и здесь подспорьем может стать история.

Важнейший этап в развитии междисциплинарности возник в связи с закреплением того, что сегодня называют «моделью тройной спирали», образуемой отношениями между государством, промышленностью и университетом, ставшей знаковой институциональной формой «второго режима», или постакадемического производства знаний [Gibbons et al., 1994]. Если возводить эту модель к периоду после холодной войны, ознаменовавшему конец академических исследований, защищаемых государством, и начало «постмодернистской» и «неолиберальной» душевной организации, этот этап легко по-

нять в качестве чего-то враждебного классическим идеалам исследовательской автономии. Но если вернуться к истинным истокам этой модели, а именно к германским институтам Общества кайзера Вильгельма (ныне Макса Планка), возникшим в начале XX в., картина предстанет в ином свете. Важнейшее значение академии для долгосрочных национальных интересов, признававшееся к тому моменту уже в течение целого столетия, было расширено — теперь имелось в виду не только обучение будущих руководителей в университетской аудитории, но и создание новаторских продуктов в лаборатории, поскольку академикам дали политическую отмашку заключать более свободные договоренности с промышленностью [Fuller, 2000b, p. 107–108].

Примером этой значительной власти, обусловленной исходной моделью тройной спирали, применимой как во благо, так и во зло, выступает Фриц Габер (1868–1934), который более двух десятилетий работал в Институте физической химии и электрохимиии кайзера Вильгельма. В 1918 г. Габер получил Нобелевскую премию по химии за открытие процесса синтеза аммиака, который несет ответственность как за искусственные удобрения, позволившие выжить миллиардам людей, так и за химическое оружие, которое убило миллионы тех же людей в войнах XX в. (В последнем случае я имею в виду взрывчатые вещества, которые он разработал на основе азотной кислоты, но Габер, как известно, работал и над «отравляющими газами», синтезируемыми на основе хлора и цианидов.) «Процесс Габера — Боша», как он называется сегодня, означает связывание атмосферного азота (78% атмосферы Земли состоит из азота), которое позволяет не зависеть от залежей азотистых соединений.

Несмотря на междисциплинарную специфику работ Габера, они оказали заметное влияние на реальный мир, поскольку ему было легко получить в свое распоряже-

ние мощности тяжелой индустрии, позволяющие нарастить масштаб производства и распространения инноваций. Хотя роль промышленности в успехе Габера отмечают довольно часто, указывая, например, на то, что его отец был производителем красителей, междисциплинарный характер его мышления обычно упускается из виду. Тем не менее, как это ни удивительно для специалиста по «физической химии», трехчастное докторское исследование Габера показывает, что он превосходно разбирался в философии, достаточно — в химии и посредственно — в физике [Charles, 2005, p. 19–20]. Относительно очевидны два признака междисциплинарности Габера. Первый — геополитическое значение сохранения хлеба как основного продукта питания на Западе в условиях роста производства риса на Востоке, в тот период быстро модернизирующемся. Габер в самом скором времени создал для Германии возможность сельскохозяйственного самообеспечения, поскольку страна более не нуждалась в импорте азотосодержащего гуано из Латинской Америки. Этот ошеломляющий успех стал отправной точкой для ряда политических дискурсов, посвященных «продовольственной безопасности» или, если говорить в более общем плане, «энергетической самодостаточности» [Smil, 2001]. Вторая междисциплинарная черта — конверсия инсектицидов (в основном используемых для защиты новых, искусственно выведенных культур) в боеприпасы, применяемые против людей, что, соответственно, изменило онтологический статус врага, признанного теперь животным, и познакомило военных с особым модусом стратегического мышления, получившим развитие у нацистов, не в последнюю очередь в «Циклоне Б» — инсектициде, разработанном Габером и применявшемся в газовых камерах Холокоста.

Однако третья примета междисциплинарности была, возможно, наиболее глубокой, и именно она имела зна-

чение для попечителей Общества кайзера Вильгельма. Она заключалась в представлении о том, что синтез аммиака допускает создание «хлеба из воздуха», если вспомнить выражение из первой маркетинговой кампании искусственных удобрений. По сути, это был секулярный вариант библейской манны небесной, которая означала обеспечение израильтян, скитавшихся 40 лет по пустыне после их выхода из Египта и до момента прибытия в Землю обетованную, специальным божественным пайком [Исх. 16; Ин. 6]. Главным идеологическим защитником Института физической химии был президент Общества кайзера Вильгельма либерально-протестантский теолог Адольф фон Харнак. В его доме Габер провел ряд громких семинаров времен Первой мировой войны, в которой, как безапелляционно заявил Харнак, Германия должна победить в силу уникального сочетания божественной и научной силы [Charles, 2005, p. 118].

Если бы величие измерялось исключительно властью над числом жизней на планете — *одновременно* созданных и потерянных, — тогда Габер считался бы величайшим деятелем всего XX в., а может быть, и всей истории человечества. В самом деле, ненаучные работы одного из наиболее многообещающих студентов Габера — Майкла Поланьи могут пониматься в качестве эмоциональной реакции на эту возможность, которую он выявил в контексте инструменталистской философии науки Габера [Fuller, 2000b, p. 139–140]. Более того, о первых физиках, изучавших субатомные частицы, говорили то же, что и о Габере, но интересно то, что расщепление атома — не говоря уже о синтезе — еще не достигло того уровня пользы и в то же время вреда, которого добился процесс синтеза аммиака. Нам пока не довелось пережить термоядерную войну, но точно также атомные электростанции пока не смогли обеспечить большую часть населения дешевой и безопасной энергией. Конечно, и то и другое в будущем может изме-

ниться, возможно, благодаря какому-нибудь гению, черпающему вдохновение у Габера и вооруженному искусственным интеллектом.

В большинстве теоретических дискуссий междисциплинарность рассматривается в качестве свойства, достигаемого внутри академии при большем или меньшем сопротивлении со стороны коллег-академиков и при большем или меньшем давлении со стороны внешнего для академии общества. Военно-промышленный путь к междисциплинарности ставит под вопрос эту базовую посылку, лишая академиков значительной части суверенных прав на знание, производимое ими. Суверенность здесь охватывает не только применение научного знания, но и средства его производства. Армия и промышленность набрались такой храбрости по нескольким причинам, которые немного прояснились в этой главе. Главная состояла в том, что академическое производство знания обычно существенно зависит от траектории (то есть руководствуется парадигмой), а потому знание используется недостаточно — настолько, что его игнорируют даже сами академики. За этой озабоченностью скрывается вера в то, что ключом к спасению человека является полная реализация наших (богоподобных) когнитивных способностей. То есть мы сдерживаем сами себя, не пользуясь в полной мере тем, что уже знаем и что можем знать. Если только не считать эту веру наивной или фантастической, стоит напомнить, что сторонники военно-промышленной воли к знанию сами получили академическое образование. Они на собственном опыте познакомились с возможностями и силой, создаваемыми академическим знанием, которое, как им кажется, их учителя сбывают за бесценок. Короче говоря, здесь была представлена концепция междисциплинарности, представленная с точки зрения одного успешного выпускника академического заведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЛЕГОМЕНЫ К ГЛУБИННОЙ ИСТОРИИ ИЗБЫТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

В этом приложении ставится цель разобрать несколько смыслов термина «избыточность информации», которая на разных уровнях сказывается на всех процессах производства и распространения знания. Обсуждение начинается с наиболее системного уровня, где избыточность информации рассматривается в качестве побочного продукта простого процесса воспроизводства знаний, который я называю «исходной позицией знания». Изобретение печатного станка меняет характер этой проблемы, что я проиллюстрирую на примере двойного завещания «Principia Mathematica» Ньютона для гуманитарных и точных наук, один пункт которого был сфокусирован на «оригинальности», а другой на «первенстве» как основных эпистемических ценностях, применяемых в ситуации избыточности информации. Оба этих пункта завещания можно выявить в подходах к текстам, выбранных авторами и читателями в современную эпоху, даже за пределами академических дисциплин. Грубо говоря, гуманитарии (и особенно Руссо) смогли преодолеть проблему избыточности информации, изобретя новые формы письма, тогда как ученые дали ей новую интерпретацию, представив в качестве дисциплинарного инструмента фокусировки своих исследований. Здесь же рассматриваются сильные и слабые стороны обеих стратегий. Приложение заканчивается оценкой избыточности информации на индивидуальном уровне, где она рассматривается в качестве помехи принятию решений. В этом случае я сосредоточиваюсь на роли самого решения как создателя информации и фактора ее сдвига.

По мнению историка Энн Блэр [Blair, 2010], идея избыточности информации уходит в Средние века и связана с размножением текстов, каждый из которых воспроизво-

дил все то, что нужно было знать читателю, чтобы увидеть не только вклад автора, но и его компетенцию, позволяющую ему сделать указанный вклад. Конечно, это означало, что каждый текст говорил *все* несколько иначе в силу как непреднамеренной ошибки, так и планомерного искажения. Соответственно, креативность является неизбежным следствием воспроизводства знания во времени. Это можно назвать — в ролзовском духе — *исходной позицией знания*, представляющей собой систему координат, в которой началась первая современная революция научного знания, связанная с Возрождением, стремившимся устранить интертекстуальные расхождения за счет восстановления «оригинальных» документов, обладающих нормативной силой. Литературный критик Гарольд Блум [Bloom, 1973; Блум, 1998] искусно перепрофилировал эпикурейский термин *clinamen* — отклонение атомов, которое порождает вещи или лишает их существования, — у него он стал выражать такую исходную позицию знания. Природа того или иного текстуального отклонения, а также степень его осознанности остаются открытым вопросом. Собственно, любое предположительное творение «гения» можно оценивать в качестве продукта либо бесконтрольной некомпетентности, либо откровенного плагиата. Таким образом, исследователь становится детективом, отслеживающим отклонения, начиная с актуального текста и возвращаясь к какому-то прошлому тексту, который, в свою очередь, позволяет вынести суждение о современном тексте. В период Просвещения эта функция приобрела публичный облик в форме «критики».

В соответствии с исходной позицией знания возможность избыточности информации неразрывно связана с определенными качествами самого процесса передачи знания. Например, в Средние века она обнаруживалась в тех поводах для отклонения, которые возникали в силу ручного копирования текста. Признание этого момента не

требует учитывать количество людей, одновременно пытающихся выполнить копирование, не говоря уже о мотивах этих людей. Конечно, наличие большего числа переписчиков увеличивает масштаб проблемы, и именно в таком качестве нам представляется проблема «избыточности информации» сегодня. В любом случае исходная позиция не настолько отличается от изменчивости, порождаемой при биологическом воспроизводстве. В обоих случаях вместе с появлением текстуальных или биологических «мутаций», лежащих за пределами предполагаемого спектра ожиданий, возникают интересные онтологические проблемы. В этом смысле Возрождение можно уподобить внедрению более явного процесса фильтрации для передачи текстов, который стандартизирует спектр допустимых отклонений, что в значительной степени соответствует духу «естественного отбора», понимаемого в качестве наиболее общего принципа дарвиновской биологии. Здесь я имею в виду в числе прочего процессы редактуры и кураторства, которые служат определению того, какие тексты передаются далее в пространстве и во времени.

Эта программа задает контекст для понимания слишком громких тезисов Дэниэла Деннетта [Dennett, 1995] о естественном отборе как «универсальном растворителе», устраняющем не в последнюю очередь и проблему истины. Хотя эпистемологи выступали против редукции Деннеттом истины к своего рода неопределенно долгому выживанию контента, ученые Возрождения считали, что они сами участвуют в аукционе истины, задавая стандарты приспособленности, необходимые для подобного выживания. В этой задаче им в значительной степени помог изобретенный Иоганном Гутенбергом печатный станок с наборным шрифтом, который пообещал существенно снизить, а может, и вовсе устранить проблему несовершенного воспроизводства, обеспечив (по крайней мере, в принципе) массовый доступ к стандартизованным и

(предположительно) авторизованным текстам, которые можно было просто цитировать, не занимаясь воспроизведением их содержания. Вскоре я займусь концептуальными следствиями этого поворота, но сначала я хочу чуть дольше остановиться на материальных следствиях.

Легко понять, как такая все более нормативная установка по отношению к грубой передаче знания выпестует ту этику неповиновения, которая в XIX в. будет ассоциироваться с романтизмом, периодом, к которому относятся большинство поэтических примеров Блума [Bloom, 1973; Блум, 1998]. Если говорить коротко, то, что редактор в ином случае мог бы не заметить, подавить или же выбросить в качестве попросту ошибок, теперь начинает цениться в качестве *оригинальности*. В то же время в современный период *первенство* начинает рассматриваться в качестве дополнительной добродетели истеблишмента, основанной на четком понимании текста-источника, в категориях которого оцениваются предположительно оригинальные тексты, относимые к разряду дополнений, усложнений, отклонений или же ошибок. Современная идея *интеллектуальной собственности* основана на этой двойной чувствительности, так что оригинальность отображается авторским правом, а первенство — патентом [Fuller, 2002, ch. 2]. Оригинальность оценивается по тому, верен ли «автор» самому себе, а первенство — по тому, верен ли «изобретатель» остальным. Конечно, каждый автор-романтик хотел бы, чтобы его работы послужили основанием для последователей, и точно так же каждый предприниматель-изобретатель хотел бы, чтобы другие считали, что его изобретение было создано исключительно его собственным разумом с минимальной опорой на прецеденты, поскольку он пришел к нему первым.

Элизабет Эйзенстайн [Eisenstein, 1979] известна своим наблюдением о том, что эти современные установки, тогда только-только складывавшиеся, получили полное вы-

ражение благодаря печатному станку и, в частности, благодаря созданию мира книг, а позже и журналов, которые оставляли авторам больше времени и пространства для развития и выражения своих оригинальных взглядов. Возможно, первой академической работой, которая смогла в полной мере воспользоваться этим технологическим новшеством, стали «*Principia Mathematica*» Ньютона — поразительный текст, опубликованный в 1687 г., который представляет собой описание «системы мира» на основе первоначал Евклида, содержащее сравнительно мало ссылок на предшественников и противников. В самом деле, Ньютон «синтезировал» (в гегелевском смысле «снятия») все то, что было сделано до него, и переизобрел весь этот материал в качестве единой складной системы, представленной — по крайней мере, это неявно предполагалось — в качестве изображения мироздания, с точки зрения Создателя, использующего минимальное число принципов для порождения максимального спектра феноменов. Если попытаться выразить ту же мысль грубо, но все же достаточно точно, Ньютон предложил взгляд на физическую реальность с точки зрения «разума Бога», то есть той предельной инстанции, которую св. Бонавентура, первый глава ордена францисканцев и парижский спарринг-партнер Фомы Аквинского, четырьмя веками ранее специально определил в качестве цели всякого христианского научения.

Из выдающегося достижения Ньютона следовало два довольно разных вывода, которые оба служат пониманию современных проблем, связанных с избыточностью информации. Грубо говоря, один относится к гуманитарным наукам, а другой — к точным.

Гуманитарный вывод соотносится с принципиальной доступностью всех прежних исследований, заметнее всего представленной распространением библиотек как хранилищ знания, в которых можно вести поиск. Это уве-

личило бремя доказательства, легшее на всякого автора, надеющегося «добавить стоимость» в том или ином новом тексте, и это бремя не ограничивается доказательством одной лишь «оригинальности». Это стало стимулом для креативности как способа самовыражения. Последнее приобрело огромное политическое значение во времена молодости Ньютона благодаря министру иностранных дел при правительстве Оливера Кромвеля великому поэту Джону Мильтону, который доказывал в своей «Ареопагитике», что человек должен быть готов умереть ради самовыражения как главного права любого свободного человека. В действительности, право на свободное выражение стало правом на духовную жизнь в мире, который быстро заполнялся другими такими же выражениями, когда все большее распространение получили и письмо, и публикации, и где для прореживания избытка применялись более прямые методы (например, сжигание книг или даже их авторов). Но промотаем историю вперед на 300 лет: «состояние постмодерна» превратило «самовыражение» в довольно пустой, если не снисходительный термин, обозначающий наивное понимание множественных и обычно конфликтующих друг с другом групповых идентичностей, также известных под именем «интерсекциональность», которые вносят свой вклад в конструирование всякой индивидуальной «самости». Если Мильтона в основном интересовало сохранение выразительных способностей субъекта, то постмодерниста сегодня интересует, существует ли вообще такой субъект, который мог бы быть носителем подобных привилегированных способностей.

Во времена Мильтона задача была в том, чтобы освободить себя от коллективных голосов прошлого, внезапно воскресших во всей своей полифонической силе благодаря Возрождению и печатному станку. В авторитарных руках — как политических, так и строго академических —

эта лавина текстов могла привести к сковыванию потенциала людей проявлять свои богоподобные творческие способности, соответствующие библейскому определению человека, созданного по образу Бога, *in imago dei*. Эти творческие способности следует понимать в духе «самозаконодательства», если вспомнить выражение, которое Кант будет использовать сотню лет спустя в моральном смысле, основываясь на представлении о том, что мы вносим порядок в наши уникальные внутренние миры ровно так же, как Бог вносит порядок во внешний мир, в котором все мы в равной мере находимся. Это понимание креативности поддерживается и сегодня, когда мы говорим о «мирах», создаваемых авторами и художниками. Нельсон Гудмен [Goodman, 1978; Гудмен, 2001] был лишь одним из ряда других современных философов, уловивших эту концептуальную близость между «искусством» и «миром», которая, возможно, получила свое наиболее мощное выражение в работе Фридриха Шиллера «Письма об эстетическом воспитании человека», написанной в русле кантовской «Критики способности суждения».

Значимый в данном случае ход, позаимствованный Шиллером у Канта, связан с природой материи, понимаемой в качестве материала, из которого возникает творение. Если смотреть с темпоральной, то есть нашей собственной, а не божественной точки зрения, материя существует до акта творения, выступая одновременно средством и источником сопротивления нашим целям. Ключевое качество материи в данном случае — ее безразличие к нашим целям, как и в случае «бремени прошлого», генетическим коррелятом которого мог бы выступать «генетический груз». В этом Кант следовал древнегреческой практике понимания материи как чего-то «неопределенного», существующего до навязывания ей формы. «Неопределенность» указывает на «сырье», например, в том же смысле, в каком таким сырьем для скуль-

птуры выступает мрамор. В этом отношении история может рассматриваться в качестве определенной предрасположенности текстуального материала, который равнодушен к тем целям, на которые мы могли бы направить производство наших собственных текстов. Иными словами, прошлое — это не столько то, на чем мы основываемся в нашем строительстве, сколько то, что мы пытаемся переработать себе на пользу. В любом случае мораль ясна: чтобы остаться открытыми будущему, мы вынуждены осваивать прошлое, но точная природа такого освоения является предметом нашего усмотрения примерно в том же смысле, в каком судья выносит решение по делу в тех категориях, которые ограничены законодательными актами и общим правом. Тем не менее результат задает «прецедент», который вносит вклад в неопределенное текстуальное бремя, передаваемое нашим преемникам.

Возможно, наиболее искусной демонстрацией такого модуса гуманитарного самовыражения и вместе с тем вероятным источником Канта и Шиллера стала текстуальная практика Руссо, особенно как она представлена в его бестселлере «Юлия, или Новая Элоиза» [Darnton, 1984, ch. 6]. Руссо расширил смысл «человечности», предложив языковое выражение для состояний сознания или «частной жизни» в предельно широком смысле, лишь редкие взгляды на которую становились предметом формальной репрезентации (например, в пьесах Еврипида или Уильяма Шекспира), причем зачастую в специфической иррациональной трактовке. В самом деле, когда Уильям Джеймс в начале XX в. охарактеризовал сознание как «цветущее шумное смешение», это можно понять в качестве несколько обновленной версии «сознания как сырья», то есть позиции, с которой начинал Руссо. Превращая сырое содержание сознания в хорошо размеченный «ландшафт сознания», Руссо всерьез полагал, что язык является видоспецифичным качеством *Homo sapiens*, признаком того,

что мы наделены божественным Логосом, способным не только к творчеству, но и к самосотворению.

Конечно, Руссо, следуя сюжету первородного греха, подчеркивал, что исторически мы использовали язык для порабощения самих себя путем акцентуации различий между отдельными людьми, которые затем выстраиваются в иерархию, нужную для целей управления. Имелось в виду, что люди определяются назначенными им ролями, а это, в свою очередь, предполагает, что, если они хотят получить нечто расходящееся с этими ролями, они должны примерить роль, подходящую для такого выражения. Во времена Руссо театр показал себя надежным рупором диссидентских и даже радикальных чувств (часто выражавшихся в виде иронии или сатиры), действующим в публичном пространстве, которое получило особую защиту в качестве «развлечения», притом что сам этот термин означал одновременно размышление и игру [Sennett, 1977; Сеннет, 2002]. Вольтер и Готхольд Эфраим Лессинг стали в те времена мастерами этого просвещенческого искусства. Кроме того, они помогли сформировать чувство хорошего прозаического стиля в немецком и французском языках. Однако у Руссо ничего этого не было. Зато он придумал особый способ применения языка, который станет стандартом в романах XIX–XX вв., где герои выражали свои интимнейшие мысли и чувства, часто в достаточно дигрессивной форме, придававшей описанию оттенок психологической аутентичности.

Ключевое качество присущего Руссо понимания авторства состояло в том, что он никогда не объявлял, о чем именно он пишет — о «факте» или «вымысле», он просто принимал на себя ответственность за правдивость выраженных в его тексте мыслей и чувств, приглашая читателя испытать содержание на самом себе, тогда как свою авторскую безупречность он обосновывал исключительно следствиями такой встречи. Применяя этот остроум-

ный метод, он избежал атак тех, кто мог бы озаботиться вопросом соответствия источникам той же «Новой Элоизы» (состоящей из длинной переписки близких людей), и при этом ему не нужно было осторожничать и ограничивать реакцию читателя, специально заявляя, что его произведение является исключительно плодом воображения (как это обычно делалось в практике написания романов). В свете этой попытки Руссо, занявшей у него всю жизнь, превратить свое кальвинистское воспитание, полученное в Женеве, в радикальную секулярную этику, которая оказалась наиболее плодотворной тогда, когда ее подхватил ранний Маркс, очевидным прецедентом его текстуальной практики оказывается личное чтение Библии. (На чем настаивали протестанты-реформаторы, ставшие источником первой волны распространения грамотности в современную эпоху.) В отличие от томистов и других «докторов церкви», реформаторы предполагали, что Библия обращается напрямую к каждому человеку, не нуждающемуся в обширных научных размышлениях. В самом деле, казалось, что значительная часть этой учености затемняет или запутывает основное послание Библии, как его понимали реформаторы.

В условиях современной политики знания, по крайней мере, если иметь в виду секулярные западные общества, довольно сложно оценить роль «буквализма» в первоначальном стремлении к массовой грамотности, которая до этого не была приоритетом христианства, хотя последнее и основано на священной книге. Реформаторы хорошо понимали, что даже читатели, не получившие утонченного образования, могут использовать Библию для того, чтобы придать соответствующую форму своей жизни. Следуя именно этому духу, они приступили к переводам священной книги, обычно дополняемым визуальными образами, на только-только появившиеся «вульгарные» языки, из которых впоследствии сформируются языки современ-

ной Европы [Pettegree, 2005, ch. 5–6]. Действительно, современная теория перевода вроде той, что повлияла на известный тезис Куна [Kuhn, 1970; Кун, 1977] о несоизмеримости научных парадигм, опирается на представление о том, что Библия, в новых переводах существенно переписываемая (примером служит английская версия короля Якова), возможно, *приближает* читателей к исходному смыслу священной книги намного лучше, чем если бы они были вынуждены изучать еврейский, греческий или арамейский языки [Nida, 1964; Fuller, 1988, ch. 5].

Руссо был одним из первых светских авторов, которые представляли свои работы в схожем свете, призывая читателей понять истины, о которых он пишет, самостоятельно обживая его слова, а не исследуя эмпирическое основание того, что изложено на странице. И так же, как вера в Бога возникала из личной встречи со священной книгой, Руссо привлекал свой фан-клуб (в том числе при помощи рассылок) тем, что предлагал поклонникам подробный язык выражения специфических — обычно весьма эмоциональных — состояний сознания, которые до этого в общем обороте не встречались. С нашей сегодняшней точки зрения, Руссо занимался тем, что Гюстав Флобер позже назвал *l'éducation sentimentale* (воспитание чувств). Взрывное воздействие работ Руссо в его собственное время лучше объяснить «драматизацией» частной жизни: вместо того чтобы примерять маску на манер актера или «Вольтера» (это был псевдоним), Руссо делает из маски самого себя, а потому попадает в ситуацию, которая обычно ассоциируется со жрецом, отправляющим религиозный культ. Соответственно, влияние Руссо можно проследить на протяжении всей современной эпохи, поскольку оно проявляется во все более экстериоризированных репрезентациях состояний сознания, обычно приватных, начиная с романов и заканчивая сегодняшними книгами по селф-хелпу и мыльными операми.

Естественно-научный вывод из достижений Ньютона смещает фокус внимания с оригинальности к первенству автора. Это наиболее ярко выражается средневековой поговоркой, использованной Ньютоном для характеристики своей собственной работы: «Если я и смог увидеть так далеко, как у меня действительно вышло, причина в том, что я стоял на плечах гигантов». В оригинальной версии эта цитата имела ироничное и, может быть, даже самоуничижительное значение, поскольку достаточно встать на плечи гигантов карлику, и он уже увидит дальше них [Merton, 1965]. Получилось так, что я сам выяснил генеалогию этой поговорки только после того, как написал о Куне следующее: «Но достаточно, чтобы карлик встал на плечи гигантов, чтобы увидеть дальше них, а с какого-то расстояния карлик может показаться головой самого высокого гиганта» [Fuller, 2000b, p. xii]. Вторая часть этого высказывания заслуживает дополнительного уточнения. Так или иначе эта фраза часто приводилась рецензентами в качестве непочтительного искажения смысла поговорки, хотя она и представляется именно тем, что имелось в виду в Средневековье.

Тем не менее лозунг Ньютона остается пригодным и для современной научной инициативы, поскольку самый надежный путь к публикации — внести небольшое усовершенствование в хорошо определенный корпус знаний. Следовательно, изобилие исследований, представляющееся наивному взгляду «избыточностью информации», на самом деле означает коллективный поиск, в котором предшественники сужают поле зрения последователей.

В этом отношении академические издатели не пользуются тем уважением, которого они действительно заслуживают за развитие знания как общественного блага [Fuller, 2016a, ch. 2]. В конце концов, обычной практики интернет-публикаций, состоящей в том, что открытый доступ предоставляется к резюме статьи, ключевым словам

и списку литературы, тогда как за сам текст статьи взимается плата, часто достаточно для понимания вклада статьи в состояние знания в данной области. Если говорить в категориях лозунга Ньютона, публикация просто отмечает успех первого из многих карликов-конкурентов, пытающихся в одно и то же время взобраться на вершину: и если карлик А не забрался туда первым, значит, скоро там может очутиться карлик Б. Действительно, можно сделать так, что эта динамика будет управляться спросом, если представить ее в качестве эпистемической версии настольной игры «Скрэббл», в которой поощряется первая журнальная статья, компетентно собирающая специфическую комбинацию ссылок, причем «компетентность» здесь понимается в достаточно широком смысле, включающем как новооткрытые данные, так и остроумные рассуждения.

Возможно, именно такое состязание соответствует «Игре в бисер» Германа Гессе. Это предположение, хотя и кажется поначалу легковесным, приобретет более весомый смысл, если рассмотреть обширный запас научных исследований, составляющих то, что Дон Суонсон [Swanson, 1986] окрестил «нераскрытым публичным знанием», то есть исследованиями, которые уже опубликованы, но при этом остаются недостаточно использованными, если вообще прочитываются. Скрывающаяся за этим выражением идея, пришедшая из библиотековедения и наук об информации, состоит в том, что можно создать стимулы и развить соответствующие поисковые машины, чтобы исследователи начали глубже изучать базу уже существующего академического знания с целью поиска скрытых, возможно, междисциплинарных, связей. Последние впоследствии могли бы помочь сэкономить на ресурсах, которые в противном случае использовались бы для проведения исследования с нуля. В идеальном случае людям, у которых есть мотив испытывать подобным образом судь-

бу, изучая научные работы, не захочется изобретать эпистемическое колесо, столь часто встречающееся в заявках на исследовательские гранты, в которых исследователи обозревают литературу не столько в качестве своего настоящего источника, сколько в качестве риторического инструмента, призванного расчистить концептуальное пространство для собственного вклада, еще только ожидаемого в будущем.

Однако, как только мы разворачиваем понятие избыточности информации в сторону нераскрытого публичного знания, оно начинает представляться не столько непреднамеренным следствием успеха, сколько симптомом откровенного провала. В этом контексте Клэй Джонсон [Johnson, 2012], один из пионеров цифровых политических кампаний, придумал выражение «информационное ожирение», описывающее склонность цифровых потребителей справляться с изобилием информации не за счет регулярной выборки из всего спектра доступных данных, а путем «запойного» потребления одних и тех же источников, подкрепляющих их мнение. Эта склонность поощряется поисковыми машинами, которые становятся все более чувствительными к паттернам цифрового потребления. В результате потребители цифрового контента чувствуют себя порой крайне информированными, но на самом деле они могут игнорировать большую часть доступной информации. Это, возможно, похоже на чувство насыщения после калорийного обеда в заведении быстрого питания, в котором отсутствуют некоторые жизненно важные питательные элементы. Правовед Касс Санстейн [Sunstein, 2001] дал известное описание этой проблемы как «эффекта эхо-камер», способного подорвать любые перспективы цифровой демократии. В применении же к науке как коллективному предприятию этот феномен распознается в сюжете «зависимости от траектории», связанной с тем, что Кун [Kuhn, 1970; Кун, 1977] называл «нормальной нау-

кой», которая представляет собой все более специализированные модусы исследования, упрощающие для карликов возможность стоять на плечах великанов, а если не великанов, то других карликов.

Метафора «информационное ожирение» крайне удачна и на более глубоком уровне. Она указывает на то, что масса нецитируемых и нечитаемых научных публикаций составляет стоящий без дела запас концентрированной интеллектуальной энергии. В этом случае задачу можно описать одним из двух следующих образов, каждый из которых связан с особой стратегией диагностики и решения проблем депрессии в классической политэкономии: один из них «рикардианский», а другой «мальтузианский» [Fuller, 2002, ch. 2].

Рикардианцы видят в информационном ожирении симптом нехватки нового знания, которое бы заменило или каким-то иным образом «созидательно разрушило» существующие знания, сделав их морально устаревшими. Это похоже на лечение ожирения усиленными физическими упражнениями. У Куна [Kuhn, 1970; Кун, 1977] эту функцию периодически выполняют «научные революции», в которых знания, принявшие новую парадигму, эффективно метаболизируют то, что было ценного в старой парадигме, и при этом отбрасывают значительную часть, если не вообще всю теоретическую конструкцию, изначально свойственную этой старой парадигме. Мальтузианец же работает с информационным ожирением на манер, скорее, диетолога, который рекомендует есть меньше и относиться к еде внимательнее. В этом случае мы обнаруживаем несколько иное понимание «созидательно разрушающих» знаний, а именно возвращение к первым принципам, или то, что Мартин Хайдеггер называл *Lichtung* (просветом), который действует и в педагогике, призванной познакомить студентов со сложным корпусом знаний, но без необходимости восстанавливать всю цепочку науч-

ных публикаций, его определяющих. При применении такого способа видимость избыточности информации демистифицируется, если не деконструируется, поскольку каждое новое поколение исследователей должно заново открывать вроде бы решенные вопросы, пройдя упрощенный путь, ведущий к актуальному состоянию игры.

До сего момента мы рассматривали избыточность информации на системном уровне. Однако на микроуровне эта проблема представляется в ином свете. В работах по социальным наукам, где «избыточность информации» изучается в качестве проблемы управления когнитивными ресурсами индивидов, она ставится в категориях той информации, которая нужна для «оптимизации» принятия решений. «Оптимизация» предполагает существование противодействующих сил, определяющих пространство решений, и эти силы нужно совместно оптимизировать. В этом случае имеется в виду, что невозможно досконально изучить каждую единицу информации, как этого, возможно, хотелось бы, поскольку она изучается лишь в той мере, в какой действительно упрощает процесс принятия решений. В последние 50 лет эту идею отображали в виде перевернутой U-кривой [Eppler, Mengis, 2004]. Она предполагает, что можно столкнуться со «слишком большим количеством информации», а потому и страдать от усталости, аналогичной усталости перетрудившегося человеческого тела, что может даже привести к феномену «выученной беспомощности», которая лишает человека способности решать за себя [Rabinbach, 1990; Fuller, 2012, ch. 5].

Генеалогия понятия избыточности информации, которая обычно начиналась с Элвина Тоффлера [Toffler, 1970; Тоффлер, 2002], впоследствии была возведена к придуманному Арнольдом Геленом понятию *Reizüberflutung* [Gehlen, 1988]. Это понятие, изобретенное в нацистскую эпоху, обычно переводится выражением «сенсорная пере-

грузка», которое в период потребительского бума после Второй мировой войны стало ассоциироваться с отупляющим воздействием массовой рекламы, все более распространяемой «холодным» медиумом, то есть телевидением [McLuhan, 1951]. Однако, в отличие от пропагандистов перевернутой U-кривой, широко распространенной в современной литературе по менеджменту, эта линия мысли ориентирована не столько на поиск оптимального количества информации, необходимого для решения, сколько на общее сокращение, если не отвержение информации как необходимого компонента принятия решений. Различные выпады против технократии, начавшиеся в 1920-е годы и продолжившиеся вплоть до 1960-х годов, которые часто описывались в криптоницшеанских терминах как «возврат к аутентичности», «эмансипация человека» или «самодостаточность», — вот что характерно для этого направления. «Воля» в этих концепциях часто фигурирует в качестве того, что выполняет работу, которую технократы, скорее, требуют от «интеллекта».

Однако к этому восстанию следует отнестись с осторожностью. Правильнее было бы сказать, что его мишень — не сама информация, а та информация, которая уже *существует*. На практике этот бунт принимает форму рискованного вмешательства, которое должно произвести *новую* информацию, которая, в свою очередь, возможно, увеличит способность человека принимать новые решения, поскольку она выявит что-то принципиальное в нас самих или в мире. Безотказная версия этой программы представляется тем, что политолог Герберт Саймон [Simon, 1947; Саймон, Марш, 1974], ставший специалистом по когнитивным наукам, называл «достаточностью»[1], а именно решением, часто даже субоптимальным,

---

[1] Термин Г. Саймона *satisficing* составлен из двух слов: *satisfy* (удовлетворять) и *suffice* (быть достаточным). — *Примеч. пер.*

которое «достаточно хорошо», чтобы привести вас к следующему решению.

С этой точки зрения эксперименты по социальной инженерии, отстаиваемые британскими фабианцами и американскими прогрессистами, достигшие кульминации в государстве всеобщего благосостояния, должны считаться интервенциями в этом «достаточностном смысле», пусть даже их руководители и оказались всего лишь технократами, которых демонизировали радикалы 1960-х. Тем не менее и технократы, и радикалы разделяют скепсис, если не антипатию к тезису, согласно которому условия человеческого существования можно улучшить, согласившись с тем, что уже есть информация, которая, стоит только найти ее, даст решение любой проблемы, с какой мы только можем столкнуться. В самом деле, здесь применяется противоположный посыл: качественное различие между прошлым и будущим, являющееся как нормативным, так и эмпирическим, означает, что, независимо от того, сколько информации в нашем распоряжении, всегда будут сохраняться неопределенности, которые можно устранить только действием, и именно информация, получаемая нами из действия, является наиболее ценной [Duff, 2012, ch. 4].

У этой идеи есть более глубокий источник, который можно разъяснить, рассмотрев различие между гуманитарным и естественно-научным подходами к историческим данным как «информационной базе». Гуманитарий, скорее, размышляет о ценностных ориентациях, скрытых в данных прошлого. Другими словами, если бы мы относились к каждой порции информации так, как она сама того требует, мы могли бы склониться к иной ориентации нашего собственного пространства решений. Это помогает объяснить обычный релятивизм значительной части гуманитарных исследований, вследствие которого даже гуманитарии, заявляющие о поддержке абсолютных

или вечных ценностей, обычно облекают свои заявления об «уроках прошлого», пригодных для решения проблем настоящего, в несколько двусмысленные выражения, отражающие те многочисленные, но противоречивые ценностные уроки, что готова преподнести нам история. Тогда как ученые-естественники относятся к историческим данным, как правило, инструментально, считая их инструментом, возможно, в достаточно узком или грубом смысле этого слова. Я говорю «узком и грубом», поскольку компетентное использование инструмента обычно требует осознания его побочных эффектов и непреднамеренных последствий. Однако ученые редко что-то знают о более широких контекстах, в которые погружены выбранные ими исторические прецеденты, чтобы предугадывать такие проблемы. Соответственно, хотя ученые с гораздо большей смелостью предсказывают грядущее, основываясь на прошлом, они очень часто получают «ложноположительные» результаты, переоценивая значение тех лишь внешне созвучных исторических примеров, на которые наткнулись.

Несмотря на эти различия, общим моментом гуманитарного и естественно-научного подходов к историческим данным является признание того, что наличная информация создает избыток возможностей, чрезмерный для осмысленного действия. В этом случае наша свобода выражается в принятии обязательного в юридическом смысле решения, которое устраняет большую часть этих возможностей-кандидатов, определяя проектируемое будущее. После этого такое решение может концептуализироваться по-разному, и все эти разнообразные способы были в полной мере представлены в спорах о *Werturteilsfreiheit* («свободе от ценностных суждений») науки в первой половине XX в. [Proctor, 1991, part 2]. Я вкратце рассмотрю эти варианты, прежде чем сделать несколько общих выводов о том, что я вначале назвал «исходной позицией знания».

Начнем с конвенционализма, отстаиваемого, к примеру, гильбертовской программой в математике, которая может начинать практически с любого непротиворечивого множества «аксиом» (сам этот термин восходит к греческому слову, обозначающему «ценность» в смысле того, что имеет «стоимость»), но потом должна оценить их информативность критерием психологической новизны выводов, получаемых путем логической дедукции. После Гильберта логические позитивисты выработали более общее понимание подобных аксиом, которые стали считаться теоретическими посылками. Можно из последних выводить гипотезы, а потом и проверять их в наблюдениях, в идеальном случае в специально разработанных экспериментах — этот момент особенно подчеркивал позитивист-ренегат Поппер.

Макс Вебер, с которым чаще всего связывают понятие *Werturteilsfreiheit*, наверное, наиболее открыто заявлял, что момент решения следует делегировать экспериментальному результату или какому-то другому «решающему» наблюдению, которое должно быть «ценностно нейтральным» в смысле свободы от предубеждений, создаваемых теми или иными ценностно нагруженными возможностями, рассматриваемыми в актуальной ситуации. А младший современник Вебера юрист Карл Шмитт, впоследствии примкнувший к нацистам, недвусмысленно утверждал, что делегирование процесса принятия решений некоей «справедливой» процедуре (он имел в виду не столько эксперименты, сколько выборы) не имеет смысла, если нет автоматических средств проведения этого решения в жизнь. Следовательно, если Вебер (вместе с позитивистами и попперианцами) тщательно различал прерогативы того, что он в своих знаменитых лекциях называл «наукой» и «политикой», то Шмитт объединил их, косвенно создав источник, в котором черпала вдохновение тоталитарная политика XX в. Таким образом, вместе со Шмит-

том мы приходим к чистейшему определению информации как одновременно дистиллята и осадителя действия.

Все эти вышеизложенные рассуждения о понятии «избыточность информации» напоминают нам о том, что, когда люди говорят о «поиске знаний ради знаний», упор следует делать на «поиске», а не на «знаниях»: сами по себе знания не то, чем стоит обладать ради них самих. «Исходная позиция знания», как я ее назвал, — это такая позиция, в которой мы всегда уже находимся на грани избыточности информации, являющейся всего лишь следствием процессов воспроизводства знаний в пространстве и во времени. Такие процессы по самой своей природе не предполагают автоматического отсева или самоограничения. Чтобы принять значимые «решения», необходимо ввести другие механизмы, причем такие решения могут приниматься как на уровне научного редактора, озабоченного контролем качества, так и на уровне замученного администратора, работающего в рамках перегруженного расписания. Подобные решения определяют, что хорошо или плохо, что ложно или истинно, полезно или бесполезно. Как только мы согласимся с этим общим соображением, станет ясным значение двух основных мотивов современной истории производства знаний, а именно оригинальности и первенства — первый характерен для гуманитарного, а второй для естественно-научного ответа на проблему избыточности информации. В обоих случаях проблема не «решается», скорее, она просто организуется и структурируется, становясь предметом управления, что позволяет сохранить поток производства знания.

Глава 5
Кастомизация науки: проект для ситуации постистины

ПРОТНАУКА: НАУКА ЛИЧНАЯ И ПРЯМАЯ

В мире постистины к самой идее научного консенсуса можно относиться с подозрением, однако наука как таковая не отвергается. Напротив, теперь она считается личным делом. Эта перемена в установках сравнима со сдвигом, произошедшим во время протестантской Реформации, когда христианство перестало быть единой доктриной, которую проповедовали с кафедры «высокой церкви», облекая ее в мистические латинские выражения. С этого момента оно стало множеством вер, последователи которых связывали свои жизни с собственным пониманием Писания. Применительно к науке я назвал такой процесс протнаукой — сокращенно от «протестантской науки» [Fuller, 2010, ch. 4], под которой я имею в виду очевидный паттерн, обнаруживаемый в параллельном развитии разных вещей — например, теории разумного замысла, альтернативной медицины и Википедии.

Протестантская Реформация была первым этапом на пути к секуляризации Европы, которую Макс Вебер считал, как известно, «расколдованием» западного сознания. Отношение протнауки к этому процессу довольно двусмысленно, поскольку она расколдовывает научный ав-

торитет, но в то же время снова заколдовывает науку в качестве жизнеобразующей формы знания [Fuller, 2006b, ch. 5]. Так или иначе протнаука крайне серьезно относится к идее, что любая форма знания, претендующая на универсальность своих утверждений, своим адептам должна представляться универсально привлекательной. Если использовать более модные термины, она предполагает рефлексивное формирование субъекта и мира, позволяющее человеку жить — или, как иногда бывает, умирать — со всем тем, во что ему довелось верить.

Интересно, что, если католики шельмовали протестантов, называя их атеистами, потому что те отказывались признавать авторитет папы Римского; сегодняшних протученых изобличают как представителей антинауки. Но в обоих случаях предметом критики оказываются хорошо образованные люди, нисколько не отказывающиеся от необходимости предоставлять доводы и факты в пользу своих убеждений. Неудивительно поэтому, что протученые уделяют так много внимания лицемерию официальных авторитетов, когда им не удается отвечать заявленным ими же эпистемическим стандартам. Например, любое сообщение о научном подлоге льет воду на мельницу протнауки, становясь еще одной причиной взять проблему знания в свои руки, пока вообще все исследования не погрязли в коррупции.

Неудивительно, что ученые, вторя католическим теологам, судачившим о протестантских интерпретациях Библии в период Реформации, стали жаловаться, что доступность информации служит лишь росту недоразумений и шарлатанства. Нисколько не отрицая эту возможность, стоит отметить, что освоение обществом научных фактов и концептов, каким бы странным или абсурдным оно ни казалось профессиональным ученым, приводит к тому, что общество с большей охотой принимает личную ответственность за решения о том, нужно ли носить зонтик, ин-

вестировать в определенную компанию, пройти какое-то лечение или, скажем, эвакуировать город. Это позволяет ученым свободнее говорить о своих исследованиях, не боясь, что за их слова их привлекут к ответственности. В самом деле, бремя интерпретации ложится теперь на аудиторию, считающуюся ангажированной и разумной.

Этот новый дивный мир протнауки представляет собой наиболее поздний этап секуляризации, на котором наука сама становится мишенью, а не агентом секуляризации [Fuller, 1997, ch. 4; 2000a, ch. 6]. Сегодня о протестантской Реформации в Европе XVI–XVII вв. говорят как о важном периоде в истории христианства, но также она отметила собой первую целенаправленную попытку демократизировать производство знания на Западе, особенно за счет лишения Римской церкви религиозного авторитета. В самом деле, формальное отделение производства знания от воспроизводства социального порядка является, возможно, наиболее сильным институциональным наследием секуляризации, которая началась с политического разделения церкви и государства. Сегодня мы вступаем во второй период, заключающийся в экспроприации главного эпистемического авторитета нашего времени, то есть науки, освобождающейся от той институциональной, опиравшейся на государство привилегии, которой она пользовалась с момента, скажем, основания Королевского общества в Лондоне.

Читателям, которые, возможно, по-прежнему относятся к этому процессу скептически, стоило бы рассмотреть некоторые признаки этого тектонического сдвига, обнаруживаемые в активном внимании общества к науке. Наиболее очевидно, что все большая заметность науки, участвующей в общественных делах, совпала со способностью людей получать доступ ко всему запасу научного знания начиная практически с любой отправной точки в Интернете. Результатом стало распространение того, что

ранее называли (часто с насмешкой) научными гибридами в стиле нью-эйдж, некоторые из них вдохнули новую жизнь в движения, ранее считавшиеся окончательно вымершими, включая креационизм и гомеопатию. Здесь стоит вспомнить три общих смысла, в которых наука может считаться по существу своему демократической. Однако не вполне ясно, совместимы ли они друг с другом.

1. Наука является *универсальным знанием* в строгом смысле слова, то есть она охватывает все вещи и для всех людей. Именно в этом духе следует понимать так называемый редукционизм современной философии, наиболее четко ассоциирующийся с позитивизмом XIX и XX вв. У Огюста Конта требование использовать разум и наблюдение (или логику и эксперимент) было призвано демистифицировать эпистемический авторитет теологии. В Венском кружке оно было призвано демистифицировать светскую академическую экспертизу. Кроме того, более поздний позитивизм посвятил себя исправлению эксцессов своих ранних версий, поскольку Конт хотел, чтобы наука стала новой церковью, а не предупреждала появление новых церквей. «Наука как открытое общество» Поппера была радикальным выражением этого направления.

2. Хотя до относительно недавнего времени университет был заселен элитами, его принципы и методы были «демократическими»с учетом требования Гумбольдта объединить оригинальные исследования с массовым обучением. Следовательно, любое первоначальное преимущество, полученное благодаря инновационному исследованию, минимизируется, если не устраняется, как только оно становится доступным для более широкого потребления в учебной аудитории. В этом отношении преподавание можно считать эпистемическим предпринимательством в шумпетерианском смысле участия в «созидательном разрушении» экспертизы за счет предоставления студентам возможности тратить меньше сил, чем перво-

начальные исследователи, когда те впервые приобрели то же самое знание [Fuller, 2009, ch. 1; 2016a, ch. 1]. Величайшим символом этого процесса является учебник, и неслучайно его внедрение в самых разных науках к концу XIX в. в Германии совпало с курсом на ускоренное строительство нации.

3. Неотъемлемая «демократичность» присуща также самой роли или личности ученого. Это можно понять в трех разных смыслах: а) всеобщей подчиненности общему дисциплинарному идеалу или парадигме (то есть все ученые равны в поиске истины, а из этого следуют близкие способности прозревать истину и ошибаться); б) равного индивидуального воплощения универсального знания в каждом человеке (пример: немецкий романтический идеал *Bildung*, отстаиваемый Иоганном Вольфгангом фон Гёте); в) коллективного производства и коллективной собственности на знание как общественное благо, предполагающих, что существует научная точка зрения, в принципе, доступная каждому, которую можно использовать для управления обществом (пример: идеал, общий для позитивизма, утилитаризма и диалектического материализма). Эти три смысла «демократизма» совпадают с самопониманием науки в XIX в. в Британии, Германии и Франции соответственно [Fuller, 2010, ch. 3].

Печатный станок сыграл ключевую роль в первой волне протестантизма, будучи удобным и в то же время выгодным средством приобретения когнитивных ресурсов, необходимых людям, чтобы самостоятельно решать, во что верить, не кланяясь приходскому священнику. В самом деле, сначала Библия, а потом и другие книги стали серьезным бизнесом, когда они стали публиковаться на национальных языках и в небольших форматах, значительно упрощающих распространение. Эта тенденция ускорилась в период Просвещения, и именно она обычно считается причиной всеобщей либерализации запад-

ной культуры [Wuthnow, 1989]. В последнюю четверть века поднялась новая волна публикаций на национальных языках, ставшая возможной благодаря информационным технологиям начиная с поиска в Интернете и заканчивая социальными сетями. Влияние этой волны на распространение эпистемического авторитета в обществе очень заметно, хотя ее долгосрочные последствия пока неясны. С определенностью можно сказать, что институциональные способы управления разнообразием мнений и притязаний на легитимность, получившие развитие вслед за протестантизмом, а именно светское государство и научный метод, сами оказались в «кризисе легитимности».

Эти прежние способы первоначально предназначались для разрешения потенциально острых дискуссий между разными и часто конкурентными толкованиями, применениями и развитиями темы библейского послания. В этом отношении регулярные выборы и контролируемые эксперименты выполняли примерно одну и ту же функцию. Более того, когда государство в XIX–XX вв. начало не просто защищать, но и повышать благосостояние своих граждан, наука все больше подключалась к деятельности государства и все больше ею определялась. Таким образом, научные элиты и в самом деле становятся верховными жрецами секулярного государства, последними инстанциями принятия политически важных рекомендаций, распространяющихся на личное здоровье, состояние экономики и прогнозы по состоянию окружающей среды. Протнаука ставит под вопрос эти закрытые связи науки и государства, не в последнюю очередь потому, что ученые не отвечают перед теми, кем они управляют, пусть и чужими руками.

Протнаука стремится найти новый баланс для эпистемической власти, чтобы, скажем, врач начал смотреть на пациента в клинике как на клиента, которому надо продать курс лечения, а не как на машину, которую надо по-

чинить. Причина именно в том, что протученые убеждены: наука играет ключевую роль и в их собственной жизни. По той же причине они подчеркивают необходимость активного участия в определении того, в чем именно эта роль заключается. Так, они черпают информацию из альтернативных источников, в том числе из Интернета, и дополняют методологические неопределенности, свойственные любому научному исследованию, своим собственным опытом и базовыми убеждениями. Но главное, что протученые не отступают от своего права решать научные вопросы самостоятельно, поскольку они сами в основном и несут ответственность за последствия таких решений. Это приводит к избирательно-экспериментальному подходу к самой науке, в котором бо́льшая часть установленных научных фактов и признанных теорий сохраняется, но при этом они получают неожиданное толкование в свете специфических объяснительных принципов и жизненных практик.

ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАК ПРОТО-ПРОТУЧЕНЫЙ

Возможно, наиболее очевидным прецедентом протнауки является появление «свободно парящей интеллигенции», если использовать звонкое выражение Карла Маннгейма, означающее класс критиков и публицистов, которые в XIX в. начали зарабатывать себе на жизнь, работая в туманном интеллектуальном пространстве между академической и политической сферами [Fuller, 2005b]. И сегодня академические эксперты слишком уж спешат с осуждением интеллектуалов, поскольку те умеют извлекать выгоду из экспертных знаний, но при этом либо сами не получили соответствующих дипломов и степеней, либо, что с точки зрения экспертов еще хуже, не требуют этого от других. Иными словами, интеллигенция по самой своей

природе состоит из «эпистемических борцов с монополией», которые, поскольку они обычно заняты в разных медиа, вынуждены развивать зоркость, позволяющую им обнаруживать и обходить *поиск ренты* как тенденцию академического мышления, ведь им нужно придумывать идеи, способные ударить аудиторию в больное место.

Обычно интеллектуалы начинают свою карьеру в качестве академиков. Но вскоре они понимают, что специфические академические способы производства и поверки знаний больше говорят о том, как они сами что-то узнали, чем о том, что с этим знанием должны в будущем делать другие. Таким образом, интеллектуал, пытающийся придумать хлесткую фразу или же сочинить колонку в газету, думает о том, как эффективнее приспособить академическое знание, возможно, даже следуя тезису Пьера-Жозефа Прудона «частная собственность — это кража», в свете которого академические ученые представляются эпистемическими баронами, чей безусловный авторитет перевешивает их реальную роль стражей, хранящих и передающих знания. Хотя обычно интеллектуалы не пытались демистифицировать или обесценить академическое знание, именно таким может оказаться непреднамеренное следствие их деятельности. Когда интеллектуалам удается произвести эффект какой-нибудь статьей на 750 слов (вместо книги на 75 тысяч слов), это доказывает, что можно обойти ренты, обычно навязываемые академиками под видом «требований к образованию», выполнение которых необходимо для приобретения действенной формы знания. В подобные моменты интеллектуалы в обществе действительно выполняют свою классическую просвещенческую функцию.

В этом отношении они выступают антрепренерами эпистемической эффективности, которые видят в академической экспертизе способ ограничения и сужения человеческого разума, который в противном случае действовал бы свободнее, причем подобное ограничение в пер-

вую очередь выгодно самим академикам, несмотря на ту или иную вторичную пользу для остального человечества, например, пользу от деятельности студентов, способных впоследствии заняться какими-то иными вещами.

С научной журналистикой связана особая форма интеллектуальной жизни, и она заслуживает упоминания в контексте протнауки, если учесть распространенную среди академиков склонность полагать, будто до того, как исследования науки и технологий занялись демистификацией самоочевидных взглядов на функционирование науки, научные журналисты были не кем иным, как пресс-атташе ученых. Однако история на самом деле интереснее и глубже, правда, ее еще предстоит написать. Основные моменты, впрочем, ясны: начать надо со знаменитого первопроходца научной фантастики Герберта Дж. Уэллса. В прошлом ученик Томаса Генри Гексли, в те времена главного апологета Дарвина, он действительно был заинтересован в применении недавних открытий и новых научных тенденций в качестве инструмента прогнозирования будущего состояния мира, то есть своего рода «прогностической журналистики», способной, раз люди будут знать о будущем, либо ускорить, либо замедлить наступление этого предугаданного будущего. Интересно, что сам Уэллс считал себя в этом отношении последователем таких великих прогрессивных мыслителей XIX в., как Конт, Маркс и Герберт Спенсер, что, в свою очередь, стало основанием для его безуспешной попытки стать в 1907 г. первым британским профессором «социологии» в Лондонской школе экономики и политических наук. Уэллс называл социологию «наукой утопий» [Lepenies, 1988, ch. 5]. Мне и сегодня симпатична исходная уэллсовская концепция социологии [Fuller, 2015, ch. 6]. Соответствующий ей подход мы заново рассмотрим в последней главе этой книги, посвященной «прогнозированию».

Конечно, Уэллс был не единственным, кто считал научную журналистику идеальным средством рекламы научного прогресса, применяемым обычно для восхваления науки, но иногда также и для иммунизации общества. В самом деле, до холодной войны научная журналистика в ее лучших образцах обычно занималась проектированием смелого научно-технического будущего — тон в ней задавали первопроходец популяционной генетики Джек Холдейн и колумнист *New York Times* Вальдемар Кемпферт, причем первый часто кивал на СССР, а второй — на фашистскую Италию. Оба через какое-то время сбавили обороты, так что с холодной войны начался более критический период научной журналистики, в которой такие авторы, как экологи Барри Коммонер и Рейчел Карсон, обращали внимание, хотя и по-разному, на безответственное участие науки в разрушении жизни людей и других существ, которую она должна была по идее улучшать. Так были посеяны семена встречающейся и сегодня идеи о том, что научный истеблишмент столь же коррумпирован, как и любая иная политическая инстанция, в частности «научно-военно-промышленный комплекс» времен холодной войны. В последние 40 лет научно-популярные работы были поделены между теми, кто верит в способность науки определить нашу судьбу независимо от того, хорошо это или плохо (сравните работы 1970-х годов этологов Конрада Лоренца и Ричарда Докинза), и теми, кто считает, что наука должна открыться для более широких подходов и одновременно для более строгого контроля. Последний взгляд ассоциируется с исследованиями науки и технологий, но в обычной журналистике за ту же линию отвечает Джон Хорган [Horgan, 1996] из *Scientific American*.

Когда появился Интернет, научная журналистика стала больше похожа на расследовательскую, где журналист в конечном счете участвует в строительстве, если не пе-

рестройке научного знания. В результате научная журналистика приобрела в чем-то непредсказуемый и даже опасный характер. Этот феномен определялся двумя тенденциями. Первая — классическая динамика «толчка предложения» и «тяги спроса»: в данном случае избыток людей с научной подготовкой переместился в журналистику именно в тот момент, когда общество начало считать себя не столько зрителем, сколько потребителем науки. Соответственно, люди, не являющиеся учеными, хотят узнать от научного журналиста, стоит ли покупать продукт, предлагаемый учеными. Взять хотя бы пример Бена Голдакра. Несмотря на то что он является медиком, получившим образование в Оксфорде, а также самозваным бичом «Плохой науки» (название его еженедельной колонки в *Guardian*), его подход включает необходимость подвергать научные статьи — в основном по биомедицине, в которой финансовые и общественные ставки максимальны — статистическим и другим проверкам, где оценивается сама конструкция исследований, что в конечном счете позволяет раскрыть пробелы даже в статьях, прошедших через коллегиальное рецензирование. Кампания Голдакра привела его к порогу «Большой фармы» [Goldacre, 2012]. Здесь можно вспомнить тест-драйвы Ральфа Нейдера, который в 1960-х годах проводил испытания автомашин, сошедших с конвейеров в Детройте, чтобы выяснить, соответствуют ли они заявлениям производителей. Именно с этих испытаний началось движение потребителей.

Вторая тенденция, определившая формирование этого нового дивного мира научной расследовательской журналистики, представлена Евгением Морозовым, возможно, главным критиком хайпа Кремниевой долины, где считают, что любую проблему можно решить совершенствованием информационной технологии, — эту доктрину Морозов окрестил «солюционизмом» [Moro-

zov, 2013]. Морозов, белорус, ныне осевший в Кремниевой долине, в юности получил стипендию от фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса, занимающегося пропагандой ценностей либеральной демократии в бывших коммунистических странах. Однако Морозов выделился тем, что модернизировал хрестоматийную фигуру диванного критика, хорошо начитанного и бойкого гуманитария, который не умеет писать программы для компьютера, но постоянно копается в киберпространстве, доказывая, что мечты Кремниевой долины не могут воплотиться в реальности. Обычно он делает это, цитируя и сопоставляя тексты (а иногда и искажая их смысл). На самом деле, Морозов — это своего рода *злой двойник* поклонника продуктов компании *Appl*e, который принимает всю эту шумиху за чистую монету, но в результате неизменно разочаровывается. Огромная аудитория Морозова подтверждает одну из его основных мыслей, а именно то, что, несмотря на ажиотаж вокруг *открытого доступа* в мире информационных технологий, большинство интернет-пользователей столь же технически неграмотны, как и сам Морозов, а потому они, что вполне понятно, хотят, чтобы программисты из Кремниевой долины отвечали за свои слова вне своего закрытого сообщества.

С точки зрения постистины, хотя ученые, возможно, видят во всем этом только эпистемические угрозы, есть в этом и положительная сторона. Вместо того чтобы фокусироваться на недоверии к ученым, общество стало все более активно интересоваться тем, что они делают, даже если выводы публики расходятся с официальным научным суждением. А это говорит о том, что такие люди, как Голдакр и Морозов, хотя они и опираются на достаточно разные в эпистемическом смысле позиции, указывают на то, что британский исследователь научной коммуникации Элис Белл [Bell, 2010] назвала «опе-

режающей» научной журналистикой, которая сообщает о проводимых исследованиях до того, как они достигнут стадии публикации. В крайнем своем выражении она может сводиться к круглосуточному «потоку новостей», обеспечивая обществу такой доступ к научным исследованиям, благодаря которому лаборатория становится сценой «реалити-шоу». Хотя некоторым ученым такой метод может показаться помехой, он, однако, дает людям возможность выработать личную заинтересованность в результатах исследования.

Может показаться, что все это открывает возможности для пристрастного отбора научных результатов, соответствующих частным мировоззрениям. И в определенном смысле это на самом деле так. Но зрелая секулярная демократия способна уважать даже тех, кто желает воплотить в своей жизни гипотезы, отвергнутые учеными. Я не сомневаюсь, что в подобной толерантной среде научные исследования по-прежнему будут финансироваться и люди будут сверяться с ними. Однако выводы, извлекаемые из них каждым конкретным человеком, будут лишь его собственными, и не важно, хорошо это или плохо. Относиться к науке лично значит в конечном счете превращать самого себя в живую лабораторию. Для общества, поддерживающего такую деятельность, вопрос, следовательно, заключается в том, в какой мере его члены могут справедливо извлекать выгоду из этих индивидуальных инициатив, которые всегда рискованны. Прежде всего для этого требуется декриминализировать сами эти инициативы, а также обеспечить соответствующую компенсацию и признание тем, чьи личные риски могут оказаться выгодными всем, в том деле, которое, используя знаменитую фразу Уильяма Джеймса в несколько ином контексте, можно достаточно точно назвать «моральным эквивалентом войны» с нашим коллективным невежеством [Fuller, Lipinska, 2014, ch. 4].

ЗАКАЗЧИК НАУКИ, КОТОРОМУ НЕ НУЖНО БЫТЬ ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

В работах по маркетингу проводится полезное четкое различие между *заказчиком* (*customer*) и *потребителем* (*consumer*). Они представляют собой следующие друг за другом этапы в цепочке поставки, в которой «заказ» — это, по сути, обмен между производителем и розничным торговцем. Заказчик — это, строго говоря, клиент, тот, кто покупает товар или услугу, независимо от того, что он с ними будет делать. Тогда как потребитель — это заказчик, который действительно использует данный товар или услугу. Хотя заказчик и потребитель — часто одно и то же лицо, можно быть одним, не будучи другим.

Заказчик науки может покупать определенные эпистемические товары и услуги, но ему не обязательно их потреблять. Например, он может разузнать во всех подробностях о неодарвинистской концепции эволюции и даже рассказать о ней другим, не веря, однако, в саму эту концепцию. В самом деле, я доказывал, что это и есть оптимальная стратегия для современных креационистов, также известных под именем теоретиков разумного замысла, если они хотят выйти на научный рынок, в котором единственной валютой является эволюционная теория [Fuller, 2008, ch. 1]. Разделять такую установку значит вести себя как розничный торговец, который покупает товар для продажи его кому-то другому, но не для самостоятельного потребления. И наоборот, «потребитель науки», возможно, не собирался переваривать генетически модифицированные организмы, которые уже содержатся в большей части продуктов питания, которые он ест. Собственно, он может даже считать, что такие организмы вредны или неестественны. И хотя его собственные паттерны потребления, особенно если здоровье у него не портится, говорят против его убеждений, у него все равно

могут быть юридические основания подать в суд на своих поставщиков питания, если они не обеспечили ему информированного согласия по их услуге.

Различие заказчика и потребителя удачно встраивается в историческое понимание науки. В частности, всегда была распространена трактовка науки как абстрактной отрасли промышленности, превращающей сырье (эмпирические данные) в полезные продукты знания (законы, решения, предсказания и т.д.), но не *конфигурирующей* конкретного пользователя, если вспомнить название известной работы Стива Вулгара [Woolgar, 1991]. Очевидным примером представляется то, что великий энциклопедист социальных наук Герберт Саймон стал в 1980-е годы называть «вычислительным научным открытием» [Langley et al., 1987], которое нацелено на производство максимально широкого спектра известных научных открытий путем применения минимального числа правил вывода. Такой корпус знаний и рассуждений мог бы послужить платформой — или, как сказали бы экономисты, «постоянным капиталом» — для прогнозирования неопределенно большого спектра будущих научных открытий, лишь часть из которых может быть рассмотрена людьми, не говоря уже о том, чтобы полноценно их изучить. Тот факт, что Саймон назвал семейство своих компьютерных программ «Бэконом» в честь Фрэнсиса Бэкона, показывает, что он отлично понимал, что занимается концептуализацией науки как способа производства, а не просто модельной линейки продуктов. Философ Пол Хамфрис [Humphreys, 2004] пошел еще дальше, заявив, что эффективнее наукой могли бы заниматься вычислительные научные машины, которые бы освободили людей от производства науки, оставив нам роль научных заказчиков и потребителей.

Конечно, это не обязательно потребовало бы от людей загружать свой мозг в машины. Скорее, если Саймон и Хамфрис правы, от заказчика или потребителя на-

уки требуются иные когнитивные способности, чем от ее производителя. В первой роли люди могут достичь настоящих высот. Подобные способности можно встретить у знатоков искусства, и эту аналогию учитель Куна, Джеймс Брайант Конант, проводил специально, чтобы объяснить, в каком смысле люди, не являющиеся учеными, должны обладать «пониманием» природы науки [Fuller, 2000b, ch. 4]. От необходимого для этого набора навыков зависели бы в таком случае сами наши человеческие качества. Более того, такой подход не слишком отличается от того, что лауреат Нобелевской премии по химии Уолтер Гилберт [Gilbert, 1991] планировал для биоинформатики четверть века назад, предполагая, что из множества цепочек ДНК некоторые покажутся практичному «биопрогнозисту» возможностями для инвестиций, позволяющими выработать новые методы лечения. Он и сам последовал своему совету еще в конце 1970-х годов, когда вместе с несколькими учеными основал коммерческое предприятие *BioGen*, позже ставшее платформой для привлечения специалистов, в числе которых были и будущие основатели проекта «Геном человека» [Church, Regis, 2012, ch. 7]. Двигаясь как раз по такой траектории, один из них, Крейг Вентер, со временем приобрел известность в качестве «венчурного инвестора» генома.

Формализуя различие между заказчиком и потребителем науки, можно было бы избежать неприятной ситуации, в которую попали шесть итальянских сейсмологов, осужденных (вместе с одним политиком) в октябре 2012 г. на шесть лет тюремного заключения за причинение смерти по неосторожности. Они предоставили ложные гарантии касательно землетрясения 2009 г., в результате которого в Л'Акуиле, округе с населением 100 тыс. человек, погибли 300 человек, 1600 получили травмы, а 65 тыс. остались без крова. Разумеется, ученые заявляли со всей ясностью — и точностью, если основываться на

имевшихся тогда данных, — что землетрясение крайне маловероятно. Но, конечно, маловероятным событиям свойственно время от времени все же случаться. Хуже то, что эксперты, судя по всему, решили, основываясь на этой малой вероятности, рекомендовать бездействие. Судья, чей вердикт отражал общественное мнение, подчеркнул, что суровость наказания вытекает только из этой рекомендации, а не из исходной оценки вероятности.

Научное сообщество не замедлило выразить свое негодование. 25 октября атаку возглавила передовица в *Nature*, где было заявлено, что после такого ученые не захотят свободно высказываться по публичным вопросам, особенно таким, которые могут иметь значение для государственных решений. Относительно слабые достижения Италии в финансировании научных исследований были провозглашены симптомом недостаточного уважения к науке в этой стране, которое, в свою очередь, сделало сейсмологов легкой мишенью популистского гнева. Однако этот анализ слишком прост, хотя в конечном счете я могу согласиться с тем, что в этом случае вина в большей степени лежит на обществе. Однако мои аргументы отличаются от аргументов редакторов *Nature*. (Следует отметить, что в течение двух лет все обвинительные приговоры были отменены судом высшей инстанции, когда внимание медиа переключилось на вероятное участие мафии в восстановлении Л'Акуилы.)

Стечение обстоятельств в Л'Акуиле оказалось настолько неудачным, что хочется высказаться в стиле «чума на оба ваши дома». Несомненно, свою роль сыграла патерналистская надменность, столь распространенная среди ученых и делающая их уязвимыми перед политическими манипуляциями. В данном случае ученые предполагали, что они лучше остальных знают, как интерпретировать данные, а потому подчеркивали, вторя политикам, низкую вероятность катастрофы, стремясь уравновесить ту ирра-

циональную общественную реакцию, которую они, по их собственному мнению, получили бы в противном случае. Но разве у общества нет права делать собственные выводы, а в случае необходимости и учиться на своих ошибках? Действительно, скорее всего, львиная доля вины за этот инцидент лежит на обществе, которое неразумно ожидало от ученых не только информации, но и наставлений. Очевидно, жители Л'Акуилы не освоили той «протестантской» позиции причастности к науке, о которой мы говорили ранее.

Если судить по истории, обычно научное сообщество принимало наиболее «политические» меры тогда, когда надо было защитить автономию своих исследований. Требования автономии распространялись как на темы, над которыми они работали, так и на используемые ими методы, а также на любые выводы, которых они могли достичь. Эти требования обычно удовлетворялись заключением договора о взаимном невмешательстве между учеными и политиками. Такая договоренность, как мы уже отмечали, была увековечена 350 лет назад в уставе Лондонского королевского общества. Однако в 1911 г. в Германии была основана первая подобная организация — Общество кайзера Вильгельма, — которая связала судьбы науки, промышленности и правительства в проектах, выгодных всем сторонам. Как было показано в предыдущей главе, Фриц Габер был одним из заметных, да и по сути знаменитых, выгодополучателей этой договоренности. Хотя во второй половине XX в. наблюдалось распространение подобных договоренностей, соответствующих «модели тройной спирали», первоначальная их реализация привела к катастрофе. Агрессивная позиция Германии во время Первой мировой войны в полной мере подкреплялась лучшим в мире научным сообществом. Пожалуй, неудивительно, что после унизительного военного поражения в культуре этой страны начался глубинный антинаучный откат, посеявший семена большей ча-

сти современного фундаментализма, расизма и иррационализма [Herf, 1984].

Размышляя над этой историей, некоторые ученые заявили, что они должны играть еще более весомую роль в общественных делах, но на этот раз нельзя позволить эгоистическим политикам и бизнесменам ограничивать их. Истоки этой идеи можно возвести к опиравшемуся на опыт СССР «научному авангарду», который на Западе был развит и популяризирован британским физиком Джоном Десмондом Берналом [Bernal, 1939]. Сегодня она представляется в более демократических и порой даже популистских категориях. Рассмотрим «Манифест гика», широко обсуждавшийся призыв к оружию, который написан Марком Хендерсоном [Henderson, 2012], пиар-директором *Wellcome Trust*, крупнейшего в Британии частного научного фонда. Хендерсон, в прошлом научный редактор лондонской *Times*, развивает свою собственную версию нового поколения активистской научной журналистики, обсуждавшуюся в предыдущем разделе. В частности, он полагает, что коллективный интеллект демократии растет за счет распределения авторитета соответственно его фактической обоснованности, то есть те, кто знает больше, должны получить более влиятельный голос в политике. В таком элементарном изложении предложение кажется элитистским. Однако точно такого же взгляда придерживался великий либерал XIX в. Джон Стюарт Милль. И чем больше неудачи в исполнении «настоящих» научных советов могут быть представлены в качестве угроз общественным интересам, тем более убедительным кажется «Манифест гика».

Однако, как указывает самоуничижительный термин «гик», целевая аудитория манифеста — это мелкая буржуазия науки, то есть айтишники, которые пытаются сбежать от своей основной работы, погружаясь в чтение научно-фантастических и научно-популярных текстов, под-

питывающих их эскапады в Интернете. Это выливается в едва ли не бесконечную войну с «псевдонаукой», которая часто требует согласия с крайне хлесткой риторикой Ричарда Докинза, обличающего верующих в Бога. Что бы ни говорилось об этих людях, которые, участвуя в подобных кибервойнах, несомненно, делают свою жизнь осмысленнее, они все же не являются ударниками научного труда. Это, возможно, в какой-то мере объясняет, почему ведущие научные институты не подписались под «Манифестом гика». В самом деле этот научный призыв к оружию в конечном счете выражает, видимо, такое желание, которому лучше остаться неисполненным.

Один из аспектов политики, который упускается из виду в обсуждениях «Манифеста гика», состоит в том, что должно произойти, если ученые, получившие, как того требует Хендерсон, новые полномочия, напортачат, что, собственно, и произошло при землетрясении в Л'Акуиле. Конечно, приговор попал под шквальный огонь мирового научного сообщества. Однако это негодование указывает на то, что ученым еще предстоит в полной мере понять простейший урок демократической политики, а именно то, что вместе с властью приходит и ответственность. Итальянские суды первоначально представили ученых в том свете, будто они злоупотребили доверием пострадавших жителей. И если люди обязаны слепо верить ученым, высказывающимся с позиции собственных экспертных знаний, тогда это вполне оправданная интерпретация ситуации. Чтобы в будущем избежать подобных случаев, общество должно занять по отношению к науке позицию клиентов, заказчиков, которым не обязательно быть потребителями. Подобный порядок действий, возможно, и не минимизирует вероятность рискованных суждений о мире, но наверняка минимизирует риск, который ученые и общество представляют друг для друга, поскольку каждая сторона фор-

мально берет на себя собственную долю ответственности, что бы ни случилось.

РОЛЬ КАСТОМИЗИРОВАННОЙ НАУКИ В БУДУЩЕМ ДЕМОКРАТИИ И УНИВЕРСИТЕТА

В эпоху протнауки общество должно продолжить финансировать научные исследования, но ему не обязательно подписываться под теми интерпретациями, которые дают своим открытиям сами ученые. То есть общество может состоять из научных заказчиков, но не обязательно из научных потребителей. Конечно, тут возникают интересные юридические вопросы о том, что именно должны говорить ученые, чтобы люди могли сделать разумные выводы. Но, в принципе, эти вопросы не хитрее тех, что связаны с любой клиентской трансакцией: клиент платит просто за ту важную для него информацию, которую он иначе бы не получил, но потом он волен сам решать, что с ней делать. Домовладельцы «вольны» игнорировать советы сейсмологов в том же самом смысле, в каком пациенты «вольны» игнорировать советы терапевтов, — и соответственно благоденствовать или, наоборот, страдать. Как только мы достигаем такого состояния морального паритета, можем считать, что живем в просвещенной секулярной демократии, в которой ученым не надо бояться того, что их возьмут под стражу за высказывание истины, как они сами ее понимают. Это утопия в той ее трактовке, которую предлагает протнаука.

В этом отношении различие между заказчиком и потребителем науки позволяет усомниться в одном все еще популярном рассуждении, опирающемся на философскую рационализацию: *чем больше некто знает о науке, тем больше его убеждения совпадают с убеждениями соответствующих научных экспертов*. В работах по научной коммуникации это рассуждение часто высмеивает-

ся как «модель дефицита», поскольку оно предполагает, что простой дефицит знания, а не различие в целях, ради чего к нему стремятся, является главной проблемой *общественного понимания науки* [Gregory, Miller, 2000]. Разумеется, ученые, работающие в академических условиях, где профессиональное развитие в значительной мере зависит от одобрения коллег, оказываются восприимчивыми к ряду стимулов и форм давления, требующих совпадения с актуальным экспертным суждением. Однако даже такой институциональный социальный контроль не обязательно срабатывает, если, к примеру, ученые-диссиденты находят подходящие им альтернативные способы публикации. Но в полной мере важность позиции научного заказчика, который не обязательно потребляет покупаемую им науку, более всего заметна в том, что подавляющее большинство, включающее даже ученых за пределами их специальностей, имея дело с научными притязаниями на знание, придерживается избирательно-экспериментального подхода, который позволяет брать только то, что нравится. К нему относятся следующие практики.

1. Научные факты принимаются в качестве всего лишь социологических, указывающих на коллективное суждение ученых из соответствующей отрасли знания, которое, вполне вероятно, может измениться, если появятся новые данные.

2. Научные факты принимаются как они есть, но не наделяются тем же значением, какое придается им учеными.

3. Научные факты принимаются и, возможно, даже наделяются их полным значением, но при этом делается вывод, что они могут сносно или не хуже объясняться теорией, альтернативной научной ортодоксии.

Все три практики можно оправдать достоверными в эпистемологическом смысле основаниями, то есть осно-

ваниями, которые наверняка достовернее всего того, что допускает вопиющее невежество людей, незнакомых с содержанием той ортодоксальной науки, в которую они, по их собственным заявлениям, верят [Fuller, 1997, ch. 4].

Проблема, ставшая настоящим жупелом для кастомизации науки, — это «эффект плацебо» в медицине [Evans, 2003]. Заказчики науки хорошо понимают компромиссы, связанные с клиническими испытаниями: способность определять точные физические эффекты новых лекарств и методов лечения нивелируется сложностями вероятных контекстов реального применения, в которых стиль жизни пациента, его настроение или отношение с лечащим врачом могут усилить, снизить или попросту изменить спрогнозированное воздействие. В самом деле, лекарства и методы лечения, которые оказываются ненадежными при применении в реальном изменчивом мире, вероятно, принесли больше вреда, чем, скажем, гомеопатия и другие формы альтернативной медицины, где инертные физические субстанции применяются вкупе с психологическим ободрением со стороны врача. Неудивительно, что всевозможные виды инвазивных (или «аллопатических») методов лечения, связанных с «научной медициной», по своей эффективности начинают явно обгонять альтернативную медицину только в последней трети XIX в. В этот период клиники начали регулярно использоваться в качестве полигона для тестирования новых видов лечения, что привело к созданию систематического архива успехов и неудач, допускающих коллективное обучение в той сфере, которая ранее в основном приватизировалась медицинским сословием [Wootton, 2006].

Для адекватного ответа на эту историю не следует поддаваться рефлекторному философскому импульсу, который заставляет демонизировать подобных заказчиков науки в качестве «релятивистов», *просто* приспосабливающих науку под свои убеждения, которых они бы все рав-

но придерживались, пусть и на других основаниях. Вероятной причиной этого философского рефлекса является предубеждение, будто «эксперты-ученые» интересуются более широким эпистемическим горизонтом, чем «непрофессиональные ученые». Иными словами, эксперты интересуются не просто тем, что важно им лично, но более широкой, бескорыстной концепцией истины. Здесь, когда мы говорим о «широком», надо разделить пространство и время. Предположим, что эксперты занимаются чем-то более широким в пространственном смысле. Другими словами, эксперты, скорее всего, выносят взвешенное суждение, основанное на изучении более широкого спектра точек зрения, чем непрофессионалы. Однако это не противоречит тому, что эти непрофессионалы хорошо оценивают собственные долгосрочные перспективы, в контексте которых научное суждение может показаться довольно изменчивым. Рассмотрим человека вроде меня, родившегося в разгар холодной войны. За мою жизнь научные прогнозы глобального изменения климата перевернулись с ног на голову: сначала предсказывали, что Земля обледенеет, а потом — что расплавится, и это было связано с уточнением данных и моделей, а также не в последнюю очередь со сдвигом в геополитической парадигме, в силу которого вероятность глобальной ядерной войны стала считаться менее значительной. Почему же тогда я не могу ждать существенных, хотя и не обязательно сравнимых перемен в коллективном научном суждении в те годы, которые мне осталось прожить?

Конечно, подобная «пессимистическая метаиндукция», как ее удачно назвал Патнем [Putnam, 1978], ничем не гарантирована. Однако исторический прецедент может подтолкнуть людей к участию в научном предприятии, особенно если они окажутся в выигрыше от смены парадигмы, определяющей то, как делается наука. Так, креационисты, серьезно относящиеся к идее «молодой Земли»,

имеют все основания заниматься изучением радиометрических техник, применяемых для датировки событий в геологическом или космологическом масштабе, хотя и с той целью, чтобы показать наличие в них недостатков. В идеальном случае эффективность такого изучения будет доказана исследованием, которое произведет впечатление на коллег. В зависимости от того, какая доля научного авторитета будет в будущем передана низовым инстанциям, публикация на других площадках также может послужить переворбовке целевой аудитории.

Что бы ни говорили о «заказчиках науки», они берут на себя ответственность за свои решения, основанные на науке. Они не невежественные потребители, и это доказывается их очевидным, хотя и локальным отклонением от научной нормы. Здесь стоит признать разные причины, которые могут найтись, чтобы быть заказчиком, но не потребителем. Возможно, самая давняя историческая причина связана с социальной интеграцией девиантных классов или девиантных практик. В этом случае процесс абстрагирования товаров от их нормальных контекстов применения, характеризующий обменные отношения, то есть превращение ценности в цену, упрощает сравнение того, что ранее было несоизмеримым. Так, когда мне предлагают в обмен корову, мне не надо оценивать ее в категориях моего чисто личного применения (например, люблю я молоко или мясо?), мне нужно рассмотреть ее в качестве того, что можно обменять на что-то такое, что я на самом деле могу использовать. Примерно в том же смысле креационист может вкладываться в научное образование, поскольку он может сыграть на нем, продвигая каким-то образом свое собственное мировоззрение (например, в качестве человека, ставшего экспертом в радиометрической геологии и космологии, чтобы ниспровергнуть статус-кво), но также он может получить научную степень просто для того, чтобы приобрести вес в публичных спорах.

Кроме того, различие заказчика и потребителя позволяет индивиду приобрести эпистемический авторитет, расширяя спектр вариантов, доступных другим, вместо того чтобы навязывать им определенное мировоззрение. В этом отношении в той прославившей Макса Вебера знаменитой апологии свободы исследования, предоставленной и академическим ученым, и студентам, лектору отводится роль интеллектуального розничного торговца. Его следует уважать в основном за предлагаемый им ассортимент привлекательных эпистемических товаров, соблазняющий студентов, заставляющий их выносить суждения о вопросах, о которых в ином случае они могли бы и не задуматься. Наконец, различие заказчика и потребителя создает возможности для внутреннего испытания веры, из которого индивид должен выйти в каком-то смысле более сильным. Я говорю «в каком-то смысле», поскольку могут последовать разные реакции, включая следующие: а) заказчик обращается в потребителя (который в прошлом мог считаться позицией, занимаемой по умолчанию), б) заказчик получает иммунитет от роли потребителя (например, креационист, который соглашается по крайней мере с некоторыми доказательствами эволюции, но при этом может ограничить их влияние на свое мировоззрение или даже дать им креационистскую интерпретацию); в) у заказчика может сложиться более четкое понимание его отказа от потребления (то есть когнитивная значимость сопротивления искушению).

В эпоху протнауки демократизация науки сталкивается с тремя специфическими политэкономическими проблемами, способными извратить ход исследования.

1. Наука начинает оцениваться в тех же категориях бухгалтерской отчетности, что и другие крупные общественные и частные предприятия. Это может привести к существенному сдвигу в том, что считать издержками и прибылями научного исследования. Например, наука

обычно оценивается по истечении значительного срока, что позволяет не учитывать альтернативные издержки и побочный ущерб. Так, существенная первоначальная инвестиция, которая отняла ресурсы у каких-то иных альтернатив, часто расценивается в качестве общей выгоды, поскольку такой инвестиции дается достаточно времени, позволяющего вступить во взаимодействие с другими инвестициями, чтобы произвести ценный результат. Кроме того, любой ущерб, причиняемый в этом процессе, считается устранимым, то есть не признается неизбежным качеством данной стратегии инвестирования. Эта абстрактная схема достаточно точно отображает историю исследований в ядерной физике начиная с 1930-х годов. Но даже в тех случаях, когда небольшие первоначальные вложения со временем приводили к значительным прибылям — как в случае работ Ньютона, возымевших действие благодаря промышленной революции, или же работ Майкла Фарадея, оказавших влияние в силу электрификации всей планеты, — эти результаты, возможно, были сверхдетерминированы, то есть, даже если бы работ самих Ньютона или Фарадея не было, прибыли все равно были бы получены, хотя и другими средствами. В этом случае можно задаться вопросом: в какой мере конкретная научная теория или исследовательская программа необходима для «прогресса» в широчайшем социологическом смысле этого слова?

2. Идея науки как общественного блага представлялась наиболее убедительной в контексте кейнсианской логики, в которой прибыли от научного знания рассматриваются в качестве «эффектов мультипликатора», получаемых из относительно ограниченной первоначальной инвестиции. Так, в период расцвета государства всеобщего благосостояния все налогоплательщики субсидировали университеты, в которых училось не более 10–20% когорты поколения. Предполагалось, что через поколение или даже раньше эти немногочисленные счастливчики сделают от-

крытия, создадут фирмы или откроют деловые возможности, которые будут полезны для каждого члена общества. Однако, когда ожидается, что каждый отучится в университете, чтобы получить диплом, налоги начинают расти, а терпение истощается, за этим неизбежно наступают фрустрация и разочарование. Кроме того, ожидание того, что университеты фактически будут играть роль контролеров рынка рабочей силы, означает, что они не только отдали свою автономию тем, чей успех зависит от краткосрочной адаптации к рынку (то есть работодателям), но и сигнализировали учителям начальной и средней школы, что любые пробелы, с которыми они не смогли в полной мере разобраться, все равно будут исправлены на уровне университета, то есть на третьем образовательном этаже. Результатом стал процесс «обвала дипломов», из-за которого для приобретения сравнительного преимущества на рынке труда стало требоваться все больше академических степеней и сертификатов [Wolf, 2001].

3. Чтобы демократизация науки не скатилась к простой маркетизации, знание как общественное благо должно производиться специально, а не просто возникать естественным путем. Это означает: то, что люди *должны* знать, должно определяться в категориях и стандартах, отличных от того, что они *хотят* знать. В противном случае ценность знания превратится в краткосрочную стратегию выживания, обещающую наибольший выигрыш по минимальной цене. Стоит подчеркнуть, что проблема тут не в простом стремлении к «эффективности» производства знания, подразумеваемом такой стратегией, а, скорее, в непризнании того, что эффективность имеет смысл только относительно определенных целей и в строго заданных промежутках времени. Для определения эффективности знания, произведенного в качестве общественного блага, необходимо не просто гарантировать то, что люди, вложившиеся на раннем этапе, получат положительный ре-

зультат через минимальное время. Это соображение применимо как к нетерпеливым инвесторам в инновационные исследования, так и к студентам, платящим за университетское образование. В обоих случаях людей надо обучать, мотивировать, ограничивать и подталкивать к представлению о том, что знание дает менее прямые выгоды, распределяемые по большему периоду времени. Только тогда можно ценить ценность знания как общественного блага [Fuller, 2016a, ch. 1].

Кастомизация науки стала возможной так же, как и ее универсализация, а именно за счет передачи научного авторитета определенного корпуса людей, выполнявших роль гильдии, абстрактному методу, который, в принципе, мог использовать кто угодно и с какой угодно целью. Возможно, Бэкон запустил этот процесс непреднамеренно, составив план поддерживаемого государством «Дома Соломона», который должен был производить науку в качестве общественного блага. Но поскольку у Бэкона не было возможности точно определить, кто войдет в этот дом и как он будет институализирован, он на самом деле определил науку на таком уровне абстракции, который допускал много разных реализаций. Из собственных работ Бэкона можно с достаточной уверенностью вывести то, что занятия наукой считались тогда отчасти рациональной психиатрией (каковую Рене Декарт называл «правилами для руководства ума»), а отчасти судебным рассмотрением (что имелось в виду и у Карнапа в его критериях проверяемости), причем главной целью было такое решение метафизических споров, способных длиться бесконечно, которое было обязательным для всех сторон. В этом отношении научный метод должен служить общей валютой для обмена притязаниями на знание, которые в ином случае оставались бы несоизмеримыми.

Сказанное мной требует, чтобы любой метод, заслуживающий названия научного, был нейтральным по от-

ношению к тем притязаниям на знание, которые им оцениваются. С точки зрения Бэкона, содержательные цели, ради достижения которых следует применять научный метод, должны были определяться не научным сообществом, а политиками. Этот момент стоит подчеркнуть, поскольку, хотя Королевское общество обычно представляется основанным на бэконовских принципах, согласно его корпоративному уставу, оно совершенно независимо от контроля со стороны государства, в чем, возможно, отражалось скептическое отношение его основателей к политическому суверенитету, который был бы абсолютным и в то же время экспериментальным. (Здесь можно вспомнить о карьере Гоббса, который начинал в качестве личного секретаря Бэкона, а закончил персоной нон грата в Королевском обществе [Lynch, 2001].) Тем не менее логические позитивисты попытались в полной мере использовать эту бэконовскую версию нейтральности, определив различные универсальные логики — и дедуктивные, и индуктивные — эмпирической оценки. Поппер, как известно, рассматривал этот вопрос в более идеографических категориях, опираясь, в частности, на идею Бэкона о «решающем опыте», понимаемом через понятие нейтральности в суждениях, которое, в свою очередь, опирается на конструкцию окончательного испытания, и его результат должен четко разделить судьбы двух конкурирующих гипотез.

Все эти шаги к «демаркации» науки, как их называют философы, способствовали ее кастомизации, позволив людям, придерживающимся разных мировоззрений, в любой момент определять свою публичную эпистемическую позицию с прицелом на ее улучшение. Однако историю эту часто излагают под иным углом зрения, поскольку авторитетные интерпретаторы научного метода в последние 150 лет обычно подавали себя в качестве профессионального научного сообщества, а не нейтрально-

го судебного органа. В самом деле, если учесть довольно презрительное отношение Бэкона к схоластам, вряд ли он сам приветствовал бы похожие на гильдии научные дисциплины, которые в современный период перехватили контроль над наукой. Однако, с точки зрения Бэкона, искупительной чертой институциализации науки, произошедшей за последние два столетия, могла бы стать роль университетского преподавания в рассеивании эпистемического преимущества, накопленного академиками, погруженными в оригинальные исследования или же потратившими годы на углубленное обучение.

Эта институциональная инновация, связываемая с Гумбольдтом, была нацелена именно на то, чтобы позволить новому поколению исследователей войти в научную дисциплину при относительно равных правилах игры, заставив практикующих ученых публично объяснять (в учебной аудитории) то, как их собственные работы следуют «первым принципам», ставшим таковыми в педагогике их дисциплины. Я сравнивал этот процесс с шумпетерианским «созидательным разрушением» [Fuller, 2009, ch. 1]. Если говорить в более современных категориях, мы могли бы представить гумбольдтовское требование переноса исследований и академической учености в учебную аудиторию в качестве способа периодической перезагрузки эпистемического мейнфрейма академии. Перенос закрепляет ощущение *темпоральной демократии*, при которой факт позднего рождения не может быть структурным недостатком. В прошлом эта проблема решалась двумя способами: либо каждое поколение училось, повторяя классику прошлого (например, древнекитайские чиновники, которые заучивали конфуцианский корпус), либо же у конкретного индивида имелось достаточно времени, чтобы на досуге пройти заново всю историческую траекторию выбранного им исследовательского поля, прежде чем сделать какой-то ориги-

нальный вклад (случай Дарвина). Одна стратегия полностью останавливала эпистемический прогресс, тогда как другая превращала его в случайное следствие унаследованной привилегии.

В противоположность этим двум контрпродуктивным средствам развития знания, требование обкатки новых идей в студенческой аудитории позволяет спроектировать «решающий опыт» в смысле Бэкона, в ходе которого проверяется то, что можно было бы назвать, вспомнив великого французского политического теоретика послевоенного периода Бертрана де Жувенеля, их футурибельностью. Она сама представляет собой специфическую темпоральную версию того, что философ науки Нельсон Гудмен [Goodman, 1955] первоначально называл «проецируемостью», имея в виду процесс отсеивания зерен от плевел, в котором рассматривается, какие качества современных знаний стоит передать дальше, чтобы они послужили отправным пунктом для следующего поколения, а какие являются всего лишь артефактами первоначального открытия или актуальной пропаганды знаний. Следовательно, «футурибельность» может считаться способом отслеживания истины во времени.

Хотя преподавание по-прежнему выполняет роль бэконовского фильтра, по крайней мере в университетах, следующих идеалу Гумбольдта, остальная часть бэконовского научно-государственного режима в наш век протнауки все больше становится предметом критики. Научным авторитетом обычно распоряжаются институты, которые не отчитываются перед теми, кем они стремятся править. Я отношу к ним национальные академии наук и академические журналы, которые маргинализируют — если не попросту игнорируют — взгляды людей, чьи жизни подвергаются регулированию, но в то же время они ждут безусловного признания своего авторитета. Следует подчеркнуть, что этот момент относится в пер-

вую очередь к *самим ученым* и только во вторую к обществу в целом. Как могли бы легко подтвердить сторонники гомеопатии или теории разумного замысла, имеющие научные степени, те, кто развивает официальный корпус научных данных в запрещенном на уровне теории направлении, отвергаются на тех же основаниях, что и любой человек, не имеющий специального образования, но случайно наткнувшийся на подобные взгляды в Интернете, то есть первичным показателем компетенции является конформность. Это, возможно, лучшее доказательство того, что куновское [Kuhn, 1970; Кун, 1977] авторитарное представление о науке, управляемой парадигмой, по-прежнему действует. Протнаука стремится к новому балансу эпистемической власти, позволяющему исследователям выводить существенно разные заключения из фактов, которые одобрены ортодоксией в их сфере исследования, а врачам относиться к своим пациентам как к клиентам, которым нужно продать предлагаемый курс лечения, а не к машинам, которые надо просто починить.

В конечном счете, появившаяся протнаука — это продукт диалектического напряжения, присущего самому представлению о демократизированной науке, которое регулярно воспроизводится в университетском способе производства знания.

С одной стороны, университет дает студентам право самостоятельно решать, во что верить и как действовать в этом мире. Кроме того, эти права были еще больше подкреплены информационной и коммуникационной инфраструктурой, в которой проводится все более значительная часть социальной жизни. Соответственно, индивиды готовы с радостью инвестировать свои личные ресурсы и даже рисковать ими в качестве непосредственных производителей знания. Здесь становится вполне понятной роль того, что было названо «внеклассной программой»

(*co-curriculum*), представляющейся рассадником протнауки: неслучайно *Microsoft*, *Google*, *Facebook* и *Wikipedia* были изобретены в результате внеклассной деятельности университетских студентов. Возможно, сегодня университет вынашивает информационное предпринимательство точно так же, как раньше он служил рассадником революционных политических ячеек.

С другой стороны, как бы ни приветствовался такой динамизм, он заставляет университеты переутверждать свой нормативный контроль над производством знаний путем систематической проверки новых притязаний на эпистемический авторитет (будь то убеждения или технологии), а также путем определения адекватного бремени доказательства для противников со стороны протнауки и выработки нарративных контекстов, в которых интеллектуальные инновации протнауки могут пониматься и критически оцениваться теми, кто непосредственно в них не заинтересован. Другими словами, университету потребуется все больше управлять рынком. В прошлом с этим было проще, поскольку университеты в большинстве стран были в конечном счете агентами государства. (Единственным частичным исключением являются США, если учесть миссию основанных государством «университетов со льготами по землепользованию», нацеленных на практическое обучение.) Однако сегодня задача университетов состоит в том, чтобы сохранить такой авторитет, не всегда получая при этом политическую поддержку [Fuller, 2016a]. Ставки очень высоки, поскольку, если вы не управляете выходом инноваций на рынок, рынок в конце концов перестанет в вас нуждаться. Эта максима применима к академикам точно так же, как и к любой иной форме рабочей силы. Длительным контрольным тестом в этом случае можно считать то, как академики пытаются сегодня ответить на быстрое развитие Википедии.

ИНТЕРЛЮДИЯ: ВИКИПЕДИЯ — ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВО, КОТОРОЕ ХУЖЕ ЭЛИТИСТСКОЙ БОЛЕЗНИ?

Сетевая энциклопедия Википедия — наиболее впечатляющий коллективный интеллектуальный проект из всех когда-либо начинавшихся и, возможно, завершенных. Он требует внимания и, пожалуй, даже вклада любого человека, занимающегося будущим знания. Истинное значение Википедии оставалось практически незамеченным в силу той скорости, с какой она стала одним из оплотов киберпространства. Начиная со своей шестой годовщины, отмеченной в 2007 г., Википедия неизменно попадала в десятку самых посещаемых сайтов в мире, сохраняя за собой место где-то между пятой и седьмой позициями.

Википедия — энциклопедия, в которой может участвовать каждый, у кого есть хотя бы немного времени, компетенции и компьютерных навыков. Кто угодно может изменить любую статью или же добавить новую, причем результаты тут же становятся видны всем пользователям, которые могут их оспорить. «Вики» — гавайское слово, которое было официально добавлено в английский язык, оно означает то, что делается быстро, в данном случае имеются в виду изменения, вносимые в коллективный корпус знаний. К настоящему времени свой вклад в 5,5 млн статей на одном только английском языке внесли более 30 млн википедистов, то есть скорость создания составляла 650 статей в день, к тому же было создано более 1 млн статей на 11 других языках, включая вьетнамский. Кроме того, существует относительно большое основное ядро авторов: 125 тыс. википедистов, которые делали по меньшей мере по пять правок в течение любого 30-дневного периода.

Как и следовало ожидать от самоорганизуемого процесса, качество статей неровное, но оно не может счи-

таться одинаково плохим. Все зависит от интерпретаций, которые главные редакторы дают принципам редактуры Википедии, нацеленным в конечном счете на то, чтобы поддерживать сотрудничество [Tkacz, 2015]. Это означает, что темы, которым отдают предпочтение изголодавшиеся по сексу мужчины-гики, собственно, и играющие основную роль в процессе редактуры, были проработаны во всех, порой даже смущающих, подробностях, тогда как менее привлекательные материи простаивают под паром. Тем не менее в опубликованной в 2005 г. в *Nature* оценке двух энциклопедий, проведенной по сравнительно одинаково проработанным научным статьям, показано, что на каждые четыре ошибки в Википедии приходится три ошибки в «Британике». С тех пор эта разница, вероятно, еще больше сократилась. Более десятилетия назад Касс Санстейн уже отмечал, что в американских судебных решениях Википедию цитируют в 4 раза чаще, чем «Британику» [Peoples, 2010]. В настоящее время в Википедии насчитывается в 50 раз больше статей, чем в самом большом издании «Британики».

Кроме того, Википедию превозносили как вестника эпохи «Веб 2.0». Если «Веб 1.0» был сфокусирован на том, с какой легкостью можно хранить и передавать в киберпространстве огромные объемы информации, то «Веб 2.0» переключает весь этот процесс в режим интерактивности, устраняя последнюю границу, отделяющую передатчика информации от ее получателя. Конечно, с такой ситуацией мы сталкивались и ранее — на самом деле она характерна для большей части истории человечества. Действительно, как я уже отмечал, когда обсуждал избыточность информации, четкое различие между производителями и потребителями информации появилось лишь около 300 лет назад, когда типографии получили от королевской власти гарантии, поскольку стремились защититься от пиратства на быстро растущем рынке литерату-

ры. Наследник их успеха — а именно закон об авторском праве — по-прежнему мешает попыткам превратить киберпространство в свободный рынок идей, что доказывается работами американского юриста Лоуренса Лессига [Lessig, 2001].

С точки зрения протнауки политика «открытого доступа» вносит лишь косметические изменения в базовую политэкономию когнитивного доступа, то есть, в частности, в образовательные входные издержки, необходимые, чтобы понять материалы, которые теперь стали «свободно» доступными [Fuller, 2016a, ch. 3]. В то же время постепенный перенос современного права интеллектуальной собственности в номинально свободное киберпространство, вероятно, приводит к легализации прежнего пиратства, которое как раз и должно было запрещаться этим правом, поскольку чужие оригинальные творения легко узурпируются тем, кто способен упаковать их в новую обертку и выдать за свои собственные, обеспечив их присутствие в веб-поиске. Это лишь последний поворот в сфере «инфобизнеса», который правоведы начали замечать еще до изобретения *World Wide Web*, поскольку те же самые принципы обсуждались и в судебных делах, связанных с сэмплированием музыки (см., например: [Jaszi, 1994]).

Конечно, до 1700 г. было меньше читателей и писателей, но это были одни и те же люди с достаточно прямым доступом к работам друг друга. В самом деле, намного меньшая по размеру, более медленная и более фрагментированная версия сообщества википедистов появилась с развитием университетов в Европе XII–XIII вв. Большие разукрашенные рукописи раннего Средневековья сменились компактными «настольными книгами», предназначенными для более легкого касания пера. Однако страницы таких книг по-прежнему изготавливались из шкур животных, а потому текст на них можно было легко писать

поверх. В результате авторство часто было сложно определить, поскольку текст мог содержать, к примеру, скопированную лекцию, куда были вставлены комментарии самого переписчика, которые затем могли изменяться в случае, если книга попадала в другие руки. Википедия устранила многие из технических проблем, с которыми столкнулись в Средневековье. Любое изменение любой статьи автоматически порождает след, а именно страницу «История» (*History*), так что статьи могут читаться с позиции «палимпсеста», как его назвали средневековые ученые, то есть с позиции текста, который последовательно переписывался. Кроме того, страница «Обсуждение» (*Talk*) в Википедии дает множество возможностей обсудить реальные и потенциальные правки любой статьи. И, конечно, википедистам не нужно передавать друг другу физические копии своих текстов: у каждого есть виртуальная копия одного и того же текста.

Самое главное — дух Википедии остается совершенно средневековым из-за самой ее контентной политики. Эта политика Википедии заключается в трех принципах: 1) отсутствие оригинальных исследований; 2) нейтральная точка зрения; 3) верифицируемость. Принципы предназначены для людей, у которых есть много справочного материала, но которые не обладают авторитетом, позволяющим оценить то или иное притязание на знание, если для этого нужно нечто большее, нежели сверка с источниками. Именно к этому и сводилась эпистемическая позиция в Средние века, предполагавшая, что все люди равны друг перед другом, но подчинены неисповедимому Богу. Также это был период, который признавал не личные экспертные знания, а только верифицируемые источники. Самое большее, на что тогда можно было надеяться, — на хорошо сбалансированную диалектику. В Средние века эта установка привела к расцвету схоластических споров. В киберпространстве та же самая практика, кото-

рую часто уничижительно называют троллингом, остается основой контроля качества в Википедии.

Википедия воплощает демократизированное Средневековье. Основатель Википедии Джимми Уэйльс оправдал эти три принципа своей неспособностью решить, истинны ли маргинальные теории в той же физике или истории, а это значит, что он может лишь выяснить источник того или иного притязания на знание, определить уровень его обоснованности, причем и то и другое подкрепляется гиперссылками. Кроме того, такое понимание эпистемической приостановки суждения, разделяемое Уэйльсом, вероятно, в значительной мере закрепило — хотя некоторые сказали бы «искривило» — путь, выбранный коллективным сетевым производством знания в более широком плане. Так, попытка одного из первых сотрудников Википедии философа Ларри Сэнгера основать конкурирующую энциклопедию Ситизендиум (*Citizendium*), организованную на принципе профильной экспертизы, в целом провалилась, но и перспективы проекта самого Уэйльса, сервиса *Wikitribune*, отслеживающего фейковые новости, тоже не слишком радужные.

Если считать приостановку суждения, как ее понимает Уэйльс, эпистемической нормой Википедии, получается, что оптимальным академическим уровнем для участия в процессе редактуры Википедии является уровень студента. В конце концов, принятые нормы поведения студентов точно соответствуют контентной политике Википедии: ожидается, что студент сам не занимается оригинальными исследованиями, но знает, где их найти и как их обсуждать. Обязательное участие студентов в Википедии не только улучшило бы эту и так достаточно впечатляющую коллективную базу знаний, но также помогло бы охладить элитистские претензии исследователей в глобальной системе знаний. И участие в Википедии можно было бы сделать обязательным для продвинутых студен-

тов во всех странах мира. И хотя это, вероятно, повысит качество средней статьи лишь умеренно, такая мера привела бы к значительному улучшению кураторских стандартов Википедии, а она в конечном счете является тем единственным источником эпистемического авторитета, который только может быть у Википедии. Или, как я говорю собственным студентам, с какой бы статьей в Википедии вы ни работали, к ссылкам относитесь серьезнее, чем к тексту.

Несмотря на все свои бесспорные достоинства, заключающиеся в доступности, Википедия — это такое хранилище человеческих знаний, ради которого уже стоило бы изобрести понятие «второго мнения» (или мнения стороннего специалиста). В числе заслуг Википедии — страницы «Обсуждение», на которых пересказываются — во всех мрачных, если не сказать утробных, подробностях — вторые, третьи и прочие бессчетные мнения специалистов, предложенные в ответ на различные правки статей. Это, вероятно, самая точная картина скачкообразного приближения глобального роевого сознания к состоянию рефлексии, какую только может найти историк. Тем не менее результаты могут показаться странными, особенно если судить по трехчастной редакторской политике Википедии, включающей принципы нейтральности, верифицируемости и отсутствия оригинальных исследований.

Рассмотрим достаточно подробную статью о «Псевдонауке», которая разветвляется на «Список тем, относимых к псевдонауке». Если бы не заметные нестыковки, которые часто встречаются в больших статьях Википедии, мы бы никогда не догадались, что «псевдонаука» — это в основном риторический термин. Он редко используется учеными, иногда — философами, а чаще всего — самозваными защитниками и популяризаторами науки. Соответственно, здесь мы можем заметить, что мнения людей и периодических изданий, связанных с южнокалифорний-

ским «Обществом скептиков», приобрели значительный вес в обсуждениях псевдонауки в Википедии. Тем не менее, если обратиться к странице «Обсуждение», выясняется, что псевдонаука названа «важной темой в философии», что профессиональным философам науки может показаться большой новостью, ведь многие из них, а может, и большинство, считают, что это псевдотема. Даже в статье о «псевдонауке» из авторитетной «Стэнфордской философской энциклопедии», которая цитируется в Википедии, разговор быстро переходит на более общую эпистемологическую проблему обоснования убеждения, что позволяет создать видимость развития темы, хотя неуловимость заглавного предмета обсуждения все же признается.

Что касается статьи, в которой перечислены предположительные псевдонауки, все обычные подозреваемые — и прошлые, и настоящие — включены, но, кроме того, особое внимание уделяется психологии и медицине. В то же время три вероятных подозреваемых составляют зияющую лакуну в этом, в остальных отношениях весьма подробном, списке: речь идет о социальном дарвинизме, евгенике и социобиологии. В статье они не упомянуты, зато в качестве «псевдонаучных» оцениваются недарвинистские версии социальной эволюции, которые были распространены в период с XVIII по XX в. Даже в подробной, полезной и в целом симпатизирующей своему предмету статье «Евгеника» «псевдонаука» упоминается один-единственный раз и, скорее, в апологетическом ключе, а именно указывается, что некоторые люди считают «улучшение человеческой популяции» ненаучной идеей. Мы никогда бы не догадались, что евгеника и другие разновидности «селекционного» мышления в применении к человеку, такие как социобиология, считались образцовыми примерами псевдонауки в 1970-е годы, когда я, будучи студентом, впервые столкнулся с идеей «псевдонауки».

Как выясняется, мои собственные взгляды на евгенику во многом совпадают со взглядами редакторов Википедии, и читателю уже должно быть понятно, что к самой идее псевдонауки я отношусь не слишком серьезно. Тем не менее удивительно то, что евгенике здесь все легко сходит с рук, если учесть озабоченность Википедии псевдонаукой. Я предполагаю, что здесь играет роль различие в поколенческой чувствительности, то есть близость Второй мировой войны. Образованные люди моего поколения гораздо быстрее учуяли бы коварные мотивы и интеллектуальное надувательство в ориентированных на человека биологических исследованиях, а некоторые бы не ограничились эпитетом «псевдонаука» и прямо назвали ее последователей «криптонацистами». По крайней мере, удивительно то, что среди редакторов Википедии эта настороженность не обнаруживается, хотя она легко всплывает на поверхность в любом разговоре, в котором участвуют хотя бы немного информированные люди.

Однако википедистов ни в коем случае нельзя считать ленивыми. На самом деле, усердие, ранее замечавшееся в обсуждении селекционистских тем, теперь уместно в отслеживании коварных мотивов и интеллектуального надувательства в таких движениях, как теория разумного замысла, которые пытаются ввести «сверхъестественные» аргументы в методы и интерпретацию науки. Конечно, креационизм всегда был оплотом псевдонауки, поскольку он утверждал, что Библия является наиболее важным источником эпистемического авторитета, у которого есть приоритет даже перед самой передовой наукой. Тогда как теория разумного замысла стремится, напротив, внедрить библейские доводы, используя инструменты науки против общепринятого научного мнения.

Интересно, что, когда я впервые узнал о псевдонауке в 1970-х годах, идеи истеблишмента, который не следует путать с «релятивистами», «постмодернистами» и «сто-

ронниками нью-эйджа», регулярно шельмуемыми в Википедии, были вполне восприимчивы к смешению науки и религии, нацеленному на своего рода синтез в виде «гуманистического» будущего. Оба основателя неодарвинистского синтеза в биологии — Феодосий Добржанский и Джулиан Хаксли — защищали работы иезуита-еретика и палеонтолога Тейяра де Шардена, следуя именно этой линии. Однако все это произошло до резкого подъема «религиозных правых», сначала в христианской Америке, а сегодня и в том, что описывается в категориях исламского активизма. С тех пор религия стала главным врагом науки, если только ее притязание на знание нельзя четко отделить от притязаний науки. В этом друг с другом сошлись два основных публичных антагониста в интерпретации эволюционной теории конца XX в., а именно Ричард Докинз и Стивен Джей Гулд.

Редакторский подход Википедии был, судя по всему, сформирован этим относительно недавним поворотом. Когда он сочетается с выполнением норм самой Википедии, читателям может быть трудно в полной мере понять проблемы, связанные с тем или иным крайне спорным случаем «псевдонауки», таким как теория разумного замысла, если они ограничиваются внимательным чтением текста на странице статьи. В этом случае всегда нужно переходить к цитируемым источникам, страницам «Обсуждение» и выносить суждение самостоятельно. В качестве доказательства я — как активный участник спора о теории разумного замысла — могу предложить свою собственную статью в Википедии.

Нормы Википедии составляют основание для допустимой правки в минимальном смысле. Так, статья может писаться в нейтральном тоне, с верифицируемыми источниками и без оригинальных исследований, однако она может и не представлять полного спектра мнений по данной теме. Если какого-то мнения не хватает, предполагается,

что кто-то через какое-то время его представит, что часто и правда случается со временем. Кроме того, нет какого-то специального обязательства давать ясное определение критикуемой позиции, и уж точно она не освещается пропорционально публикуемой критике. В этом случае действует то же правило: защитники критикуемой стороны сами должны дать о себе знать. На практике это может приносить как хорошие результаты, так и дурные, поскольку обсуждение спорных тем способно оборачиваться редакторской войной на истощение, которая, возможно, вполне соответствует медиуму, в котором социальный дарвинизм не считается псевдонаукой! Но если серьезно, то в этом отражается действие скрытого влияния Хайека [Hayek, 1945; Хайек, 2001], послужившего первоначальным источником для Уэйльса, когда он придумывал Википедию [Schiff, 2006].

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ И БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АДЕКВАТНОГО НАУЧНОГО ОТВЕТА НА КАСТОМИЗИРОВАННУЮ НАУКУ

Было бы ошибкой считать, что у подъема кастомизированной науки не было прецедентов. Когда государство не было основным акционером науки, ученым приходилось продавать свои работы. И неслучайно, что в Великобритании внимание общества к науке, вероятно, выше, чем в любой иной научно продвинутой стране, ведь в ней пример был дан основанным в 1799 г. Королевским институтом, где работали Гемфри Дэви и Майкл Фарадей [Knight, 2006]. Это историческое наследие государственной политики невмешательства в дела науки, ставшей ответом на закрепленное в уставе Королевского общества обещание не лезть в дела государства. Кроме того, в сравнении с другими научно продвинутыми странами британские ученые лишь относительно недавно начали полагаться на устой-

чивый поток государственного финансирования, который ныне консолидируется, если не сказать иссыхает. Результатом стала исследовательская культура, которая привыкла «отрабатывать свой хлеб». Начиная с XIX в. этот императив особенно хорошо ощущали те, для кого наука была инструментом вертикальной социальной мобильности, в первую очередь Майкл Фарадей и Томас Генри Гексли, два бедных мальчика, которые по сей день определяют золотой стандарт научной коммуникации в ее соответственно доказательном и аргументативном режиме. Двигаясь в этом русле, наука до конца холодной войны, возможно, больше продавалась в качестве секулярной религии, а потому такие люди, как Фарадей и Гексли, выполняли роль священнослужителей, тогда как сегодня наука все больше продается в виде образчиков венчурного капитализма.

Однако рынок науки стал больше ориентироваться на бизнес, как только издержки научных исследований — начиная с человеческих и материальных издержек при вступлении в науку и заканчивая отсроченным влиянием на общество и окружающую среду — стали настолько высокими, что науке понадобились скорее инвесторы и акционеры, чем просто практики. Этот сдвиг в полной мере — то есть во всех областях науки — проявился после холодной войны. В этот момент наука была выброшена в незащищенную рыночную среду, в которой свойственное ей «соотношение цены и качества» уже не могло пониматься в качестве самоочевидного. В этом отношении холодная война была золотым веком научной политики, поскольку все стороны были согласны с тем, что наука нужна для нашего будущего выживания — в смысле обеспечения безопасности физических пространств, в которых мы проводим свою жизнь. Угроза ядерного холокоста поддерживала признание всеми ценности науки. Как только стали считать, что эта угроза устранена, науку пришлось продавать разным группам, каждой на ее собственных условиях. Неудивительно, что

философы в этой трансформации последовали за деньгами, а потому единое мировоззрение физики уступило место плюрализму биологии, ставшей образцовой научной дисциплиной [Dupré, 1993].

Общим результатом стало то, что науке приходится выделять все больше своих ресурсов на проактивный маркетинг, или так называемый *промаркетинг*. Это третья из трех фаз научных инициатив в области «общественного понимания науки», охватывающих период после холодной войны. Эти три фазы можно представить следующим образом.

1. Придерживаясь все той же «модели дефицита», которая обсуждалась ранее, ученые в последнее десятилетие XX в. были вынуждены составлять свои собственные пресс-релизы, чтобы общество получило ясное представление об их работе, и ему не помешало то, что сами ученые считали «журналистскими заблуждениями». Эта практика все еще работает, хотя и в несколько более сложной форме, и даже вознаграждается (пример — недавнее посвящение в рыцари Фионы Фокс[1], главы лондонского Научного медиацентра), но она уже не считается основным решением.

2. В начале нового столетия общественное понимание науки сделало решительный проспективный поворот, который часто именуется «прогностическим правлением». Американский Национальный научный фонд (а позже и ЕС) стал нанимать исследователей науки и технологий для исследований рынка, показывающих, на что люди надеялись и чего они боялись от рекламируемого Национальным научным фондом неминуемого «слияния»

[1] В британской системе титулов женщине не может быть пожаловано рыцарское достоинство, она его может приобрести только через награждение орденом. Скорее всего, автор имеет в виду награждение Фионы Фокс в 2013 г. офицерским крестом Ордена Британской империи. — *Примеч. ред.*

нано-, био-, инфо- и когнитивных наук и технологий [Barben et al., 2008]. Сценарии, предложенные фокус-группам и на вики-платформах, были достаточно спекулятивными, но ответы позволили получить ценную информацию о том, как изображать подобные шаги в науке, чтобы не отпугнуть общество. С социально-психологической точки зрения такие инициативы служили также иммунизации общества от «шока будущего», возникающего из-за неожиданных открытий. Сегодняшний научно-фантастический сценарий завтра может оказаться научным фактом, и мы, возможно, не захотим столкнуться с той общественной реакцией, которая основана, если вспомнить эвфемизм Леона Касса [Kass, 1997], «царя биоэтики» при Джордже Буше-младшем, на «мудрости отвращения».

3. Однако в постепенно формирующемся мире научного промаркетинга следует не только создавать общество, готовое принять новую науку и технологию, но также внушать людям *желание* считать инновации неотъемлемым элементом своего саморазвития. Прецедент такого проактивного маркетинга можно найти у великого психолога самоактуализации Абрахама Маслоу [Maslow, 1988; Маслоу, 2002], который к концу своей жизни, во второй половине 1960-х, предложил «теорию Z». Согласно ей люди должны связывать свою индивидуальность с отличием от других или даже с превосходством над другими, и это отличие или превосходство определяется паттернами потребления, основанными на тонком понимании различий между товарами, кажущимися на первый взгляд не такими уж разными. Когда люди заморачиваются насчет того, не содержится ли в продуктах питания генетически модифицированных компонентов и не была ли их одежда произведена на потогонных предприятиях в странах третьего мира, мы наблюдаем «теорию Z» в действии. Паттерны потребления таких людей, как сказал бы Торстейн Веблен, «демонстративны», однако в данном случае задача

показать не то, насколько они богаты, а то, насколько они умны. (Для такого класса потребителей Маслоу использовал эвфемизм «трансцендеры».) Конечно, в долгосрочной перспективе таким людям можно доказать, что их обманывали ложным представлением о том, как работает мир, которое заставляло их платить завышенную цену за товары, однако пока их расходы подкрепляют само это представление, не говоря уже о капиталистической экономике в целом.

«Теория Z» Маслоу предлагает науке промаркетинговое решение проблемы, как увеличить личные и материальные инвестиции общества в науку, не ожидая того, что граждане станут профессиональными учеными или хотя бы согласятся с ними. Короче говоря, *как наука может создать свою клиентскую базу*? Даже сегодня эффект кампаний по общественной пропаганде науки часто меряют количеством абитуриентов, подавших документы на программы научного образования, несмотря на то что многим, если не всем ученым, и особенно физикам, выгоднее было бы получить поменьше абитуриентов и побольше финансирования, чтобы у них было время, место и материалы, необходимые для решения давно назревших теоретических вопросов, для которых сегодня построено слишком много альтернативных моделей [Smolin, 2006]. К этому мы могли бы, разозлив, наверное, профессиональных ученых еще больше, добавить то, что люди должны внедрять науку в свою повседневную жизнь, в том числе в виде *метафорических* расширений базовых научных понятий и открытий. В истории современных рыночных исследований Маслоу приписывается особая заслуга — он показал, что любители нью-эйджа, вроде бы совершенно не от мира сего, с небольшим числом традиционных обязательств, но с достаточным доходом и весьма тонкими вкусами, смогли стать источником постоянной прибыли для бизнеса, породив в более позднее время маркетинговую

стратегию «длинного хвоста» [Anderson, 2006; Андерсон, 2012]. Возможно, пришло время для самой науки обналичить себя, даже если это означает окучивание людей, которые в обычном случае вызывают у ученых лишь раздражение. Далее следует предложение в этом стиле.

Рассмотрим Брайана Кокса, популистского преемника Карла Сагана, ставшего сегодня телевизионным лицом британской космологии. Некоторые из его подписчиков в *Twitter*, коих набралось один, а потом и три миллиона, несколько лет назад попытались заполонить физический факультет в его родном институте — Манчестерском университете. В свободное от съемок или работы в *CERN* время Кокс активно лоббирует увеличение финансирования физики [Jeffries, 2011]. Однако эти сферы деятельности не обязательно разводить. На телевидении Кокс заигрывает с темами в стиле нью-эйдж, например, намекает на то, что астрология на ранних этапах сформировала способность людей представлять вещи, происходившие в далеких местах и в давние времена, но при этом способные прямо влиять на формирование и занятия людей, что стало основанием для научного поиска «грандиозной единой теории». Раз так, почему бы не объединить усилия с врачом и автором бестселлеров из Сан-Диего Дипаком Чопрой [Choprah, 1989], который продвигает «квантовую медицину» в качестве персонализированной версии этого общего взгляда на мир? Конечно, Чопру критиковали именно за то, что он практиковал «науку карго-культа», как ее назвал физик Ричард Фейнман [Feynman, 1974; Фейнман, 2015], ссылаясь на островитян Южной части Тихого океана, которые во время и после Второй мировой войны строили полноразмерные картонные копии самолетов, доставлявших им продовольствие и припасы из США и Японии, вероятно, для того, чтобы самолеты продолжали прилетать. По аналогии защитники «квантового лечения» тоже вводят себя в заблуждение, полагая, что, становясь

поклонниками квантовой механики или просто рассуждая о ней, они уже поправляют свое здоровье, словно бы идеи из этого подраздела физики имели непосредственное значение для медицины.

Разумеется, в таком неблагосклонном изложении притязания на знание, сделанные в интересах квантовой медицины, представляются весьма сомнительными. Однако, если допустить некоторую долю герменевтической благожелательности, можно разглядеть непрямой путь к связям такого рода, что Чопра желает установить между физикой и медициной, благодаря, скажем, теории «квантовой декогеренции». Ее предложил физик и математик Роджер Пенроуз [Penrose, 1989; Пенроуз, 2003], и она должна была объяснить сознание как квантовые эффекты, возможные благодаря размеру и структуре нейронных путей в мозге. Хотя эта теория остается совершенно спекулятивной, она привлекла внимание других профессиональных ученых, заинтересованных перспективами духовной жизни в рамках современной физической космологии [Kauffman, 2008, ch. 13].

Кастомизация науки поощряет такой именно тип нетрадиционного построения теории, который в конечном счете способен объединить сторонников Кокса и Чопры общей задачей, первоначально ими не замеченной. Однако такие шаги будут предприняты только тогда, когда более традиционные сторонники науки отдадут приоритет *продвижению* науки, а не только ее *защите*. Что касается самого Чопры, то, несмотря на суровую критику, предметом которой становились его работы на протяжении последних 25 лет, он сумел привлечь и вполне респектабельных в научном смысле соавторов, в том числе Рудольфа Танци, знаменитого гарвардского невролога, специализирующегося на болезни Альцгеймера. Вместе они рассказывали о скрытых возможностях мозга [Chopra, Tanzi, 2012].

В мире, в котором даже ученые, как и те, кто ими не являются, оказываются в первую очередь заказчиками, а

не производителями науки, правильную установку по отношению к предложенному «знанию» занимает «покупатель» (*shopper*). Шопинг — деятельность, которая обычно не заслуживает эпистемического уважения, однако необходимые для нее навыки равны радикально демократизированному варианту знаточества. Шопинг не ограничивается модой, поскольку требует думать о том, подходит ли продаваемый товар личности покупателя. Действительно, мы, как правило, недооцениваем то обратное воздействие, которое обычные покупатели оказывают на моду. Мы примериваем одежду или проводим тест-драйв для автомобиля, прежде чем его купить. И даже если мы покупаем данный товар, потом подгоняем его под себя, тогда как он подгоняет под себя нас. «Кастомизация науки» — это просто еще один шаг в этом направлении.

В британском английском слово «шопинг» имеет еще одно интересное значение, которое позволяет акцентировать тот его смысл, который я отстаиваю. Если вы кого-то «шопите» (*shop*), это значит, что вы стучите властям на этого человека, например, когда вам удалось втереться к нему в доверие, и он признался вам в чем-то криминальном. Этот смысл близок к глубокой итальянской поговорке «*Traduttore — traditore*», о которой я узнал в студенческие годы, когда в моде был Жак Деррида: «Переводить значит предавать». Хотя часто она понимается в качестве рекомендации оставить надежду на адекватный перевод, лучше понимать ее как формулу превращения двойного отрицания в утверждение: вы создаете впечатление, что время, потраченное на изучение какого-то технического предмета или чьей-то мысли, нужно для того, чтобы последовать ей, но на практике вы намереваетесь ее превзойти либо путем прямого ее оспаривания, либо за счет ее креативного, но некорректного присвоения [Bloom, 1973; Блум, 1998]. Как только вы освоите эту предательскую установку, вы будете готовы жить в ситуации постистины.

Глава 6
Эффективность политики и науки на игровом поле времени

ВЕБЕРОВСКАЯ ДИАЛЕКТИКА: МЕСТО ВСТРЕЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Представление о том, что наука и политика метафизически чем-то различаются, помогло сохранить отличие политически ориентированных дисциплин, в частности политологии и теории международных отношений, от реальной политики. Макс Вебер существенно повлиял на понимание этого вопроса, когда около столетия назад выступил с парой лекций перед университетскими студентами в Мюнхене: «Наука как призвание и профессия» (1917) и «Политика как призвание и профессия» (1919). Вебер считал, что наука — «ценностно-рациональная» (*wertrational*), а политика — «целерациональная» (*zweckrational*) деятельность. Конечно, он сам отмечал, что говорит об «идеальных типах» ученого и политика, но мы вполне могли бы, не слишком погрешив против истины, считать их стереотипами.

Ученый принципиален в своем поиске истины, цель которого ему знать не обязательно. Он «реалист» в специфическом посткантианском смысле этого слова, поскольку считает себя отвечающим перед стандартом, который

он в конечном счете не контролирует. Такое понимание «независимой от разума» реальности является секулярным остатком трансцендентного авраамического божества. Следовательно, конечная истинность притязаний на знание родственна Страшному суду, на котором Бог подводит итог нашей жизни. Тогда как метод в науке функционирует аналогично моральным кодексам в религиях — не в качестве надежных формул спасения, но как эвристики, ценность которых всегда доказывается косвенно. (Неудивительно, наверное, и то, что термин «эвристика», а также термин «ученый» — *scientist* — как наименование профессии, придумал в XIX в. Уильям Уэвелл, уникальным образом соединивший в себе ученого и теолога.) Философия науки Поппера основана, очевидно, на этой идее, то есть на том, что положительный исход эксперимента не является однозначным подтверждением гипотезы, скорее, ему просто не удается ее фальсифицировать. Следовательно, ученый получает разрешение развивать такую гипотезу, которая по прошествии значительного времени может оказаться лишь веревкой, длины которой будет достаточно, чтобы повеситься.

Политик же следует принципу «цель оправдывает средства», из-за чего у наблюдателей может создаться впечатление, будто политик беспринципен, даже бессовестен в своих отношениях с другими. Однако политик желает, чтобы остальные видели, что он настолько убежден в правоте свой позиции, что сделает все возможное, лишь бы ее реализовать. Сама демонстрация этой убежденности уже должна привлечь достаточно последователей, чтобы осуществить свои идеи на практике, пусть даже в режиме самоосуществляемого пророчества. В этом легко увидеть «антиреалистическую» позицию в том смысле, который ассоциируется с «конструктивизмом» и «децизионизмом» в различных разделах философии XX в., начиная с математической логики и заканчивая теорией права,

которые в равной мере занимаются природой *нормативности* [Turner, 2010]. В отличие от ученого, стремящегося создать ясную картину реальности, которая продолжает существовать даже в том случае, если ему не удается правильно ее представить, политик активно участвует в производстве той реальности, которая ему нужна, то есть той, которую другие, по его мнению, должны считать тем, что без его вмешательства не состоялось бы. Такой порядок действий отображает то, что Вебер назвал политической харизмой.

Вебер выделил на самом деле не два разных мировоззрения, а два ортогональных способа рассмотрения одного и того же мира. Иными словами, «реализм» и «антиреализм» должны считаться не противоположными позициями, но одной и той же, рассмотренной под разными углами зрения. Здесь я могу опереться на поздние работы оксфордского метафизика Майкла Даммита [Dummett, 1978], который, как известно, построил свою философию на представлении о том, что реализм и антиреализм расходятся в вопросе «определенности» истины и ложности. Реалисты считают, что истина или ложность действительно является фактическим положением дел независимо от того, известно оно нам или нет. В этом смысле высказывание всегда является «определенно» истинным или ложным. И наоборот, антиреалисты отрицают существование такого фактического положения дел, пока мы о нем не узнаем, или, по крайней мере, пока у нас не будет процедуры, позволяющей нам узнать о нем. В этом смысле высказывание является «неопределенно» истинным или ложным, пока мы не найдем какого-то способа решить этот вопрос.

Возможно, понятнее всего это различие точек зрения, которое, несомненно, привлекало и логических позитивистов, и попперианцев, можно описать, сказав, что реалисты начинают с существования семантически замкнутого

языка, в котором каждое грамматически верное предложение всегда уже является либо истинным, либо ложным, каковой факт определяется соответствием реальности за пределами данного языка. И наоборот, антиреалисты начинают с логически предшествующей стадии, на которой надо выбрать, какой язык использовать. Эта «металингвистическая» позиция сводится в конечном счете к вопросу «конвенции», а потому предполагает свободный выбор того, как мир должен разбиваться внутри себя семантически, и только тогда, когда такое решение принято, начинает действовать различие между языком и реальностью. Современная версия этого противопоставления, подходящая для поколения, выросшего на «Матрице», обнаруживается в призыве Дугласа Рашкоффа [Rushkoff, 2010] «Программируй или запрограммируют тебя!». Первый вариант отражает антиреалистическую, а второй — реалистическую позицию.

Кун [Kuhn, 1970; Кун, 1977] дал известную характеристику реалистического подхода, которая в большей степени соответствовала науке и больше понравилась позитивистам (опубликовавшим книгу Куна в качестве последнего раздела собственной энциклопедии), чем попперианцам [Fuller, 2000, ch. 6]. Реализм науки зависит не только от того, что ученые устанавливают для себя теоретический язык, перед которым соглашаются держать ответ, но и от того, что они устанавливают для себя *один и тот же* язык такого рода. Это само по себе говорит об авторитарном характере «парадигмы», которая поддерживается режимом стандартного обучения и коллегиального рецензирования. Кун размышлял об относительно коротком периоде, понадобившемся научному сообществу, чтобы объединиться вокруг предложенной Ньютоном системы мира. Этот процесс был ускорен принятием устава Лондонского королевского общества, который запрещал заниматься вопросами, связанными с полити-

кой, религией и моралью. Это должно было минимизировать смертельно опасные шатания, вызванные протестантской Реформацией, во время которой как раз и началась так называемая научная революция. (Если говорить в категориях предыдущего абзаца, Реформация представляла собой предельную «металингвистическую» игру.) Попперианцы, напротив, считали идею Куна чрезмерной реакцией, полагая, что многие исследовательские программы, риторически представленные в виде более скромных версий парадигм, должны процветать, пока каждая осуществляется со всей методологической строгостью, сводимой к «принципу фальсифицируемости». В этом случае внешние наблюдатели могут делать свои выводы касательно собственных инвестиций, лояльностей и действий, основываясь на истории успехов различных исследовательских программ.

Более поздние представители аналитической философии, которые обычно отличались большей схоластичностью, чем попперианцы или даже позитивисты, обнаружили, что их предшественников сложно отнести к реалистам или антиреалистам, поскольку обычно они занимали то одну точку зрения, то другую. Особенно ясно это выражено в той двусмысленной роли, которую *гипотеза* играла у позитивистов и у Поппера: «гипотеза» выступает свободно выбранным принципом ориентации научного исследования (это антиреалистическая позиция) и в то же время проверяемым заявлением о реальности, существующей за пределами исследования (реалистическая позиция). В данном случае не стоит недооценивать значение гештальтпсихологии или, по крайней мере, «переключения гештальта» как ориентиров всей этой линии мысли. (Поппер сам был студентом Карла Бюлера, одного из первых гештальтпсихологов.) В самом деле, подверженность ошибкам является оборотной стороной свободы, и в этом смысле реализм и антиреализм неразделимы [Fuller, 2015, ch. 4].

Но, помимо этих вопросов философского самопозиционирования, различие в точке зрения, представленное реализмом и антиреализмом, помогает также объяснить важную разницу в подходах ученых и политиков, а именно непреклонность первых и гибкость вторых. С логической точки зрения, политики находятся на метауровне по отношению к ученым, что в каком-то смысле позволяет понять данное Бисмарком определение политики как искусства возможного. Говоря иначе, если вы контролируете саму рамку действия, вы контролируете и игру. В 1860-е годы об этом говорили как о «пространстве маневра» (*Spielraum*), которое умелый политик пытается расширить за счет противников. В 1960-е годы было принято говорить о «сути игры». Однако утешительным призом для проигравших может стать наука, которая стремится раскрыть правила игры, предположительно в надежде на то, что в будущем это позволит кому-то стать *magister ludi*, мастером игры. Это мастерство сводится к использованию науки для приобретения политических компетенций; нечто подобное людям, живущим в симулированном мире «Матрицы», должна была дать красная таблетка.

По словам Платона, для достижения сравнимых компетенций нужно было провести несколько десятилетий в его Академии. Однако, с точки зрения юриста Фрэнсиса Бэкона, общепризнанного основателя современного научного метода, такое знание можно приобрести путем «экспериментального» изучения природы, которое он сравнивал с тем, как инквизитор обращается со свидетелем стороны противника: и природа, и свидетель должны оказаться в ненормальных условиях (первоначальное значение термина «эксперимент» было близко к «крайнему опыту»), поскольку ни та, ни другой не склонны выдавать свои секреты, ведь это лишило бы их власти над расследователем, причем Бэкон и природе, и свидетелю приписывал женский облик [Fuller, 2017a]. Основная идея здесь

в том, что различные формы пыток позволяют получить разные ответы, но только инквизитор может определить, какой из них истинен. Конечно, если говорить в строго теологических категориях, и «наука», и «политика» в этом смысле — это такие формы деятельности, которые легко обвинить в богохульстве, поскольку они стремятся в чем-то уподобиться Богу. С одной стороны, ученые идут по стопам Бэкона в своем агрессивном расследовании реальной сущности Бога, снимая земные покровы божества, известные под именем «природа», а с другой — такие политики, как Бисмарк, попросту пытаются приблизиться к способности Бога создавать альтернативные планы действий, выбор одного из которых должен в идеальном случае сдержать противников.

Однако и в более демократической политической среде правит все равно *Spielraum*. Поппер [Popper, 1957; Поппер, 1993] вернул эту идею на землю, представив ее в качестве «логики ситуации», тогда как Вебер попытался сформулировать понятие «объективной рациональности», которое должно было выступать научным коррелятом *Spielraum*, соотносимым с его знаменитым понятием *Verstehen* («понимания») [Turner, Factor, 1994, ch. 6; Neumann, 2006]. Из этого следует такая идея *Realpolitik*, которая концептуализирует политику в качестве деятельности, нацеленной на конструирование реальности, то есть конкурентного поля, где возможности расширяются и сокращаются вследствие эмерджентного эффекта действий, совершаемых соответствующими игроками [Bew, 2016]. В таком случае именование игры заставляет противника играть по вашим правилам, что позволяет расширить ваше собственное пространство маневра. В современном мире партийные формы борьбы, характерные для современных парламентских демократий, ближе всего к формализации этого порядка действий в рамках национальных государств. На международном уровне сравнимое поле

игры определяется более двусмысленно, однако «баланс сил» между разными странами — стратегия, которая активно отстаивалась Бисмарком, — выражает смысл равновесия, к которому в идеале стремится эта ситуация, по сути своей анархическая.

МОДАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ТОНКОЕ ИСКУССТВО РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОГО

Ставкой и политики, и науки, центральной для самой идеи *Spielraum*, является то, что я назвал модальной властью [Fuller, 2017b]. Модальная власть состоит в способности решать, что возможно, а что нет. Это основа авторитета царя-философа в «Государстве» Платона. Он обладает особыми алхимическими умениями, позволяющими превращать политику в науку, претворяя свою собственную волю в закон, имеющий обязательное значение для других, а также, возможно, и для него самого. Часто ключевым компонентом этой алхимии оказывается веберианская харизма. То, что с точки зрения царя-философа является лишь одной возможностью из многих, а именно реализованной им, становится необходимым условием действия его подданных. Именно по этой причине драматурги, которые забавы ради создают альтернативные возможные миры, в платоновском государстве становятся врагом номер один, ведь хорошо поставленные пьесы могут сбить зрителей с толку, так что они перестанут понимать, что в обществе дозволено, а что — нет. Соответственно, Аристотель, в какой-то мере чтобы успокоить учителя, выдвинул влиятельный тезис о том, что хорошо поставленная драма должна приходить к развязке всех сюжетных линий, ясно показывая тем самым, что увиденное зрителями на сцене является исключительно вымыслом, который не должен сохраняться за пределами театра.

Он пошел еще дальше и изобрел понятие контингентности (*endechomenon*), выражающее идею о том, что утверждения о будущем не являются до наступления самого этого будущего истинными или ложными, но они станут истинными или ложными в зависимости от того, что произойдет. Однако это понятие, призванное верно отображать наш опыт будущего, обходит вопрос о том, кто контролирует спектр возможного, в рамках которого нечто в конечном счете случается или не случается. Похоже, что интеллектуальная цена, которую Аристотель был готов заплатить за утверждение строгого различия факта и вымысла, заключалась в отказе от идеи ответственности власти, а потому он изобразил будущее в качестве чего-то по сути своей неопределенного в противоположность прошлому. Соответственно, в итоге его концепция возможности обращается к доагентному понятию потенции (*dynamos*), ставшему основанием для современного понятия энергии и в то же время для его устранения из царства ответственности.

Одним из первых оппонентов Аристотеля по этому вопросу был александрийский философ Диодор Крон, представлявшийся верным последователем Платона, хотя сегодня он считается ранним стоиком и одним из античных предшественников модальной логики. Он доказывал, что будущее либо невозможно, либо необходимо, учитывая то, что будущее кажется неопределенным только потому, что мы не знаем, будет ли оно разыгрываться по тем же правилам игры, которые мы используем сегодня. Так, определенная картина будущего может показаться невозможной, если мы не знаем правил, которые могли бы сделать ее возможной, но та же самая картина точно может показаться необходимой, если мы думаем, что знаем правила. Диодор предполагал, что различие между двумя этими противоположными суждениями о будущем зависит от того, считаем ли мы, что правила игры с течением време-

ни *не изменятся*. Однако «необходимое» суждение может основываться на нашей мысли о том, что мы знаем, что действовать будет *специфически иной* набор правил, а потому мы обязываемся играть по ним еще до их формального утверждения.

Эта рискованная модальная стратегия, лежащая в основе, к примеру, пари Паскаля, в котором делается ставка на бытие Бога, и самоисполняющимся пророчеством, является «перформативной» в том широком смысле, получившем популярность после многочисленных творческих переработок теории речевых актов Джона Остина, которые в последние 30 лет были предложены многими авторами, начиная с Джудит Батлер, которая применила ее к гендеру, и заканчивая Мишелем Каллоном, занимающимся экономикой. Во всех этих довольно разных случаях мы действуем, «как если бы» желаемый режим был уже введен в строй, чтобы он действительно мог вступить в действие. Сам Остин [Austin, 1962; Остин, 1999] считал, что такая способность превращать возможное в действительное внутренне присуща семантике естественных языков. Его собственные примеры обычно берутся из квазиюридических контекстов, таких как обещание, в которых определенный моральный режим получает воплощение в реальности за счет одного-единственного высказывания.

Теологическим ориентиром такого понимания власти языка является, разумеется, авраамическая концепция божества, создающего вещи путем их произнесения (*logos*). Но также его можно обнаружить в различных философских концепциях самозаконодательства начиная со стоиков и заканчивая Кантом. В этом случае те, кто актуализирует возможное, являются сознающими себя конечными существами, обладающими моральной психологией, требующей сохранять стойкость в условиях враждебного окружения. «Упорство», любимое слово Баруха Спинозы, Гоббса и пуритан-основателей Америки, описыва-

ло эту установку, но сегодня более подходит «гибкость». Во всех этих выражениях сохраняется, хотя и во все более секулярной версии, исходный смысл «верности», предполагающей безусловную лояльность, присутствующую и в христианском значении «веры» (*faith*), слова, которое само происходит от латинского *fides*, означающего должное отношение солдата к командиру в римской армии [Fuller, 1988, ch. 2].

Юн Эльстер [Elster, 1979; 2000] предложил интересную интерпретацию всей этой установки по отношению к миру, определив ее в утилитаристских (в широком смысле) терминах как «предварительное обязательство», в котором человек свободно принимает решение действовать так, словно бы мир управлялся каким-то альтернативным образом, чтобы получить соответствующие выгоды. Вероятно, именно такой была стратегия Галилея, когда он выносил фактические суждения на основе применения телескопа, хотя методология оценки телескопических наблюдений к тому моменту еще не была установлена. Таким образом, в момент папского расследования Галилея небезосновательно считали казуистом [Feyerabend, 1975; Фейерабенд, 2007]. Хотя Галилей предполагал (совершенно верно), что оптика телескопа со временем сможет получить подтверждение, его личный телескоп был в лучшем случае несколько усовершенствованной игрушкой, расширение возможностей которой основывалось на чисто спекулятивном понимании этого устройства. Неудивительно, что Галилей не смог произвести на инквизиторов впечатление условиями, на которых он сам выдвигал свои притязания на знания. Тем не менее его действия помогли вдохновить других играть по предложенным им правилам, а потому мы говорим, что он выиграл спор посмертно. Чтобы это произошло, следовало довести развитие ремесла и оптики телескопа до такого уровня, чтобы открыть горизонт возможностей, который был намечен Галилеем.

Различие между Аристотелем и Диодором, на которое я только что ссылался, позволяет выделить более общее качество попыток человечества разобраться с рациональностью в ее одновременно политической и научной разновидностях. Возможно, наиболее важное метафизическое различие между силлогистической логикой Аристотеля и современной символической логикой в том, что первая полагает, что истинностные значения определенных высказываний уже известны, тогда как последняя, более отвечающая принципам Диодора, предполагает лишь знание условий, при которых такие высказывания могли бы быть истинными, и того, что могло бы из них следовать. Проще всего это понять, если обратить внимание на то, что силлогизмы Аристотеля обычно выражаются в виде цепочки утверждений (например, «Все люди смертны. Сократ — человек, следовательно, Сократ смертен»), тогда как символическая логика переписывает тот же набор высказываний в гипотетическом модусе, который безразличен к истинностному значению каждого высказывания (например, «если p, то q, p, q»).

Такая смена подхода подводит нас к установке постистины. Она полагает актуальный мир в качестве всего лишь одного из множества возможных миров, каждый из которых мог бы при подходящих условиях сбыться. В языке символической логики спектр этих возможных миров выражается в виде системы алгебраических уравнений, которые надо решить одновременно. Когда экономисты говорят о «совместной максимизации» различных желаемых свойств, они придерживаются именно такого подхода. Каждое такое уравнение состоит из «переменных» (например, p и q), которые связаны «функцией», каковая является свойством, которым мог бы обладать возможный мир. В этом случае «значения», принимаемые переменными, определяют состояние этого мира. Короче говоря, тот, кто определяет термины уравнения, определяет и

структуру мира. Или, как говорил наиболее влиятельный аналитический философ второй половины XX в. Уиллард Куайн, «быть значит быть значением переменной».

Основной момент этой точки зрения, свойственный современной научной и политической рациональности, состоит в том, что реальность — это то, о чем принимается решение, а не нечто данное. Когда Бог принимает решение, результатом становятся наилучшие возможные принципы упорядочивания универсума; когда же решение принимают люди, результат — не более чем рискованная гипотеза, которая может быть фальсифицирована последующими событиями. Такой способ рассмотрения вещей в конечном счете определяется *теодицеей*, разновидностью теологии, занимающейся объяснением и оправданием того, как совершенное божество могло создать мир, кажущийся настолько несовершенным. Основная идея заключается в том, что божественное суждение в конечном счете нацелено на гармоничное уравновешивание противоборствующих сил, оптимальное соотношение которых оценивается только по итогам процесса. Хотя в разуме Бога как логике творения (или *logos*) подобная гармонизация достигается мгновенно, у людей она растягивается на определенное время, причем политика и наука действуют в качестве альтернативных горизонтов понимания этого процесса, понимания, возможно, подверженного ошибкам или же допускающего исправления, но в любом случае влекущего немалый ущерб. Этот общий модус рассуждения — вместе со всеми связанными с ним моральными мучениями — обычно связывают с Лейбницем, который в 1710 г. придумал термин «теодицея», но сама эта идея вскоре была высмеяна Вольтером в «Кандиде», который вывел Лейбница под именем Панглосса. Однако теодицея вскоре была воскрешена и историзирована в гегелевской диалектической философии истории, в которой каждый момент оптимальности, представляющийся тако-

вым с человеческой точки зрения, оказывается всего лишь временным, выступая основой для его последующего смещения [Elster, 1978].

«КАК ЕСЛИ БЫ»: ПОЛИТИКА И НАУКА О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ФАКТОМ И ВЫМЫСЛОМ

Особой формулировкой актуализации возможного «как если бы», представляющей собой перформативное выражение модальной власти, мы обязаны Гансу Файхингеру, о котором мы уже говорили в главе 2. Он построил целую философию на этом выражении (*als ob*), которое Кант часто использовал для обсуждения нашего отношения к реальности [Vaihinger, 1924]. Файхингер жил во времена, когда различие факта и вымысла, которое стараниями Платона намертво отпечаталось в западном сознании, оказалось под ударом. Файхингер, подобно Марксу и Ницше до него, испытал на себе сильнейшее влияние демистифицирующих интерпретаций Библии, предложенных «историко-критической» школой теологов, которые склонялись к тому, чтобы рассматривать Иисуса в качестве «символа», а не божества. Такому стиранию границы между фактом и вымыслом способствовали и две другие секулярные тенденции конца XIX в. Первой был подъем «конвенционализма» в математике и физике, который позволил постулировать недоказуемые утверждения, если они порождали логически связную систему мира, которая, в свою очередь, могла бы моделировать функционирование нашего собственного мира. Именно так была изобретена «неевклидова геометрия», которая лишь позднее стала математическим аппаратом революции в физике, произведенной Эйнштейном. Второй стало развитие натуралистического, или, как говорил Эмиль Золя, «экспериментального», романа, во всех подробностях отыгрывавшего различные версии, придуманные со-

циальными реформаторами, и способного порой засвидетельствовать происходящее в тех частях общества, для которых не существовало никакой официальной документации. Вольф Лепенис [Lepenies, 1988] показал, что этот процесс оказал воздействие на стиль академической социологии, застолбившей участок между «литературой и наукой».

Во всех этих случаях «как если бы» интересно общее недоверие к самоудостоверяемому характеру официальных летописей и данных, закодированных в библейских изречениях, геометрических аксиомах или же национальной статистике. За реализмом текста всегда скрывается «ирреализм» воли, которая претворяет их в жизнь [Goodman, 1978; Гудмен, 2001]. В этом контексте «ирреальное» должно пониматься в том же смысле, что и «иррациональное» в математике: иррациональные числа вроде бы существуют, однако их нельзя выразить в виде отношения двух целых чисел, которые обычно используются для подсчета и измерения. Возможно, наиболее известное из таких чисел — это π («пи», то есть отношение длины окружности к ее диаметру). Говоря в целом, такие числа являются «трансцендентальными», поскольку не могут быть точно определены, а это значит, что они в каком-то смысле уклоняются от нормального способа производства и упорядочивания математических объектов. Многие важные споры в математике XIX в. были сосредоточены на том, существуют ли в самом деле такие числа, причем второстепенные роли в этой драме сыграли основатели современной аналитической и континентальной философии — Готлоб Фреге и Эдмунд Гуссерль [Collins, 1998, ch. 13; Коллинз, 2002, гл. 13). Ставкой споров было существование «метаматематической» сферы, несоизмеримой с нормальным порядком математических сущностей, но в то же время необходимой, а может быть, и отвечающей за существование самих этих сущностей.

В конечном счете, математическое сообщество в целом согласилось с тем, что такая метаматематическая область действительно необходима для объяснения обычных математических сущностей. Идеи, которые сегодня связываются с двумя теоремами Курта Геделя о неполноте, вытекают из этого согласия. Однако Файхингер с самого начала понял, что такой модус мышления может применяться гораздо шире, в том числе и в праве. Два наиболее влиятельных движения юриспруденции XX в. — *правовой позитивизм* и *правовой реализм* — можно понимать в качестве развития двух дополняющих друг друга качеств подхода «как если бы». Если говорить в категориях различия политики и науки, первый отображает полюс политики, а второй — науки.

Правовой позитивизм подхватил то, что Файхингер называл вымыслами, которые он понимал в качестве практических интерпретаций трансцендентального способа философствования самого Канта. Так, с точки зрения правового позитивиста, легитимность определенных законов покоится на их выводимости из того, что Ганс Кельзен называл *Grundnorm*, основной нормой, которая может интерпретироваться как декалог, конституция или общественный договор в зависимости от единицы политической власти. *Grundnorm* сама по себе «необходима», поскольку без нее ни один другой закон не может достичь «легитимности» [Turner, 2010, ch. 3]. Такой «антиреалистический» взгляд рассматривает правовую систему с точки зрения законодателя, который, будучи абсолютным правителем, суверенным парламентом или общей волей, обладает властью превращать любое свое высказывание в закон. И наоборот, правовой реалист работает в рамках системы и рассматривает подобные законодательные высказывания и различные законодательные акты и интерпретации как гипотезы, нуждащиеся еще в проверке на предмет их воздействия на население, к которым они

применяются. Соответственно, правовой реализм начиная с его первых версий, созданных в США в начале XX в., и заканчивая «социологической юриспруденцией» Оливера Уэнделла Холмса-младшего и Роско Паунда, связывался с «судебным активизмом», поскольку его сторонники при каждом удобном случае прямо заявляют, что определенные законы просто не работают или же должны быть существенно пересмотрены, чтобы можно было осуществить реформу, соответствующую духу прогрессивного движения Америки начала XX в. [White, 1949, ch. 5–7].

Стоит отметить, что правовой позитивизм и правовой реализм часто считаются «ревизионистскими» подходами к праву, поскольку практикующие юристы, включая судей, обычно не работают с настолько абстрактными смыслами властной динамики, задействованной в поддержании целостности права как закрытой системы. В этом отношении две эти школы юриспруденции — хотя на первый взгляд и кажется, что их подходы разнятся — работают в горизонте «постистины», который предполагает то, что Поль Рикер [Ricoeur, 1970] удачно окрестил «герменевтикой подозрения», обращающегося на вроде бы давно устоявшиеся и бесспорные вопросы права. Это опять же напоминает об исходном духе файхингеровской философии «как если бы», хотя в этом случае *обе* стороны в «Матрице» принимают красную таблетку.

До сих пор обсуждение «фикционалистского» взгляда на право велось с точки зрения правовой системы одного-единственного государства. Но изменится ли каким-то образом ситуация, если расширить предмет рассмотрения до межгосударственной системы? Этот вопрос, по всей видимости, стал основной практической и в то же время философской проблемой современных исследований международных отношений, особенно когда стало ясно, что есть убедительные политические причины включить в число жителей и «граждан» государства намного более

широкий круг людей, чем предполагалось идеалом «национального государства», сформированным в XIX в. Это признание неустранимой искусственности понятия «государство» позволило Кельзену легко масштабировать свои идеи до международного уровня, а потому он сыграл роль важного консультанта в процессе создания и Лиги наций, и ООН. В этих случаях его основная цель заключалась в том, чтобы выстроить нейтральную процедуру для вынесения решений по конкурирующим нормативным тезисам, то есть создать *Grundnorm* высокого уровня, которая могла бы служить правилом универсальной игры. В такую игру были бы приглашены все государства и благодаря ей можно было бы приходить к определенному выводу по любому делу, вынесенному на суд. Международный суд ООН остается наследием этой линии мысли.

Однако главным врагом Кельзена был его современник — веймарский юрист, а позже апологет нацизма Карл Шмитт, который разделял тот же фикционалистский подход к праву, но отрицал легитимность любого масштабирования с внутригосударственных отношений до межгосударственных, поскольку это означало бы отказ, по крайней мере частичный, от государственного суверенитета, неизменно попираемого в таком случае ради интересов какой-нибудь страны или группы стран. И хотя сегодня проще занять сторону Кельзена, а не Шмитта, учитывая политические решения, которые каждый из них принял за свою долгую жизнь, стоит обратить внимание на то, что аргументы Шмитта в целом вторили исходному скепсису Макса Вебера относительно обращения к «человечеству» или «правам человека» в международном праве. В последние годы этот подход был взят на вооружение теоретиками, занимающимися народами, которыми традиционно пренебрегали и которые ощущали, что так называемые универсалистские концепции международного права на деле их игнорируют [Bernstorff, Dunlap, 2010].

КВАНТОВАЯ ПРИРОДА МОДАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Наша неспособность замечать модальную власть означает, что обычно у нас достаточно однобокое представление о том, как работает история. Например, много разговоров было о прогностических ошибках марксизма начиная с ошибки самого Маркса, который не смог предсказать, что первая революция, совершенная от его имени, произойдет не в стране с наиболее организованной промышленной рабочей силой (в Германии), а, наоборот, в стране со слабо организованной и во многом допромышленной рабочей силой (в России). Однако такая критика создает неверное впечатление, будто марксисты и их противники — просто наблюдатели истории, тогда как на самом деле это совсем не так. Действительно, выражения «самоосуществляемые» и «самоопровергаемые» пророчества были придуманы в XX в. для описания определенных форм успехов и неудач, с которыми в современную эпоху часто сталкивались не только социалисты, но также и капиталисты, особенно если учесть доверие инвесторов к рынку. Люди совершают целенаправленные действия, чтобы увеличить или уменьшить вероятность реализации конкретных прогнозов. Феномены, возникающие из таких действий, часто рассматриваются в качестве интерактивных эффектов наблюдателя и наблюдаемого, то есть в рамках различия, которое после работ Нильса Бора, Вернера Гейзенберга и Эрвина Шредингера связывается с функционированием квантовой реальности.

Наиболее естественный способ интерпретации математики квантовой механики состоит в том, что реальность надо считать пространством возможностей, а потому реальный мир возникает, когда это пространство сжимается до моментов, выполняющих функцию порталов, которые позволят понимать то, что возможно в про-

шлом и в будущем. Такие «порталы» и есть то, что мы обычно называем «настоящим», представляющим собой ту сферу, в которой причина и следствие соотнесены друг с другом наиболее очевидным образом. Но когда содержание настоящего меняется, меняется и наше ощущение того, что было и будет возможным. В этом отношении нет ничего такого, что должно было бы навечно оставаться невозможным, поскольку подходящее событие могло бы решительно изменить пространство возможностей. Но точно так же то, что было возможным, впоследствии может стать невозможным. Конечно, физику мое описание покажется слишком грубым. Тем не менее даже такое грубое описание может стать подсказкой для теоретиков политики и науки, особенно в том, как концептуализировать возможность и темпоральность — две основополагающие категории исторической науки. Соответственно, я не буду углубляться в тайны «квантовой причинности» (известной также как дальнодействие), не говоря уже о том, как представление о реальности, понадобившееся для понимания микроскопических событий, можно легко масштабировать до понимания событий обычной величины и даже глобальных тенденций. Однако ведущий теоретик международных отношений Александр Вендт [Wendt, 2015] уже проделал значительную часть черновой работы, необходимой для построения убедительной теории политики, полностью учитывающей тонкости квантовой механики.

Представление о том, что события определяют ход истории, является общим, хотя и спорным местом среди философов истории. Обычно эта идея понимается через понятия либо «основополагающего момента», либо «поворотной точки». В первом случае прошлое представляется хаотическим полем, которое основатели приводят в своего рода устойчивый порядок; в последнем — прошлое представляется в виде принимаемого по умолчанию

паттерна, который завершается или перенаправляется поворотной точкой. Знаменитая теория научных изменений Куна [Kuhn, 1970; Кун, 1977] сочетает оба этих момента в качестве чередующихся фаз — «нормальной» науки и «революционной». Но общим для обеих версий этого представления, понимаемых в качестве либо отличных, либо взаимодополняемых исторических горизонтов, является то, что «материал истории» лучше понимать — по крайней мере, метафорически — в качестве преобразований материи, а не перестройки пространства возможности. Примером этого различия является распространенный запрет оказывать какое-либо «влияние» на прошлое, не говоря уже об его «изменении», хотя у нас, видимо, нет никаких проблем с тем, чтобы говорить о «влиянии» на будущее или даже о его «изменении». Наши интуитивные представления о том, что время имеет определенное направление, основаны на этом наблюдении. И наоборот, «квантовый поворот» в том смысле, который отстаивается здесь, потребовал бы признать каждое событие в качестве того, что потенциально может менять одновременно и прошлое, и будущее.

Асимметрия в наших обычных суждениях о темпоральности указывает на то, что наши обыденные представления о природе причинно-следственных связей противоречивы, а это, в свою очередь, может отражать слишком неопределенную концепцию свободы воли [Dummett, 1978, ch. 18–21]. Другими словами, когда мы говорим об «изменении будущего», мы представляем себе, что наделяем формой нечто такое, что в момент нашего действия остается неоформленным, вот и все. И все же только ретроспективно, то есть после того, как «нечто» получило форму, мы можем вынести суждение о том, как наше действие повлияло на превращение того, что было возможным будущим, в реальное настоящее. Мы думаем, что сделали нечто значимое, поскольку то значимое различие,

которое мы видим, и есть то, в котором мы узнаем собственное действие. (С этой проблемой сталкивается право, когда пытается определить, кто на суде должен «взять на себя ответственность» за определенное действие.) Короче говоря, наше понимание прошлого и будущего формируется одновременно. Действительно, «настоящее» может определяться как место, в котором «возможное будущее, находящееся в прошлом» преобразуется в «настоящее, необходимое для конструирования будущего».

То, что применимо в качестве принципа нашего собственного ментального равновесия, можно распространить и на наши суждения об истории в целом. Например, утверждение, что Исаак Ньютон и Генри Форд «изменили ход истории», предполагает соответствие между тем, чего они, по нашему мнению, хотели достичь, и тем, чего они, по нашему мнению, действительно достигли. Тем самым устанавливается когнитивное равновесие между будущим, проецируемым из прошлого, и настоящим, проецируемым в будущее. Если понимать самих себя в качестве биржи, то мы уступаем определенную долю нашей свободной воли, позволяя Ньютону и Форду задать начальные условия, благодаря которым мы способны действовать. Взамен мы получаем ощущение направления движения, благодаря чему можем применять свою свободу воли в том плане, который будет оценен будущими наблюдателями (по крайней мере, мы надеемся на это). Если говорить в квантовых категориях, мы поступаемся положением, чтобы приобрести момент движения. Самый простой способ понять эту мысль сводится к нашей способности включить Ньютона или Форда в наш собственный мир, представив, что мы пытаемся сделать сегодня, в категориях того, что они тоже пытались делать. В этом и состоит уступка. Но она позволяет нам утверждать, что мы делаем вещи, которые они не были способны сделать. Вот сила, которую мы получаем благода-

ря этой уступке, которая превращает будущее в поле реализуемых набросков.

Ключевое качество такого положения дел состоит в том, что мы *не* говорим, что сегодня делаем вещи, которые Ньютон или Форд не могли бы представить или признать в качестве части проекта, который сами реализовывали. Если бы это было так, нам было бы сложно приписать заслугу, которую мы имеем в виду, говоря, что они изменили ход *нашей* истории. Они все еще могли бы в каком-то смысле быть «великими» или «интересными» фигурами, но не в «нашем» мире. В самом деле, существует много таких фигур, которые, так сказать, «застряли» на прибрежной полосе истории, поскольку они не могут предложить нам жизненно важного для нас практического потенциала. Именно это мы обычно и имеем в виду, когда говорим, что они были «забыты». Однако эти фигуры всегда остаются доступными для такого освоения, которое позволяет сконструировать основание, на котором мы могли бы двигаться в будущее. Когда Кун говорил, что в обычном случае история науки понимает саму себя «по-оруэлловски», он имел в виду нечто вроде этого [Kuhn, 1970, p. 167; Кун, 1977, с. 219]. Если немного расшифровать этот тезис, то ученые, как правило, не понимают, насколько часто подправляется, если не сказать стирается, значение прошлых исследований и исследователей. В момент научной революции определенные исследователи и целые поля исследования могут добавляться или, наоборот, полностью изыматься. С точки зрения историков науки, такой порядок действий означает огромную несправедливость по отношению к прошлому, однако для практикующих ученых он является приемлемой ценой за те новые открытия, которые могут появиться. Он предполагает своего рода безжалостность, которую, как я показываю далее, могли бы одобрить и марксисты.

ПРОЛЕГОМЕНЫ К КВАНТОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ МОДАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

На протяжении последних 50 лет историки в этом конкретном споре обычно сохраняли за собой высокоморальную позицию. Иными словами, в целом ученые понимают, что у тех версий истории науки, которые рассказываются в научных учебниках или же в научно-популярных книгах, первоочередная задача не в том, чтобы сообщить о действительно случившемся в прошлом. На практике ученый уступает историку право решать, что истинно, а что ложно в подобных повествованиях. Тогда как историк взамен воздерживается от суждений об истинности или ложности того, что ученые говорят о будущем. Конечно, такое разделение труда — или санитарный кордон — не соблюдается строго, но оно отображает нормативное ожидание мира, в котором мы живем.

Политическая история, напротив, намного более осознанно стремится к «квантовому» подходу, поскольку в ней профессиональные историки обычно не пользуются той же самой привилегией в определении условий, на которых удостоверяются суждения о прошлом. Холокост представляется интересным исключением, являясь важным политическим событием, в котором ведущая роль сохраняется за профессиональным историческим суждением, что, возможно, наиболее наглядно было показано британским судебным делом «Дэвид Ирвинг против *Penguin Books Ltd*». Но причина, скорее всего, просто в том, что ни одна политическая партия не считает возможным извлекать выгоду из Холокоста, связывая его с событиями, с которыми она хотела бы ассоциироваться. Таким образом, Холокост существует в качестве замкнутого на себя момента, хирургически отделенного от всего остального поля политической игры.

В остальных случаях, как заявил Джордж Оруэлл в выпуске британского демократическо-социалистическо-

го журнала *Tribune* от 4 февраля 1944 г., «историю пишут победители». Неудивительно поэтому, что наиболее сознающий себя современным «революционным» движением марксизм всегда был склонен к приступам «исторического ревизионизма», когда его грамотные приверженцы делали попытки изменить направление будущего, перефокусировав прошлое. В наиболее благосклонной трактовке ревизионизм можно, вероятно, считать более экономным средством достижения того, что в обычном случае потребовало бы кровопролития, а Троцкий называл «перманентной революцией». Политика «перманентной революции» сводится к «квантовому» подходу к истории.

Интересно, что в своем знаменитом споре 1965 г. с Куном Поппер [Popper, 1981] также говорил о собственном критерии фальсифицируемости в том смысле, будто он допускает «перманентную революцию» в науке. Эту аналогию следует понимать следующим образом. Общий запас знаний может расширяться в самых разных — даже противоречащих друг другу — направлениях в зависимости от того, какая именно его часть подвергается в эксперименте риску. Поппер доказывал, что наука развивается только тогда, когда подобные риски принимаются, и неизбежным следствием этого является то, что ученые отбрасывают — или, по крайней мере, подвергают радикально новой интерпретации — то, что ранее они считали истинным, чтобы вступить в горизонт возможностей, открытый таким экспериментальным результатом. Поппер всегда помнил о том, как Эйнштейн стал интерпретировать время не в качестве универсальной константы, а в качестве величины, соотносящейся с инерционной системой координат, что стало возможным в результате эксперимента Майкельсона — Морли. Такая перемена не только позволила свергнуть гегемонию Ньютона в физике, но также превратила упорных противников Ньютона двух последних столетий, в том числе таких ранних защитников

реляционных теорий времени, как Лейбниц и Эрнст Мах, из чудаков и угрюмых неудачников в героев-провидцев, чьи работы стали перечитывать в поиске подсказок, позволяющих понять, что могло бы последовать за эйнштейновской революцией [Feuer, 1974].

Различие между Куном и Поппером в вопросе о роли революции в науке можно прояснить разницей в их подходах ко времени, а именно в категориях *хроноса* и *кайроса*, двух греческих терминов, которые христианские теологи порой используют для противопоставления нарративных конструкций Ветхого и Нового Завета. В хроносе нарративный поток управляется генеалогической преемственностью, тогда как революции представляют собой временные разрывы, быстро исправляемые для того, чтобы поток восстановился. Так, порядок книг Ветхого Завета следует порядку патриархов и династий. Именно в этом духе выполнена куновская историография науки — парадигмы порождают нормальную науку, но иногда они прерываются самопроизвольно возникающим кризисом, приводящим к революции, результат которой сам, в свою очередь, служит восстановлению естественного порядка. И наоборот, в кайросе имеются повторяющиеся фигуры, которые составляют нарратив, но не базовый нарративный поток, поскольку мировой порядок может время от времени твориться заново. Так, Новый Завет начинается четыре раза, и в каждом из Евангелий представлено свое описание того разрыва, которым стал Иисус, а все остальные книги, за исключением последней, представляют более или менее параллельные линии рецепции учения Иисуса после его смерти, и почти все они намечают другие разрывы в будущем. И представление науки в качестве такого подхода, который может быть актуализирован в любой момент ради реконфигурации всего того, что предшествовало ему или последует за ним, является, скорее, попперовским.

Подход хроноса явно соответствует линейному времени классической физики, тогда как подход кайроса — более экстатической концепции времени, допускаемой квантовой физикой. Однако в заключение стоит упомянуть промежуточную позицию, особенно учитывая ее значимость в истории международных отношений. Речь идет об идее *бессрочности* (*perpetuity*), особенно в том смысле, какой имелся в виду в философии раннего Нового времени, в которой речь шла о выборе, всегда имеющемся у Бога, — сохранять универсум в одном и том же виде или же время от времени менять его. Это понятие было нужно, чтобы обойти проблему, введенную главным мусульманским интерпретатором Аристотеля Аверроэсом, заключающуюся в том, что, создавая мир, управляемый естественным законом, Бог отказывается от своей свободы воли. Такой мир, получается, предполагает, что естественный закон существует «вечно» и без божественного вмешательства. Тогда как «перпетуалист» говорит, что Бог активно поддерживает — или не поддерживает — закон. Бессрочность как концепция божественного действия, защищаемая такими авторами, как Декарт, не пережила ньютоновской революции в физике. Однако она сохранилась в политических спорах о самоуправлении человека, особенно касающихся длительности любого социального договора, заключаемого свободными агентами. Представление о регулярных выборах — это, возможно, основное наследие «перпетуалистского» мировоззрения, напоминающее гражданам о том, что в конечном счете они вольны (коллективно) решать, сохранять актуальный режим или нет. Более амбициозные мыслители, и не в последнюю очередь Кант, считали, что, если бы все режимы работали подобным образом, перпетуализм можно было бы расширить до принципа мирового правления, что привело бы к тому, что Кант называл «вечным миром», ставшим одним из ориентиров Организации Объединенных Наций.

Глава 7
Прогнозирование: будущее как игровая площадка постистины

ВВЕДЕНИЕ: АЛХИМИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИСТИНЫ ИЗ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

В прошлом я, находясь под влиянием Поппера, утверждал, что в управлении наукой как *открытым обществом* фундаментальную роль играет *право ошибаться* [Fuller, 2000a, ch. 1]. Это развитие классического республиканского идеала, согласно которому человек может свободно высказывать свои мысли только в том случае, если его за это не накажут. В Афинской и Римской республиках это достигалось благодаря тому, что ораторы, то есть граждане, обладали независимыми средствами, позволяющими им вести частную жизнь, даже если на общественном собрании их мнение отвергалось. За таким общественным укладом, являющимся эпистемологическим основанием работы Милля «О свободе», стоит представление о том, что люди, способные свободно высказывать свои мысли в индивидуальном порядке, имеют все шансы коллективно достичь истины. Взаимосвязанные истории политики, экономики и знания показывают, насколько трудно воплотить этот идеал в жизни. Тем не менее в мире постистины эта общая линия мысли не просто утверждается, но и усиливается.

За правом ошибаться скрывается понимание того, что человечество сумело превзойти своих предков-животных благодаря тому, что теперь вместо нас погибают наши идеи [Fuller, 2007b, p. 115–116]. Несомненно, долгосрочная тенденция состояла в минимизации личных последствий заблуждений. Рассмотрим три индикатора. Во-первых, все меньше людей подвергаются казни или даже пыткам за свои еретические убеждения. А когда такое все же случается, насилие — пусть якобы и оправданное интересами общества — в общем и целом осуждается. Конечно, еретические взгляды подвергаются строгой «научной» проверке, насколько это возможно, и результат для одной из сторон может оказаться унизительным. Но на этом дело обычно и заканчивается. Во-вторых, среды становятся все более «умными», понижая вероятность того, что люди умрут или получат серьезные травмы просто потому, что потеряются или же применят какой-то артефакт неверно. В-третьих, цель правоприменения постепенно изменилась — теперь она все больше состоит в предупреждении преступления, и даже наказание стало больше интерпретироваться в категориях компенсации, а не возмездия или даже реабилитации.

Во всех этих случаях склонность к заблуждению никоим образом не устраняется. В некоторых из них она может даже поощряться. Но в любом случае заблуждению приписывается определенная социальная функция, а порой оно превращается в инструмент некоего более важного блага, как у Поппера, исходный императив которого состоял в том, что ученые должны по возможности фальсифицировать свои гипотезы. Эта специфическая переоценка ложного является отличительным признаком мира постистины. В нем совершение ошибок становится едва ли не привлекательным. В конце концов, доказательство какой-либо истины попросту подтверждает наши ожидания, если только мы не предполагали того, что она не под-

твердится. В этом отношении совершение ошибки более информативно, чем обладание истиной: оно представляет собой небольшой триумф действия над бытием. По этой причине Поппер полностью разделял предложение Бэкона развивать человеческое знание регулярным проведением «решающих опытов», которые сконструированы так, что только одна из двух конкурирующих гипотез может быть истинной. Однако само выражение «может быть» напоминает нам о том, что даже гипотеза, пережившая такое испытание, получает единственную привилегию — перейти в следующий тур проверок, в котором она столкнется с будущими претендентами на истину.

В этой главе я буду изучать это социально структурированное взращивание заблуждения в ситуации *прогнозирования*, то есть нашего познания будущего. Основная процедура прогнозирования, то есть предсказание, обычно сопровождается ошибками, в некоторых случаях весьма значительными. Экспертиза, как она обычно понимается в этой области, в основном состоит в умении обезопасить себя от негативных последствий заблуждения. Такая характеристика может показаться довольно циничной, однако ориентация на постистину говорит о том, что к моим словам можно отнестись и менее предвзято. В конце концов, в долгосрочной перспективе успеха добиться можно только в том случае, если удастся выжить в ближайшем будущем и если порог выживания ниже, чем порог успеха. В самом деле, в неустойчивой среде (неустойчивой в силу изменений в условиях или знании) быть всего лишь «достаточно хорошим» — это, возможно, даже лучше, чем быть «лучшим» в краткосрочной перспективе, если ты заинтересован в том, чтобы стать «лучшим» по прошествии значительного времени. Представьте, что вы играете в игру, которая растягивается на серию матчей с разными противниками, а ваши ресурсы ограниченные. Хуже всего, если вы вложите все ресурсы, чтобы раз-

громить своего первого противника, словно бы это устраняло всех остальных, с которыми вы встретитесь позже. Конечно, вам надо остаться в поле конкуренции, а потому и выигрыш в игре с первым противником может быть желанным. Однако для выигрыша необязательно его громить. В некоторых обстоятельствах сгодится и ничья. В любом случае вам надо не упускать из виду то, что может встретиться вам на пути впоследствии, и не становится, как говорят эволюционисты, «сверхадаптированным» к той конкретной среде, которая со временем наверняка потеряет значение.

Герберт Саймон [Simon, 1947; Саймон, Марш, 1974] первоначально называл эту стратегию превращения краткосрочного выживания в долгосрочный успех «достаточностью». Это слово было придумано в контексте описания интеллекта, демонстрируемого организациями, которые постоянно допускают ошибки в своих решениях, но не утрачивают из-за этого легитимного статуса рациональных корпоративных агентов. Ключевая черта таких организаций состоит в том, что они контролируют собственный нарратив. Их считают верховным авторитетом в вопросе о том, как интерпретировать их историю, полную заблуждений. То же самое относится и к науке как коллективному предприятию. Влиятельный историк и философ науки Томас Кун [Kuhn, 1970; Кун, 1974] связывал привлекательность науки для самих ученых и широкой публики с ее довольно убедительной и в то же время систематической интерпретацией заблуждения как инструмента поиска некоей большей истины. Кун также показывал, хотя и небесспорно, что наука, представляя саму себя в качестве прогрессивного проекта, требует регулярного «оруэлловского» переписывания собственной истории. В частности, неожиданные открытия и результаты, которые некогда считались аномалиями, если не откровенными ошибками, теперь могут рассматриваться в качестве

предвестников революционных изменений. Легкость, с которой промахи в официальных историях науки можно превратить в добродетели, так что наука, что бы она ни делала, всегда, как кажется, приходит к истине, выступает характерным признаком такого понимания мира, которое свойственно постистине.

В следующем разделе рассматриваются основные эпистемологические вопросы прогнозирования. В их числе проблема эпистемического смысла предсказания и значимости прошлого для будущего. Далее в главе рассматриваются работы наиболее амбициозного теоретика и исследователя прогнозирования наших дней — американского специалиста по политической психологии Филипа Тетлока. Он изучает предсказание в качестве экспертного навыка, который можно научно оценивать и корректировать. Однако его исследования задают еще и план общей критики экспертизы в целом. Тетлок предлагает на рассмотрение экспертам контрфактические сценарии («табуированные сюжеты»), далекие от их эпистемических зон комфорта, то есть возможности, реализация которых считается крайне маловероятной или нежелательной. Тетлок относит такие сценарии к классу «мыслить немыслимое», каковой отсылает к названию знаменитой работы Германа Кана 1962 г., посвященной перспективам выживания в локальной ядерной войне. Эта интеллектуальная стратегия исторически привела к радикальным последствиям в области и знания, и морали, расширив наше представление о том, что вообще может быть осуществлено на практике. В последние годы Тетлок предложил понятие «суперпрогнозирование», описывая прогнозирование в качестве итеративной деятельности, соотносимой с общей долгосрочной стратегией. Эта идея, подхваченная у военных, помогает раскрыть социальную психологию, скрывающуюся за успешным прогнозированием, которое опирается на способность справляться с нежелательными результа-

тами и даже наживаться на них. Речь идет о «формировании адаптивных предпочтений». Эта стратегия, если довести ее до логического завершения, позволяет привить такую нормативную установку по отношению к миру, которую я окрестил форсированным правлением.

ПРЕДСКАЗАНИЕ: ЗНАЧИМОСТЬ ПРОШЛОГО ДЛЯ БУДУЩЕГО

Основным элементом прогнозирования является *предсказание*, которое выполняет три эпистемические функции. Первая связана с нашим отношением к собственному мозгу, вторая — с нашим отношением к среде, а третья — с нашим отношением к будущему.

Первая эпистемическая функция предсказания заключается в том, чтобы развить и укрепить обычные мозговые процессы. Собственно, предсказания заставляют нас симулировать определенное состояние реального мира, то есть будущее, которое достаточно удалено от настоящего, а потому, строго говоря, является непознаваемым. Это довольно специфическая задача для наших обычных способностей постижения мира, который представляется в качестве горизонта возможностей, в разной степени реализуемых по мере нашего продвижения в пространстве и во времени, причем такой горизонт постоянно обновляется в соответствии с внешними сигналами. Подвижность горизонта наших ожиданий помогает, в свою очередь, объяснить ту легкость, с которой меняются наши воспоминания и фантазии. Эгон Брунсвик, венский психолог (позже работавший в Беркли), бывший также верным последователем логических позитивистов в области психологии, истолковал эту подвижность в качестве основополагающей идеи своей дисциплины [Hammond, Stewart, 2001]. Однако недавние исследования нейронных моделей мозга показали, что подвижность, как ее понимал Брунсвик,

скорее, должна пониматься в смысле способности к заблуждению. Благодаря сочетанию генетической детерминации и предшествующего опыта мозг, как считается сегодня, запрограммирован видеть мир более предсказуемым, чем он есть на самом деле. И словно бы в подтверждение идей Поппера *обучение*, как мы его обычно понимаем, состоит в основном в исправлении ошибок, то есть представляет собой непрерывный процесс уравновешивания нашего обычного чувства сверхдетерминированного мира [Clark, 2016]. Иначе говоря, ошибки, которые мы обычно совершаем в предсказаниях умеренно далекого и далекого будущего, которые как раз и требуются для прогнозирования, помогают мозгу совершенствоваться в том именно, для чего он, видимо, и создан.

Вторая эпистемическая функция предсказания — напоминать нам о том, что мы не только думаем о мире, но и живем в нем. Предсказания — это специфические публичные события, которые не могут быть согласованы со всеми возможными мировоззрениями, какие только могут быть у людей в голове. Такие мировоззрения, когда они являются просто личными забавами, легко подстраиваются под события, в которые те, кто придерживался этих мировоззрений, лично никак не вложились. Однако предсказания требуют публичных решений, а для этого нужны именно такие вложения. Следовательно, они могут повлечь определенные потери в благосостоянии, репутации или друзьях независимо от истинности самого предсказания. Тут легко вспомнить Кассандру из греческой мифологии, которая благодаря своему предсказанию одновременно выиграла (в плане точности) и проиграла (в плане репутации). Говоря в целом, те, кто склонен предлагать предсказания, даже если они предсказывают неминуемую катастрофу, тем самым демонстрируют, что готовы рискнуть собой. В этом смысле культура, поощряющая людей делать предсказания, является по самой своей сущности

проактивной, то есть подчиняет судьбу предсказателя потенциальной выгоде для общества в целом, проистекающей из того, что такое предсказание было сделано, независимо от его результата. Вероятно, тональность культуры, благоприятствующая смелым предсказаниям, позволила науке добиться тех успехов, которых она действительно добилась, хотя многие мыслители, исходящие из принципа предосторожности, сочли их с высоты прожитых лет бездумными. Различие проактивности и предосторожности будет рассмотрено во второй половине этой главы [Fuller, Lipinska, 2014, ch. 1].

Третья эпистемическая функция предсказания также вытекает из его публичного характера. Поскольку предсказания — события, переживаемые в опыте предсказателями, их клиентами и заинтересованными наблюдателями, до момента осуществления предсказания могут быть сделаны различные приготовления, нацеленные либо на упрощение реализации предсказания, либо на предупреждение. Хотя профессиональные прогнозисты признают это лишь с великой неохотой, можно даже сказать, что предсказания допускают — если не обосновывают — подобные виды деятельности. Здесь мы вступаем в область того, что Мертон назвал «самоосуществляемыми» или «самоопровергаемыми» пророчествами [Merton, 1968a, ch. 13; Мертон, 2006, гл. 13]. Хотя Мертон и другие исследователи представили такие пророчества в качестве «патологий» предсказания, этот термин не раскрывает их рациональности. В конце концов, они предполагают то самое признание взаимозависимости предсказания и результата, что мотивирует ученых конструировать «решающие опыты» и другие «тестовые сценарии», в которых результат предсказания должен возникнуть в строго определенное время и с заранее заданными ограничениями, чего, вероятно, не произошло бы, если бы ученые не стремились получить решающий результат — решающий

в том или другом смысле. В самом деле, Бэкон, вероятно, был совершенно прав, когда увидел в экспериментальной науке протокол ускорения того графика, по которому природа раскрывает свои секреты человеку, — ускорения, в частности, за счет систематической настройки людей и природы на скомпонованные особым образом результаты.

Если же обратиться к фокусировке прогнозирования на будущем, стоит подчеркнуть, что прогнозирование — лишь один из способов ориентации на будущее, поскольку есть и другие, не рекомендующие прогнозирование или даже отрицающие его возможность. Такие ориентации могут руководствоваться одним или несколькими следующими положениями:

1) будущее непознаваемо в принципе, например, потому, что оно (еще) не существует, а знать можно только то, что существует;

2) уже известно, что будущее будет во всех отношениях отличаться от прошлого и настоящего, возможно, в силу фундаментальной неопределенности природы, важным вкладом в которую является также свобода человеческой воли;

3) эффекты взаимовлияния предсказания и его результатов настолько сложны, что каждый прогноз порождает непреднамеренные последствия, которые наверняка принесут больше вреда, чем пользы.

Три приведенных положения, вероятно, подкрепляют друг друга, по крайней мере, это можно точно сказать про положения 2) и 3). Общим для них является убеждение в том, что само наше присутствие в качестве эпистемического агента не слишком помогает нашему «постижению» будущего, как бы его ни понимать — когнитивно или практически, более того, такое присутствие может быть и вовсе контрпродуктивным. Значительная часть «терапевтической» философии начиная с эллинистического периода (например, философия стоиков и эпи-

курейцев) учила смирению с тем, что многие — если не большинство — убеждения и желания, которыми мы больше всего дорожим, в будущем окажутся ложными или же не соответствующими ожиданиям. В мире такого рода прогнозирование — пустое занятие, которое обязательно приведет к еще большим личным несчастьям. Поэтому следует научиться справляться с тем, что может случиться в будущем, но не пытаться каким-то образом предсказывать его, предупреждать или же, наоборот, приближать. В самом деле, именно такой вывод могли бы в конечном счете извлечь философы-терапевты из судьбы Кассандры.

Итак, какая же метафизика требуется для того, чтобы предсказание было возможным? Необходимо выполнение трех основных условий: во-первых, будущее должно быть достаточно похожим на прошлое и настоящее, чтобы можно было осмысленно говорить о «научении» на материале прошлого и настоящего, которое должно послужить «информированию» нашего понимания будущего. Во-вторых, агенты, отвечающие за реализацию будущего и жизнь в условиях такого будущего, должны быть достаточно похожими на нас, чтобы категории нашего прогноза были для них в какой-то мере узнаваемыми (и даже, возможно, одобряемыми ими). В-третьих, реальность должна быть не настолько неопределенной, чтобы постфактум нельзя было сказать, сбылся прогноз или нет и в какой мере.

Конечно, даже если эти три условия выполнены, это еще не значит, что прогнозирование — легкое дело или что оно вообще может быть успешным. Собственно, успех организаций и инициатив, обогащающихся на случайностях, — в том числе страховых компаний, казино или лотерей — является свидетельством того, что люди расположены делать прогнозы и в то же время не имеют достаточных способностей для этого, в том числе и тогда, когда эти прогнозы касаются их собственных судеб. Во

многом это может объясняться в категориях того, что социальные психологи называют «фундаментальной ошибкой атрибуции», из-за которой люди переоценивают значение собственных намерений в объяснении своего собственного успеха и в то же время переоценивают значение «случайности» в объяснении успеха других людей [Nisbett, Ross, 1980].

Однако, даже если учесть различные когнитивные помехи, влияющие на прогнозирование, остается по меньшей мере три фундаментально разных подхода к динамике данного в опыте времени, которые могут влиять на суждения прогнозиста о вероятном будущем. Лучше всего их представить в качестве альтернативных интерпретаций «наследия прошлого».

1. *Прошлое составляет кумулятивный груз, который давит на возможности будущего в силу самого его постоянства в течение длительного времени*. Именно в этом заключается идея, стоящая за «прямой индукцией», утверждающей, что завтра следует ждать восхода Солнца просто потому, что оно всходило и вчера. Несколько более сложная, второпорядковая версия той же идеи — «экстраполяция трендов», когда мы предполагаем, что скорость, с которой ситуация менялась на протяжении длительного времени, будет оставаться постоянной и в неопределенно долгом будущем. Однако, чем бы ни передавался этот «кумулятивный груз» — нашими генами, нашей памятью, поведением или даже неким постоянством самой природы, напрямую нам неподвластным (примером чего является неизменность восхода Солнца), — сам процесс передачи может допускать некоторые нетривиальные перемены («мутации»), происходящие со временем и способные решительно изменить прогнозируемые исходы.

2. *Власть прошлого над вариациями будущих событий со временем падает, если только не сохранять прошлое активно*. В отличие от п. 1, в этом случае прошлое не кон-

цептуализируется в качестве подлинного и постоянного агента истории. Скорее, оно рассматривается в качестве все более далекого, хотя и привлекательного места, любое сообщение с которым требует определенных «институтов», понимаемых в качестве бессрочно действующих социальных укладов, благодаря которым сменяющие друг друга поколения индивидов берут на себя роли, совокупно поддерживающие релевантные ценности, учрежденные в неизменно удаляющемся от нас прошлом. В таком именно контексте становятся значимыми обвинения в разложении, поскольку они ставят под вопрос надежность процесса передачи. В юриспруденции времен позднего Средневековья был придуман термин *universitas* («корпорация»), который означал именно такие институты и первоначально применялся к церквям, университетам и городам и только намного позже — к бизнес-фирмам. Однако ключевым современным вариантом такой корпорации стало государство, понимаемое в качестве искусственной личности, которую Гоббс окрестил Левиафаном. Задачей этой инстанции является не что иное, как постоянство во времени (отсюда греко-римский корень слов *state* и *static*, восходящий к *stasis*), то есть увековечивание в том его смысле, которое позволяет создать на Земле подобие вечности как исключительного атрибута Бога.

3. *Прошлое является хранилищем возможных будущих, и только некоторые из них могут реализоваться в данный момент времени*. В этом случае имеется в виду идея «невыбранных путей», которые можно пересмотреть в будущем, в каких-то важных отношениях напоминающая прежний момент решения, но теперь уже в обстоятельствах, которые изменились достаточно сильно, чтобы появились доводы в пользу выбора иного пути. Тем самым предполагается, что в любой момент времени всегда есть много конкурирующих вариантов будущего, поэтому вариант, одерживающий верх, всегда остается контингент-

ным, а потому потенциально — хотя не обязательно легко — обратимым. Это еще один разворот идеи о том, что настоящее нуждается в активной поддержке, поскольку оно необязательно сохранится в будущем. Но в этом случае причина видится в том, что имеются и другие возможности, стремящиеся к реализации. Это, в свою очередь, представляет статус-кво в авторитарном виде, поскольку институты не просто поддерживают статус-кво, защищая его от вырождения, но также не дают развиться его альтернативам.

ПОМОГАЕТ ЛИ НАУКА ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИЛИ ЖЕ ВРЕДИТ ЕМУ? СУДЬБА ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ КАК ЭКСПЕРТОВ

Специалист по политической психологии Филип Тетлок является, вероятно, ведущим современным исследователем «экспертного политического суждения», то есть прогнозирования того рода, которым занимаются публичные интеллектуалы и социологи, а также профессиональные политики и чиновники [Tetlock, 2005; Tetlock, Gardner, 2015]. Эпистемологический итог его работ позволяет оспорить давно устоявшееся различие между *политическим суждением* и *политической наукой,* или, говоря в целом, между опытным практиком и теоретически подкованным ученым. Конечно, различие между политическим суждением и политической наукой проводилось в разные времена, на разных основаниях и с разными последствиями. Так, политическая наука у Платона может пониматься в качестве нацеленной на преодоление переменчивости мнений, которая в то же время представлялась естественной стихией аристотелевской концепции «политического суждения» (и которая, вероятно, оценивалась в качестве достоинства, если учесть, как высоко Аристотель ставил риторику). Однако, когда в XX в. появилась акаде-

мическая дисциплина, называющаяся «политической наукой», которая сознательно ориентировалась на методы естественных наук, «политическое суждение» стало все больше ограничиваться смешанной областью традиционного и личного опыта, которая часто подается в мистифицированной форме «неявного знания». Если оставаться в пределах этого разделения, Тетлок исходит из предположения, что любое «политическое суждение», заслуживающее такого наименования, в конечном счете является делом прикладной политической науки. Иными словами, политики и политологи заняты одними и теми же когнитивными процессами, не свободными от ошибок, но, вероятно, корректируемыми, хотя у них разные временные и ресурсные ограничения.

Чтобы оценить этот подход, рассмотрим неудавшиеся предсказания, которые «почти верны» (но при этом ложны) или, наоборот, «почти ложны» (но при этом верны). Тетлок [Tetlock, 2005] рассматривает первые в качестве защитных реакций на ошибочное предсказание, состоящих в самооправдании, а последние — в качестве наиболее вероятного эпистемического статуса большинства прогностических успехов. В самом деле, Тетлок считает всех политических предсказателей виновными в систематическом заблуждении, если не доказано обратное, поскольку, играя на двусмысленном эпистемическом промежутке между «почти верным» и «почти ложным», предсказатель легко может создать впечатление, что он абсолютно прав. Например, одно из наиболее известных «успешных» предсказаний в социальных науках, сделанных в относительно недавнее время, а именно предсказание распада Советского Союза, было выдвинуто в 1978 г. американским социологом Рэндаллом Коллинзом [Collins, 1995; Коллинз, 2008]. При ближайшем рассмотрении это предсказание оказывается одновременно «почти верным» и «почти ложным», но в любом случае не совер-

шенно верным. Хотя общетеоретическая модель Коллинза получила подтверждение, поскольку он предсказал, что поворотный момент возникнет из социальных движений, мобилизующихся вокруг несогласных элит, она не смогла определить особой роли медиа в ускорении такой мобилизации. Соответственно, процесс, который, по предсказанию Коллинза, сверявшегося с прошлыми революциями, должен был занять 30–50 лет, в результате продлился чуть более десятилетия.

В главе 1 работы Тетлока [Tetlock, 2005] приводится список убедительных причин не доверять правильным предсказаниям какого угодного рода. В конце концов, всякий человек, регулярно делающий предсказания, обязательно попадет в несколько мишеней, а если вы предсказываете один и тот же результат в течение достаточно длительного времени, однажды вы наверняка окажетесь правы. В таких случаях следует смотреть на общее соотношение успехов и ошибок предсказателя. Существует также методологическая проблема: как решить, что именно предсказывалось, и действительно ли случилось именно то, что было предсказано? Если только не предсказывается точный результат независимо детерминируемого процесса — например, результат выборов, — можно столкнуться с движущейся мишенью, поскольку предсказатели рационально реконструируют и первоначальные, и конечные состояния своего знания, а значит, задача становится нерешаемой. Наконец, Тетлок указывает на одну интересную возможность, заключающуюся в том, что успешные предсказатели способны основываться на сомнительных в нормативном плане формах знания, включающих инсайдерские знания, пытки и принуждение или же попросту модели человеческой жизни, которые опираются на давно устоявшиеся «иррациональные» тенденции, которые мы в ином случае, вероятно, захотели бы в будущем минимизировать или даже вовсе исключить.

У Тетлока золотой стандарт политического суждения сочетает две основные философские теории истины — *корреспондентную* и *когерентную*. То есть нужно предсказывать верные результаты, *причем* на верных основаниях. С одной стороны, предсказателю мало оказаться «правым, но почти неправым», то есть он должен иметь упорядоченное каузальное описание, объясняющее, почему событие должно было случиться, а не просто утверждать, что оно случится. С другой стороны, предсказателю мало оказаться «неправым, но почти правым», то есть его концептуально верная модель должна выдавать конкретные результаты. Таков контекст для понимания предложенной Тетлоком интерпретации различия лис и ежей, популяризированного гуманистом эпохи Возрождения Эразмом Роттердамским: *лисы* знают много мелких вещей, а *ежи* — одну большую. Предсказатели-лисы всегда могут скатиться в противоречия, тогда как ежам не дается точность.

Ценность определения политического суждения как способности предсказывать правильный результат с правильными доводами в том, что оно заставляет разобраться с модальной структурой вашего мировоззрения и не в последнюю очередь с тем уровнем контроля, который вы приписываете агентам, признанным этим мировоззрением. Вместо того чтобы определять различие между ежами и лисами через количество вещей, которые они «знают», можно было бы сказать, что лисы работают с тем, что я назвал *недодетерминированным* мировоззрением, которое допускает множество разных поворотов судьбы, тогда как ежи придерживаются *сверхдетерминированного* мировоззрения, которое постулирует господствующую тенденцию, к которой в конечном счете сходятся все траектории [Fuller, 2015, ch. 6].

Лисы видят скрытые условия, способные привести к созданию нового порядка, тогда как ежи диагностируют

лишь временное отклонение в основной сюжетной линии. Во многом это различие сводится к исторической точке зрения: те, для кого политика заключается в забегах от одних выборов к другим, обычно ведут себя как лисы, тогда как ежи, скорее, видят в политике долгосрочные движения социальной трансформации. Авторитет, которым ежи пользуются в медиа и на который Тетлок порой жалуется, в значительной мере можно связать с их способностью говорить так, словно их мировоззрению просто суждено победить, а потому они в основном фокусируются на объяснении того, как именно это должно случиться. Неточность в предсказаниях они компенсируют тем, что персонифицируют будущее, наступление которого они прогнозировали. В таком случае, как мы увидим, правильнее, вероятно, последовать за Макиавелли, а не за Эразмом и решить, что видом, противоположным в этом плане лисице, больше пристало быть *льву*, а не ежу.

Усовершенствование политического суждения для улучшения политических предсказаний и улучшения самой общественной жизни — две разные цели. Каждая по-своему сложна, и возможно, что вторая сложнее. Тетлок желает достичь обеих целей. С одной стороны, он поддерживает взращивание интеллектуальной добродетели в публичных интеллектуалах ради повышения строгости того, что в конечном счете считает прикладной политической наукой. С другой стороны, действительно ли состояние общественной жизни улучшилось бы, если бы публичных интеллектуалов поощряли делать более точные предсказания, признавать свои ошибки и менять убеждения, приводя их в соответствие аксиомам вероятности и теореме Байеса? Ответ неочевиден, и основная причина в нехватке фактических данных о последствиях подобных изменений.

Рассмотрим более скромную программу по улучшению общественной жизни, которая не требует обучения

публичных интеллектуалов и ограничивалась бы подсчетом коэффициента успешности интеллектуалов по данным медиа. Даже если бы эта программа могла улучшить общественную жизнь, неясно, будет ли такое улучшение результатом того, что люди станут прислушиваться к интеллектуалам с лучшим послужным списком, или же их реакция будет, напротив, парадоксальной. Например, серия «почти попавших» предсказаний одного из догматических ежей, изученных Тетлоком, могла бы навести некоторых людей, прислушивающихся к его высказываниям, на мысль о необходимости изменить политико-экономический порядок так, чтобы он послужил повышению точности будущих прогнозов этого ежа. Иными словами, ложные предсказания могут интерпретироваться как свидетельство систематически подавляемой реальности, которая заслуживает полного выражения — возможно, в духе третьей интерпретации «наследия прошлого» из предыдущего раздела. Обычно мы представляем самоосуществляемые и самоопровергаемые пророчества в качестве результата *предварительного* объявления предсказания, которое затем вызывает действия, способствующие его исполнению или опровержению. Но что можно сказать о *реваншистском* пророчестве, вдохновляемом привлекательностью альтернативной реальности, которая выводится из цепочки ложных предсказаний?

Здесь нам нужно внести кое-какие дополнения в политический зоопарк Тетлока. У лисы было много противников — не только еж Эразма, но и лев Макиавелли: лев правит прицельной демонстрацией силы, тогда как лиса применяет разные хитрости. Если лиса обманывает и приспосабливается, так что часто суммарный эффект сводится к расточению сил, то лев склонен попросту устранять противников, стоящих у него на пути. В этом отношении лев превращает объяснительную *idée fixe* ежа в откровенную политическую стратегию, как, например, в том слу-

чае, когда академический марксист пересекает границу и из того, кто просто обладает господствующей теорией, превращается в политика, обладающего господствующей идеологией.

Тот факт, что Тетлок не учитывает в полной мере львиную политику, можно заметить в его выводе, согласно которому ежи показывают лучшие результаты в статических средах, а лисы — в динамических [Tetlock, 2005, p. 251]. Он предполагает, что и то и другое политическое животное просто адаптируется к миру, хотя и своим собственным, неподражаемым способом, а не создает новые возможности, не говоря уже о том, чтобы разведывать утраченные возможности, намек на которые скрывается в их несбывшихся предсказаниях. В этом отражается поход Тетлока к политическим суждениям как «констативам», а не «перформативам», если вспомнить старую терминологию теории речевых актов [Austin, 1962; Остин, 1999]. Другими словами, его заботит только то, совпадут ли суждения с целевыми референтами, а не то, какие последствия могут возникнуть в силу самого факта высказывания таких суждений.

Соответственно, Тетлок, видимо, может быть признан виновным в неверном понимании медийного предпочтения публичных интеллектуалов, являющихся ежами, а не лисами. Такие ежи могут быть замаскированными львами, делающими предсказания, которые сами должны стать вмешательствами, нацеленными на то, чтобы либо подкрепить, либо подорвать актуальные политические тенденции. В этом случае медиа не столько сообщают о политике, сколько создают альтернативный канал для ее осуществления. С этой точки зрения прорывное исследование самого Тетлока оказывается контрмерой, нацеленной именно на то, чтобы заблокировать львиные склонности ежей, выманив интеллектуалов из их зон эпистемического комфорта, дабы раскрыть пределы их экспертных

знаний. Из двух видов публичных интеллектуалов Тетлок явно предпочитает лису, не в последнюю очередь потому, что осознаваемая ею ограниченность горизонта дает ей меньше возможностей нанести долговременный ущерб.

Говоря в целом, экспертизу следует рассматривать прежде всего в социологических, а не в строго эпистемологических категориях [Fuller, 1988, ch. 12; 2002, ch. 3]. Эксперт — это тот, чье слово учитывается другими людьми, решающими тот или иной конкретный вопрос. Конечно, решение эксперта может подкрепляться систематическим корпусом надежных и релевантных знаний. Но такие знания не являются ни необходимым, ни достаточным условием эффективности экспертизы. Значение имеет то, что решение эксперта служит отмашкой для цепочки других суждений и действий, стремящихся привести мир в соответствие с этим решением. Говоря социологически, экспертиза — наиболее мощная ненасильственная форма власти из всех нам доступных. Несмотря на то что различные высказывания экспертов могут встречать сопротивление, последнее само структурируется достаточно специфическим образом. Статус эксперта четко маркируется его официальным образованием, которое его противники должны каким-то образом нивелировать, прежде чем высказывать какую-либо убедительную критику, которая сама должна вестись эпистемологически одобренными средствами, обычно путем мобилизации аргументов и фактов на специально отведенных форумах, таких как журналы с коллегиальным рецензированием и конференции.

Однако нельзя делать вывод, будто «власть экспертов» означает общество с жестким управлением. Напротив, сегодня мы живем в таком именно режиме, и его условия достаточно лабильны. Поскольку власть эксперта проистекает из его специализации, следует ожидать того, что отмашку получат самые разные суждения и действия.

Например, два профессиональных врача могут обследовать одного пациента и прийти к двум совершенно разным диагнозам и схемам лечения. Приметой экспертного правления является то, что подобная вариабельность допускается, при этом не становится основанием для обвинения экспертов в некомпетентности, а самого корпуса экспертных знаний — в противоречиях. Это позволяет объяснить социально деструктивные последствия критики экспертами друг друга. В обычных обстоятельствах предполагается, что эксперты компетентны в своих профессиональных областях, так что позитивные результаты их решений ставятся им в заслугу, а негативные по возможности им прощаются и признаются следствием факторов, которые у эксперта были законные причины не заметить. Однако эта линия поведения возможна лишь тогда, когда эксперты проявляют некоторую самодисциплину, ограничивая диапазон вопросов, по которым они готовы принимать решение. Грубо говоря, им нужно отказываться от тех вопросов, в которых исходная вероятность провала слишком высока.

Хотя подобное описание экспертизы может показаться скептическим, замечательным античным прецедентом могут считаться стоики: если скептики ставили под вопрос нашу способность достаточно точного определения понятий, призванных служить надежным основанием знания, стоики предполагали, что наши понятия отлично работают в парадигмальных случаях, для которых они и были предназначены, но теряют определенность за их границами [Fuller, 2005a]. Исходный пример, позволявший различить эти две позиции, увековечен в учебниках по логике в качестве «парадокса кучи», или, как говорили греки, «сорита». По сути, это идея о том, что одна песчинка еще не составляет кучи, но, если добавлять песчинки одна за другой, в какой-то момент следующая песчинка образует кучу. Таким образом, скептики делали вывод,

что «куча», а по аналогии и все понятия являются безнадежно неопределенными. Стоики же, со своей стороны, утверждали, что этот парадокс доказывает лишь то, что понятия нельзя применять где угодно и как угодно.

Успешные эксперты обычно отличаются стоическим пониманием концептуальных границ, в которых они должны работать. Как и Сократ, они знают, что они не знают. Однако в основном работа Тетлока нацелена на то, чтобы вытолкнуть экспертов за пределы их эпистемической зоны комфорта, принудив их к отказу от самодисциплины. Хотя Тетлок считает, что сам он исследует границы экспертных знаний, вероятно, можно сказать, что он разрушает экспертизу или, по крайней мере, нарушает одно из основных ее условий, предполагая, что эксперт, являющийся специалистом в какой-то конкретной области, должен демонстрировать одинаковую компетенцию в суждении о всех предметах, логически и контрфактически связанных с этой областью, а не просто о том ряде предметов, суждений о которых обычно ждут от эксперта.

Более всего намерения Тетлока ясны тогда, когда он просит экспертов расписать возможные сценарии будущего, определив точнее откалиброванные результаты, но лишь для того, чтобы выяснить (и это неудивительно), что эксперты приписывают этим конкретным возможностям большую вероятность, чем логически допускалось их исходными суждениями о результатах, определенных с большей степенью генерализации [Tetlock, 2005, p. 189–218]. Один эксперимент такого рода отражает понимание Тетлоком суждения как прикладной науки, то есть как перевода знания потенциально универсального масштаба в конкретные кейсы. Соответственно, как допускает Тетлок, ежи лучше лис подготовлены к тому, что он называет критическими контрфактическими сценариями, в которых небольшие нарушения реальных условий могли бы привести к совершенно иным результатам. Ежи обычно

цепляются за свои исходные схемы предсказаний и отмахиваются от контрфактических предположений как «исключений, только подтверждающих правило», или же от плодов слишком бурного воображения и маловероятных факторов, тогда как лисы легко допускают намного больше реалистически возможных результатов, чем вроде бы дозволяется их собственными теориями [Tetlock, 2005, p. 212–213]. Так, один теоретик международных отношений «реалистического» направления (то есть сторонник теории баланса сил), будучи ежом, заявил: «Я изменю свое мнение, если найдутся реальные, а не воображаемые факты. Покажите мне реальный случай неудавшегося баланса» [Ibid., p. 212].

Различие, похоже, состоит в том, что ежи крепко привязаны к парадигмальным случаям своих экспертных знаний, тогда как лисы всегда играют с граничными случаями, а потому у них лучше способность схватывать нюансы реальных ситуаций, но в то же время они чаще теряют ориентацию при размывании или стирании границы между реальным и возможным мирами, как, например, в ситуации, когда экспериментатор просит их рассмотреть критические контрфактические сценарии. В определенном смысле лисы рассматривают дополнительное усилие воображения, необходимое для спецификации возможных исходов, в том смысле, словно бы оно составляло дополнительное доказательство вероятности таких исходов.

УЧИТЬСЯ «МЫСЛИТЬ НЕМЫСЛИМОЕ»: ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ПОСТИСТИНЫ

Более ранние исследования Тетлока [Tetlock, 2003], посвященные тому, как «мыслить немыслимое», составляют отправную точку, позволяющую понять его подход к пределам экспертизы. Но в нашем контексте более важно, что это исследование толкает экспертов в решительно

постистинностном направлении, заставляя их относиться к контрфактическим сценариям с той же каузальной и моральной серьезностью, что и к фактическим случаям. В частности, когда экспертов просят вынести достаточно точные суждения касательно альтернативных вариантов прошлого или будущего, они часто должны прибегать к *табуированным сюжетам*, как называет их сам Тетлок, то есть должны искать определенный компромисс между «сакральной» и «секулярной» ценностью. Соответственно, сакральная ценность, нарушаемая в сценариях Тетлока [Tetlock, 2005], определяется границей, окружающей профессиональную область компетенции эксперта. Секулярная экспериментальная ситуация заставляет эксперта переступить эту границу, что приводит к суждениям, действительно его унижающим, возможно, даже в том случае, когда они оказываются верными. После этого часто приходится проводить определенные процедуры, которые Тетлок называет *моральной чисткой*, позволяющей восстановить авторитет эксперта, причем такая закономерность подтверждается поведением как лис, так и особенно ежей, которые склонны обвинять экспериментатора в нахальстве, если не откровенном обмане, поскольку он заставил их на время забыть об обычных стандартах доказательного суждения, определяющих, в частности, невозможное и неизбежное.

Исходным источником обсуждения моральной чистки является работа Дюркгейма [Durkheim, 1964; Дюркгейм, 2018], в которой описывалось сакральное и профанное применение пространства в обществе. Неудивительно, что в первых мысленных экспериментах Тетлока [Tetlock, 2003] набожных христиан просили оценить в денежном эквиваленте умерщвление некоторых людей или же рассмотреть психодинамические последствия той ситуации, в которой Иисус воспитывался бы в семье с одним родителем. Здесь необходимо прояснить, как именно мысленные

эксперименты Тетлока провоцируют у участников эксперимента появление «табуированных сюжетов». Для этого их просят превратить различие по природе в различие по степени или же свести качественное различие к количественному. Когда экспертов-историков или публичных интеллектуалов заманивают исследованием возможностей, отличных от тех, что они обычно считают допустимыми, специфика их предмета начинает стираться, и одно из следствий этого, разумеется, в том, что другие люди в такой ситуации начинают казаться не меньшими экспертами. Например, как только теологи начинают всерьез рассматривать саму идею оценивания человеческих жизней, неявно в разговор вступают экономисты. Стоит только всерьез озаботиться воспитанием Иисуса, и тут же в игру вступят психоаналитики, что они, собственно, и сделали в лице Альберта Швейцера.

Похожий результат поджидает и обычного верующего, который приписывает слишком много человеческих качеств — пусть даже в их гиперболизированной версии — божеству. Именно поэтому теологическая ортодоксия в авраамических религиях обычно практиковала аналогическое, а не буквалистское богословие. Без такого семантического размежевания библейское утверждение о том, что люди были сотворены «по образу и подобию Божьему», может легко привести к сдаче территории теологии социологам, поскольку Бог в таком случае начинает считаться утопической проекцией, превосходной степенью человека как такового, к способностям которого мы можем постепенно приблизиться коллективными усилиями. Таким образом, профанный характер учений о совершенствовании человека и социальном прогрессе связан не столько с их формальным отталкиванием от традиционной религии, сколько с их прямой конкуренцией с нею, например, в нарративах о секулярном спасении, развиваемых позитивизмом Конта и социализмом Маркса [Milbank, 1990].

В целом же мы могли бы сказать, что рациональность становится действительно секулярным ментальным процессом, как только мы обучаемся ценностным компромиссам. Решения, которые ранее считались, если говорить словами Тетлока, табуированными (сакральное против профанного) или же «трагическими» (сакральное против сакрального), становятся попросту «эффективными». Грубо говоря, ни одна цель не является безусловной, у всего есть своя цена. В историческом плане этот взгляд ассоциировался с возросшим ощущением личной ответственности за последствия наших действий. Иными словами, разум более не владеет нами, то есть не навязывает нашему мышлению какой-то определенный результат; скорее, уж мы сами обладаем разумом. Интересным прецедентом для рассмотрения этого вопроса является социальная история сублимации насилия: насилие, к которому нас влекли животные инстинкты, превратилось в дозированное применение силы, необходимой для достижения какой-то более высокой цели [Collins, 1974].

Объяснения — а также оправдания и осуждения — вспышек насилия в истории человечества проще всего складываются тогда, когда такие вспышки представляются в качестве обособленных «событий» с ясным разделением на виновников и жертв, как в случае Холокоста. Однако в значительной степени такая ясность является плодом ретроспективной иллюзии, обусловленной повествованиями, в которых привилегия отдается той или иной стороне конфликта. Насилие сублимируется, когда поправки к такому историческому искажению вносятся в сферу действия тех, кто творит насилие. Например, в нацистской Германии геноцид развертывался постепенно, со временем став кумулятивным конвергентным эффектом программы, которая в основном исполнялась непрямыми средствами. Осознание некоего общего смысла совершаемого насилия затемнялось двумя факторами

современных сложных обществ: бюрократизацией государственного управления (в котором каждый чиновник обладает профессиональной властью лишь в строго ограниченной зоне действий, чем он изрядно напоминает эксперта) и адиафорической способностью языка обозначать какой-либо предмет его определяющими качествами, а не именем собственным [Bauman, 1995, ch. 6]. Вместе эти отличительные качества рационального дискурса стали считаться рецептом систематической дегуманизации, как только история рассудила, что нацисты не займут сторону победителей. Если бы они выиграли, их достаточно размытое — или даже банальное (в стиле Эйхмана) — понимание зверств, ими устроенных, было бы нормализовано, не исключено, что примерно так, как по-прежнему нормализована крайняя бедность в развивающемся мире [Fuller, 2006a, ch. 14].

Я говорю об этом, разумеется, не для того, чтобы реабилитировать нацистов, а чтобы определить контекст, в котором упражнения в табуированных сюжетах, как у Тетлока, могут послужить размыванию общепринятых моральных интуиций, способствуя более развитой моральной рефлексии. Давайте поразмыслим о спектре политически допустимых реакций на крайние формы глобальной нищеты, способных достичь — более утонченно и более рассредоточенно — того, к чему, вероятно, стремились нацисты, а именно той хорошо продуманной формы пренебрежения, которой удается подчинить страдание вполне определимых классов жертв более важному обетованному благу. В этом случае можно было бы манипулировать несколькими переменными, заставив участников эксперимента рассмотреть, к примеру, в какой момент потогонная работа становится трудовым лагерем, голодание — пыткой и т.д. Важно подчеркнуть, что смысл такого упражнения не в том, чтобы привить моральный скептицизм, а в том, чтобы разрушить иллюзию, будто

«аморальное» — это область, которая отделена хорошо заметными вешками, а потому ее легко обойти стороной, достаточно простой осторожности. Скорее, в довольно точном соответствии с принципом «грязных рук», выдвинутым экзистенциализмом, потенциал аморальности присутствует в любых суждениях, которые в конечном счете являются «произвольными» в том строгом смысле, что они требуют взвешенного решения, за которое впоследствии данный человек несет личную ответственность. Результатом такого осознания может быть совершенствование самой нашей способности к решительности, толерантности и прощению.

Но даже за пределами неизбежных контроверз, сопровождающих моральные суждения, взращивание табуированных сюжетов может привести к взрывному эффекту. Наиболее очевидные примеры можно взять из истории науки. Представим Тетлока — путешественника во времени, который просит анатома XVI в. подумать о том, как печень могла бы работать в условиях, очевидно представляющих угрозу нормальной работе человеческого тела. С точки зрения анатома, это было бы приглашением к табуированному сюжету, поскольку ему бы понадобилось сопоставить секулярную ценность чисто интеллектуального любопытства с религиозными и нормативными условиями самой практики анатомии, которые ограничивали рассечение человеческого тела и в любом случае заставляли считать печень неотъемлемой частью тела, органом, а не обособленным куском органической материи. Конечно, за последние 500 лет изучение человеческого тела было настолько секуляризовано, что сегодня анатом счел бы такой вопрос совершенно обыденным. «Печень» ныне определяется в функциональных, а не в содержательных категориях, то есть не в качестве вещи с определенным видом, консистенцией, строением или генезом, а просто в качестве всего того, что может надежно работать в че-

ловеческом теле в качестве устройства для химической переработки веществ. Тем временем и само тело стало считаться самоподдерживаемой системой, состоящей из потенциально заменимых частей, которые все больше делаются на заказ и, возможно, будут делаться так в рутинном порядке, если только в исследованиях стволовых клеток произойдет какой-то прорыв.

Я поднимаю этот вопрос потому, что история анатомии помогает лучше увидеть, что случилось с наиболее древними формами экспертизы после научной революции XVII в. Их предметы утратили свои сакральные границы, поскольку различия по природе превратились в количественные различия, так что два состояния, ранее считавшихся совершенно разными (или даже строго противоположными), — такие, как движение и покой, живое и мертвое, земное и небесное, человеческое и животное — теперь рассматриваются в качестве двух полюсов одного континуума, которые можно изучать одними и теми же инструментами и даже подвергать экспериментальным манипуляциям [Funkenstein, 1986]. Критическая сторона научной революции требовала мысленных экспериментов точно так же, как и отстаиваемый Тетлоком принцип «мыслить немыслимое», поскольку цель заключалась именно в том, чтобы спровоцировать противоречивые ответы на концептуальных краях уже существующих экспертных знаний, служившие началом для фундаментального переосмысления — например, у Галилея — природы движения [Kuhn, 1977, p. 240–265]. Итоговым следствием этой трансформации, то есть превращения, если угодно, постоянного в изменчивое, стал переход от аристотелевского взгляда на реальность как лоскутное одеяло обособленных областей бытия к единообразному ньютоновскому взгляду, согласно которому все предметы являются продуктами одной и той же системы законов, постигаемой комплексом одних и тех же когнитивных процессов,

пусть и по-разному используемых в разных условиях [Cassirer, 1953; Кассирер, 1996].

Здесь можно было бы рассмотреть создание экспериментальной дисциплины *аксиоэтиологии*, название которой представляет собой неологизм из двух греческих корней, указывающий на изучение связки ценностей и причин в мышлении человека [Fuller, 1993, p. 167–175; Axtell, 1993]. Посылка этой дисциплины в том, что даже легитимность основных наших представлений об эпистемическом авторитете — и не в последнюю очередь тех, что относятся к самой науке — предполагает определенное понимание того, как они приобрели такой авторитет, границы которого можно проверить, если не подорвать, предложив контрфактические исторические сценарии. И Кун, как известно, совершенно справедливо утверждал, что практикующим ученым необходимо «оруэлловское» (или «виговское») понимание собственной истории, в котором все сложности и все альтернативные траектории прошлого подчищаются ради создания гладкого повествования, объясняющего, почему актуальный фронтир исследований проходит именно здесь, а не в другом месте [Kuhn, 1970, p. 167; Кун, 1977, с. 219; Fuller, 2000b, introduction]. Такие неявные нарративы легитимации балансируют между двумя позициями — сверхдетерминированным взглядом на интеллектуальную историю ежа и недодетерминированным взглядом лисицы. Этот нормативный баланс легко нарушить, что Тетлок и делает в главах 5–7 своей книги [Tetlock, 2005], обращаясь к интерпретациям прошлого, которые, не являясь частью легитимационного архива, пользуются в то же время уважением профессиональных историков.

Я применял некоторые версии указанной стратегии табу, защищая теорию разумного замысла в качестве альтернативы неодарвинистской ортодоксии в биологии [Fuller, 2010]. В частности, я подчеркивал, что наука

не смогла бы приобрести и, наверное, не могла бы сохранить по сей день свое понимание объективности как «взгляда из ниоткуда» и отношения ко всей реальности в целом — а не просто к тому, что важно для выживания нашего вида, — если бы не вера в то, что мы созданы для того, чтобы осмыслить все сущее в целом. Такое самопонимание человечества является специфической чертой авраамических религий. И наоборот, если бы западная наука всегда ориентировалась, следуя заветам дарвинистов, на выживание вида, у нас не возникло бы столь живого интереса к исследованию физических пределов реальности, мы не стали бы приписывать ему столь значительную культурную ценность, да и просто рисковать ради него. Самый остроумный защитник Дарвина Томас Генри Гексли [Huxley, 1893; Гексли, 1893] прекрасно сформулировал эту мысль, заявив, что христианин Ньютон должен был прийти до отступника Дарвина, а не наоборот, иначе не объяснить то рвение, с которым мы переделывали природу по нашему подобию, что могло бы показаться всего лишь гордыней, а может быть, и безумием, если бы люди считали себя всего лишь одним видом из многих. (Гексли переживал, что, поскольку дарвинизм должен стать в XX в. элементом самопонимания человечества, научный прогресс остановится.)

Несложно было бы предложить современным нерелигиозным ученым контрфактический сценарий Гексли, попросив их представить, как западная наука могла бы достичь всеобъемлющих результатов современной физики, если бы первым в науке усвоили Дарвина. Они, вероятно, сочли бы это возможным, но было бы интересно посмотреть, как именно они расписали бы детали этой альтернативной истории, которая не так уже сильно отклоняется от основных тенденций истории реальной. В частности, где можно было бы найти мотив для концептуализации всей реальности в рамках конечной системы математиче-

ских законов, если мы начинаем с предельно приземленного, эгалитарного представления о естественном мире, ориентированном на виды? Конечно, история с Дарвином как первым ученым, пришедшим до остальных, допускала бы развитие достаточно сложных технологий, в том числе и математических методов, которые служили бы выживанию человека в обширном пространстве и на больших промежутках времени. Соответственно, физические науки могли бы, вероятно, достичь высот китайской цивилизации. Однако китайцы не считали разумным или даже просто интересным подводить все свои знания под одну интеллектуальную рубрику [Fuller, 2015, ch. 6].

Конечно, наши подопытные-ученые могли бы отвергнуть всю эту возню со сценариями как пустую фантазию, поскольку наука в действительности определяется своим послужным списком, какие бы теологические мотивы ни действовали в прошлом. В таком случае досадно то, что наше понимание послужного списка науки столь сильно зависит от предвзятости в оценке прошлого. Нам легко вспомнить и даже перехвалить эмпирические и практические успехи науки, игнорируя или недооценивая издержки, провалы и явные катастрофы. Возможно, следующим фронтиром «мышления немыслимого» будет объединение экспертов и непрофессионалов из самых разных областей для составления балансовой ведомости науки. И я предполагаю, что итоговый послужной список покажется настолько неровным, что науке, возможно, понадобится возобновить свои связи с теологией, чтобы не утратить легитимности в будущем.

СУПЕРПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ТОНКОЕ ИСКУССТВО ВЕЧНОЙ ПОДГОТОВКИ К СУДНОМУ ДНЮ

Тетлок недавно ввел понятие *суперпрогнозирования*, которое применяется к прогнозистам, чей послужной спи-

сок в предсказании сложных событий лучше среднего. Свою ключевую идею он позаимствовал у Мольтке, генератора идей, послуживших победе объединенной Германии во Франко-прусской войне 1870–1871 гг., и олицетворения бисмарковской «реальной политики» [Tetlock, Gardner, 2015, ch. 10]. С точки зрения Мольтке, эффективная военная стратегия основывается на позиции не силы или слабости, а *гибкости*. Стратег должен обладать способностью выживать и совершенствоваться после ложных предсказаний, которые неизбежны в любом сложном динамическом предприятии. В самом деле, Мольтке, как известно, утверждал, что ни один план не переживет первого столкновения с врагом. Следовательно, импровизация необходима для успешной реализации любой стратегии.

В этом контексте «стратегия» должна пониматься в качестве системы целей с разными приоритетами, достичь которые можно разными средствами в зависимости от состояния игры. Такое сочетание четкой системы общих целей и инициативы в полевых условиях было характерно для того, что Мольтке называл *Auftragstaktik*, что обычно переводится как «управление боевыми задачами»[1]. Этим выражением предполагается непоколебимая вера в правильность поставленных командиром целей и в то же время готовность войск достигать их любыми необходимыми средствами. Это подход, применение которого в военных условиях было упрощено налаженными линиями коммуникации (сперва телеграфными, а потом и телефонными), выстроенными в виде пирамиды: фельдмаршал должен обра-

---

[1] В военном искусстве *Auftragstaktik* предполагает прежде всего принцип выработки самостоятельного решения на основании полученной задачи, то есть когда командиры на всех уровнях получали некоторую свободу действий в сложившейся оперативной ситуации и должны были действовать исходя из общих целей, но не следуя строго конкретным приказам вышестоящих инстанций. — *Примеч. ред.*

батывать все входящие сигналы, обеспечивая соответствующей обратной связью все полевые подразделения. Общий процесс в какой-то мере напоминает внутреннюю схему функционирования мозга, предложенную в работе Кларка [Clark, 2016], которая уже упоминалась в этой главе.

Суперпрогнозисты Тетлока воплощают предложенный Мольтке порядок действий в своем подходе к будущему, которое концептуализируется в качестве онтологического поля битвы, способной завершиться многими исходами, что соответствует третьей интерпретации наследия прошлого, представленной ранее. В контексте философских подходов к каузации, основанных на контрфактических сценариях, успешный суперпрогнозист опирается на заданное Мольтке понимание будущего как *сверхдетерминированного* в отношении, которое на руку прогнозисту, но в то же время *недодетерминированного* в отношении препятствий, могущих встретиться на пути к осуществлению такого будущего [Fuller, 2015, ch. 6]. Другими словами, не следует предполагать, что начальное состояние игры, включая ее основные тенденции, сохранится на протяжении всего конфликта. Напротив, они могут легко сойти на нет, позволив другим скрытым тенденциям проявить себя. Эта общая установка заставила прусскую армию изобрести современное понятие «военной игры» (*Kriegsspiel*), в которую был встроен фактор удачи. По сути, это были настольные предшественники современных симуляторов виртуальной реальности, которые разрабатывались военными начиная с 1960-х годов, а потом были выведены на коммерческий рынок видеоигр [Mead, 2013].

Важный урок, преподнесенный игровым подходом к войнам, состоит в том, что суперпрогнозист всегда должен учитывать «неизвестные неизвестные», если использовать выражение из теории решений, популяризированное министром обороны США Дональдом Рамсфелдом во время войны в Ираке. Ключевая идея состоит в том, что

такие дальние перспективы могут быть неизвестными, но все же не *непознаваемыми*. Их можно представить, предвидеть и использовать даже в том случае, если не удается полностью преодолеть. В самом деле, можно даже проиграть войну, но выиграть мир, если определять его общими целями. Подобная относительно позитивная ориентация на худшие сценарии характерна для гибкого воина, который всегда ищет «пространство для маневра» (*Spielraum*). Многое здесь зависит от того, насколько абстрактно определены наши военные цели. Например, если основная цель состоит в долгосрочном процветании нашего общества, тогда согласие на капитуляцию с программой последующего восстановления на средства победителей, альтернативой которой является полное уничтожение, может уже через одно поколение привести к формированию общества, в экономическом плане превосходящего то, что было до войны. Вероятно, именно это и произошло с Германией и Японией после Второй мировой войны.

Для более глубокого понимания гибкости ее можно представить в качестве элемента логического квадрата, основные противоположные термины в котором — это подход к риску на основе принципа *проактивности* и подход на основе принципа *предосторожности*, различие между которыми мы уже ввели в этой главе. Проактивный подход относится к риску как возможности, а подход, основанный на приципе предосторожности, избегает его, видя в нем угрозу. Первый подход ассоциируется с точкой зрения предпринимателя, разделяя оптимистическую оценку научных и технологических инноваций, по крайней мере, если ей ничто не противоречит. Второй подход ассоциируется с точкой зрения экологистов, а потому он разделяет — при тех же условиях — пессимистическую оценку инновации. Сторонники обоих подходов в равной мере допускают наличие в мире существенной неопределенности, которая в значительной или даже боль-

шей части определяется влиянием человека, что, в свою очередь, предполагает некоторое распределение позитивных и негативных последствий. Однако они различаются в оценке этих последствий. Первые предполагают, что наш мир *гибок*, а вторые — что он *хрупок* [Taleb, 2012; Талеб, 2014]. Соответственно, проактивная установка по отношению к риску опровергалась бы таким миром, в котором даже небольшое изменение актуальных условий вело бы к катастрофическим последствиям, что демонстрировало бы нашу «хрупкость». И наоборот, подход, основанный на принципе предосторожности, опровергался бы миром, в котором даже большое изменение актуальных условий не только не повредило бы нам, но даже сделало нас сильнее, что доказывало бы нашу «гибкость».

В чем ценность позиции «гибкости»? Она помогает объяснить, как на протяжении всей своей истории люди адаптировались к сложным трансформациям своего жизненного мира. Такие трансформации редко сопровождались парадами, не говоря уже о понимании или регулировании. Показательный современный пример — важная роль компьютерных форм производства, потребления и коммуникации, которые возникли за одно поколение, получив как нельзя более красноречивое воплощение в смартфоне. Тем не менее при взаимодействии этих процессов с базовыми ожиданиями должного функционирования мира возникают определенные проблемы. Говоря конкретнее, новые науки и технологии обычно представляют в новом свете — не всегда, правда, льстящем или хотя бы одобрительном — прежние социальные, политические и экономические стремления, что может привести к существенному переосмыслению ценностной системы общества. Действительно, благодаря пониманию того, что мы вступаем в новый мир, в котором старые желания устарели или их попросту трудно осуществить, мы, возможно, захотим чего-то другого.

Понятием, помогающим в исследовании человеческой гибкости, являются *адаптивные предпочтения*, которыми занимаются социальные психологи и которые играют главную роль в устранении «когнитивного диссонанса», то есть в том, как людям удается сохранить непротиворечивое ощущение осмысленности мира, претерпевающего фундаментальные непредсказуемые изменения. В конце концов, даже когда не получается предсказать будущее, людям все равно нужно каким-то образом мыслить себя в будущем, которое они не смогли предсказать. Адаптивные предпочтения возникают тогда, когда устремления подгоняются под ожидания, определяемые прожитым опытом, то есть мы постепенно начинаем желать того, что, по нашему мнению, для нас достижимо. Формирование адаптивных предпочтений предполагает, в отличие от простой «проверки реальностью», перевоспитание самой мотивационной структуры человека, опирающееся на преимущества ретроспективного взгляда. Большая часть того, что в жизни считается «мудростью», связано с формированием таких адаптивных предпочтений.

Когда социальный психолог Леон Фестингер предложил эту идею в 1950-х годах, она позволила создать четкое преставление о том, как люди сохраняют чувство автономии под натиском событий, управлять которыми они не в состоянии [Festinger, Riecken, Schachter, 1956]. Он мог бы порассуждать и о том, как США и СССР удается сохранить выдержку, несмотря на все превратности холодной войны, но на самом деле он говорил о том, как одна милленаристская секта сумела сохраниться и даже процветала после того, как предсказанный ею Судный день не сбылся. Спустя четверть века социальный и политический философ Юн Эльстер [Elster, 1983; Эльстер, 2019] предложил блестящее обобщение этой идеи адаптивных предпочтений, представив их в виде двух дополняющих друг друга феноменов «кислого винограда» и «сладких лимонов»:

обычно мы преуменьшаем ценность ранее желанных результатов, когда их достижение становится менее вероятным, и завышаем ценность результатов, ранее нежеланных, когда добиться их становится проще.

Интересный вопрос: насколько рационально формирование адаптивного предпочтения? Исходный кейс Фестингера указывал, видимо, на то, что оно нерационально. Проведя несколько часов в сомнениях и отчаянии, секта смогла перегруппироваться, истолковав отказ божества от конца света в качестве знака того, что секта сама сотворила достаточно добра, чтобы ее судьба была переписана. Это заставило членов секты начать проповедь с удвоенными силами. Можно было бы решить, что, если бы секта ответила на несбывшееся пророчества рационально, ее члены просто отказались бы от всякой веры в то, что они состоят в каком-то особом отношении с верховным божеством. Вместо этого секта проделала намного более тонкий трюк. Ее члены не сделали очевидно «иррационального» жеста, который бы заключался в отрицании того, что пророчество не сбылось, и не стали откладывать Судный день на более позднюю дату. Вместо этого они изменили само свое отношение к божеству, которое, как им ранее представлялось, утверждало, что люди не в силах сделать ничего такого, что изменило бы их судьбу. Условия этого заново обговоренного отношения впоследствии наделили членов секты ощущением власти над своей собственной жизнью, что позволило взяться за миссионерские задачи с новыми силами.

Это пример того, что Эльстер называл «сладкими лимонами», и этот феномен не настолько очевидно иррационален, как его коррелят — «кислый виноград». В действительности, «детектор сладкого лимона», если можно так выразиться, может быть ключевым элементом мотивационной структуры людей, способных к глубинному обучению на основе негативного опыта опровергнутого пред-

сказания. Такие люди постепенно приобретают более четкое ощущение того, что они действительно всегда ценили, так что неудачи их только укрепляют. Феномен «сладких лимонов» сбивает наблюдателя с толку, поскольку он показывает, в какой мере мы предполагаем, будто другие разделяют наши ключевые ценности. Мы попросту не уважаем независимость других людей. Также мы ожидаем, пусть даже в каком-то смысле парадоксально, что в силу самой их независимости они со временем станут больше похожи на нас. Так, действия секты, исследованной Фестингером, в период после пророчества сбивают с толку, поскольку ее последователи в определенном смысле продолжили делать то же, что и раньше. Если рассуждать в психологических категориях, они спроецировали второпорядковый «идеальный» смысл самости, который затем можно было отделить от первопорядковой «эмпирической» самости, действия которой оказались неполноценными. Проще говоря, они научились на опыте, но научились они именно тому, что надо больше быть самими собой.

Можно показать, что адаптивные предпочтения являются масштабируемыми, а потому могут стать свойствами целых культур или видов. В самом деле, человечество, возможно, повышает свою способность к формированию адаптивных предпочтений, что является признаком нашей постоянно растущей гибкости. Поразительно то, что провалы и срывы, проистекающие из неверных прогнозов, не слишком мешают подобному опрометчивому поведению в будущем. Однако мы, видимо, с каждым разом все лучше превращаем пассивы в активы, благодаря чему становится проще «проиграть войну и выиграть мир». В этом отношении формирование адаптивных предпочтений служит той же цели, что и «относительное преимущество отсталости», выполнявшее ту же функцию в экономической истории, о чем мы скажем далее. Оба феномена определяются представлением, в одном случае возникшим стихий-

но, а в другом — подсказанным историей, о том, что отступление на шаг назад — это в некоторых случаях лучший способ сделать два шага вперед.

Здесь некоторые полезные идеи можно найти в трактовке *теодицеи* страдания, предложенной Максом Вебером [Joas, 2000, ch. 2]. Теодицея — теологическая дисциплина, которая пытается объяснить любопытное чувство справедливости, присущее Богу, который, судя по всему, допускает значительные страдания даже невинных. Вебер проводит различие между двумя имеющимися у мировых религий способами снять боль, возникающую из-за обманутого ожидания того, что праведное поведение будет вознаграждено. Один способ, изрядно напоминающий «кислый виноград» Эльстера, — это ресентимент, при котором боль проистекает из обесценивания прежних стремлений; другой похож на «сладкие лимоны» — это *экстаз*, который действует прямо противоположным образом, наделяя ценностью состояние, которого ранее пытались избежать. В последнем случае проблеск истины обнаруживается в самом моменте боли, как свет в конце туннеля, служащий мотивом продолжать то же дело с большей решимостью. «Упорство» — вот слово, которым обозначалась эта установка в период раннего Нового времени, когда он применялся, к примеру, к тяготам жизни пуритан-основателей США. Но потом область его применения по милости Поппера была распространена и на все научное мировоззрение в целом [Popper, 1963; Поппер, 2004]. Это помогает объяснить любопытную логику Поппера, согласно которой непрерывная фальсификация научных гипотез не служит фальсификации самого научного предприятия (в противоположность мнению скептицизма), но демонстрирует, напротив, то, что наука все больше приближается к истине.

Обе стороны веберовской теодицеи страдания играют свою роль, пусть и под секулярной маской, в истории

технологических инноваций. Рассмотрим пример автомобильного транспорта. За полстолетия массового производства автомобилей риски, предсказанные в момент их изобретения, сбылись: автомобили оказались очень важным, а может быть, и самым важным источником загрязнения воздуха и шума. Дороги, понадобившиеся для автомобилей, привели к деградации окружающей среды и отчуждению водителей от природы. Однако кажется, что все это не имело значения или, по крайней мере, не имело такого большого значения, чтобы люди вообще отказались от автомобилей. Скорее, их производство наращивалось во всем мире и становилось немного более экологичным, чтобы избежать худших прогнозов. Плохо это или хорошо, но набор потребительских характеристик, продаваемых Генри Фордом и другими производителями в начале XX в., сохраняется и сегодня: свобода и скорость автомобиля для нас важнее не только той связи с природой, что даруется лошадью, но также и относительно низкого экологического ущерба, который обещает современный общественный автотранспорт. Сочетание «кислого винограда» и «сладких лимонов» приводит к возвышению автомобиля как освободителя человеческого духа от «природы», которая сегодня считается источником ограничений. Открытым остается вопрос: может ли это стать хорошей стратегией выживания в долгосрочной перспективе?

Мы отмечали, что прогнозирование влечет эмоциональные инвестиции и в сам процесс, и в результат. Привлекательность суперпрогнозирования Тетлока в том, что способность к предсказаниям можно улучшить, если выработать продуктивную установку по отношению к ошибке или даже приветствовать ее в качестве стимула поднять общий уровень и отказаться от ненужных обязательств. Сторонники военной стратегии Мольтке и милленаристской секты Фестингера применяют эту программу в полевых условиях и одновременно в собственном разуме, проводя

четкое различие между устойчивыми целями и изменчивыми средствами, то есть придерживаясь принципа «цель оправдывает средства», который первоначально придумали иезуиты. Иными словами, они *инструментализируют сами себя,* то есть отдают приоритет такому будущему, которого они желают так сильно, что в процессе его достижения готовы отказаться от определенных черт своих актуальных субъективностей, не являющихся существенными для наступления этого будущего. Если говорить в метафизических категориях, след, создаваемый таким процессом, отождествляет прошлое с отвергнутой «материей», а будущее — с постепенно возникающим «разумом». А если применять категории, часто используемые для обсуждения перемены в мировоззрении, связанной с научной революцией, то единая «субстанция» самости сводится к набору «функций» [Cassirer, 1953; Кассирер, 1996].

На психологическом уровне суперпрогнозирование может пониматься в качестве определенной формы *когнитивной иммунологии*. Иными словами, когда прогноз делается с прицелом на судьбу самого прогнозиста и охватывает спектр возможных вариантов будущего (а не только один-единственный, предсказываемый в качестве наиболее вероятного), становится проще менять курс по мере развертывания будущего, чтобы окончательная цель все же была достигнута. Требуемое для этого переосмысление включает инверсию того, что экономисты считали гиперболическими склонностями потребителей к дисконтированию времени, в силу которого они сосредоточиваются на краткосрочных целях, даже если они подрывают долгосрочные [Ainslie, 1992]. Один особенно креативный, хотя и пугающий способ понимания этой психологический инверсии был изобретен во времена холодной войны стратегом корпорации *RAND* Германом Каном, который как раз и придумал выражение «мыслить немыслимое» [Kahn, 1962].

Это знаковое выражение основывалось на его предыдущей работе, посвященной сценариям развития после термоядерной войны, в которой за сравнительно короткий промежуток времени погибает около 25–50% мирового населения [Kahn, 1960]. Как восстановить жизнь людей в таких обстоятельствах? Этот вопрос не слишком отличается от «пессимистических сценариев», предлагаемых сегодня в условиях быстрого глобального потепления. Идея Кана состояла в том, что нам нужно придумать подходящие технологии, которые станут необходимы на следующий день после конца света. Кроме того, он полагал, что такая стратегия, скорее всего, окажется более работоспособной в политическом смысле, чем попытки активно предотвратить Судный день за счет, скажем, одностороннего ядерного разоружения, делающего нас просто более уязвимыми перед теми, кто не стал разоружаться.

Кановское понимание политики этой ситуации обладало предсказательной ценностью самоосуществляемого пророчества. США в целом последовали его совету. И именно потому, что Судный день так и не наступил, мы сегодня живем в мирное время и с теми богатствами, которые мы стали связывать с Кремниевой долиной, основным выгодополучателем федеральных щедрот США времен холодной войны [Mazzucato, 2013]. Интернет был придуман в качестве распределенной сети связи на тот случай, если централизованная телефонная система откажет из-за ядерного удара. В этом отношении Стэнли Кубрик оказался настоящим провидцем, когда дал своей черной комедии 1964 г. «Доктор Стрейнджлав», герой которой был отчасти списан с Кана, подзаголовок «Как я перестал бояться и полюбил бомбу».

По правде говоря, кановское мышление «с опережением» было характерным для всей сферы военных инноваций, лидером и в то же время главным пиар-ведомством которой стало в относительно недавнее время Управле-

ние перспективных исследовательских проектов (DARPA) [Belfiore, 2009]. Как мы уже отметили, когда говорили в этой книге о Мольтке, военное дело фокусирует сознание на различии между тем, что является расходным материалом, и тем, что необходимо сохранить, а также заставляет ответить на вопрос, как преумножить то, что надо сохранить. В этом случае и правда можно сказать, что «нужда — мать изобретательности». Мы выигрываем даже — и особенно — в том случае, если Судный день никогда не наступит.

Сценарии Судного дня неизменно приглашают к обсуждению человеческой гибкости и адаптивности. Удобная отправная точка — используемое в когнитивной археологии различие между *надежными* и *ремонтопригодными* артефактами [Bleed, 1986]. Надежные артефакты обычно проектируются с запасом, то есть они могут справиться со всеми ожидаемыми формами нагрузки, которые в большинстве своем в реальности никогда не встречаются. Ремонтопригодные артефакты обычно «проектируются с дефицитом», то есть при их применении пользователю легко найти им замену в случае катастроф, которые считаются непредсказуемыми. Хотя в принципе гибкость и адаптивность можно отождествить с каждой из этих двух позиций, проактивный подход холодной войны к Судному дню требует последней [Fuller, Lipinska, 2014, p. 35–36]. Другими словами, нам нужно общество, которое не настолько зависит от наиболее вероятных сценариев, включая наиболее вероятные негативные сценарии, чтобы мы не могли справиться в случае осуществления крайне невероятного и крайне негативного сценария. Познаваемость «неизвестных неизвестных» Рамсфелда является в таком случае очевидным ориентиром.

Табуированные сюжеты Тетлока составляют надежное основание для осмысления подобных крайних сценариев, позволяющего сделать суперпрогнозирование обычной

чертой нашего модуса существования в мире. Кандидаты на роль значимых «неизвестных неизвестных» в современном мире возникают из эффектов взаимодействия относительно независимых научных и социальных тенденций, каждая из которых сама по себе положительна, но вместе они могут привести к неожиданным негативным последствиям. Последние как раз и могут составить соответствующие «табу». Предположим, что технооптимисты оказались правы и что глобальное потепление не стало такой уж катастрофой для текущих социально-экономических трендов, как думают технопессимисты. Однако те же самые оптимисты обычно предсказывают все большую избыточность рабочей силы вследствие развития технологий и в то же время увеличение продолжительности человеческой жизни. В этом случае экстремальный сценарий мог бы заключаться в объединении двух этих трендов. Социологи вслед за Тетлоком могли бы попросить и экспертов, и непрофессионалов выделить негативные моменты в подобном сценарии, а также компромиссы, которые могли бы компенсировать негативные аспекты. Соответственно, стало бы возможным обсуждать ценность табуированных тем, начиная со «всеобщего базового дохода» и заканчивая либерализацией в сфере самоубийства и эвтаназии, причем мы могли бы начать готовиться к жизни в мире, где пессимистические сценарии больше не считаются угрозой нашему «нормальному» образу жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТ СУПЕРПРОГНОЗИРОВАНИЯ К ФОРСИРОВАННОМУ ПРАВЛЕНИЮ

Даже в мире постистины кто-то должен брать на себя ответственность за происходящее. Под «ответственностью» я имею в виду решающее влияние на исход в неопределенной ситуации, то есть ответственным является тот, кто принял решение, оказавшееся наиболее значимым. Одна-

ко сегодня значение этого термина все больше смещается к моральной точке зрения постфактумного наблюдателя. Так, определенные агенты могут быть сочтены «безответственными», если они не приняли «верных» решений. Само выражение «ответственные инновации», популярное в кругах ЕС, предложено в этом именно смысле. Оно отражает представление о постфактумной мудрости, когда «факт» состоит в субоптимальных, а может быть, и катастрофических, последствиях, возникших в жизни самых разных групп после предложенной инновации. В этом случае предпринимается попытка предсказать подобные последствия с целью сгладить, а может быть, и просто избежать, их; отсюда понятие *предупреждающего правления* [Barben et al., 2008].

Предупреждающее правление — территория принципа предосторожености, согласно которому инновации со значительным потенциалом к нанесению ущерба вообще не должны вводиться, какие бы выгоды они ни сулили [Schomberg, 2006]. Сам Евросоюз следует более умеренной версии того же принципа, которая признает общую благотворность инноваций, но при этом требует отслеживания их влияния на общество и среду в целом. Тем самым предполагается, что можно усидеть на двух стульях сразу: инновации должны передаваться в коллективную собственность, а потому возможных пользователей надо заранее поощрять высказывать опасения и даже несогласие, которые будут определять последующее развитие инновации [Schomberg, 2013].

Но если вспомнить Кана, нужно быть ответственным не только до факта, но также и после факта, особенно если он включает субоптимальные эффекты, в том числе в варианте «пессимистических сценариев». Это противоположность предупреждающего правления. Назовем его *форсированным правлением*. Форсированное правление осуществляется на основе предположения, что опре-

деленный ущерб будет нанесен независимо от того, какой курс выбрать, а потому задача в том, чтобы извлечь из него наибольшую выгоду. Я говорю «извлечь наибольшую выгоду», потому что не хочу ограничивать вопросы, подлежащие рассмотрению, смягчением или даже возмещением ущерба, хотя в другой работе я разбирал и эти вопросы. Кроме того, как мы уже отмечали, когда речь шла о задаче «мыслить немыслимое», перспектива значительного ущерба сама может оказаться возможностью для развития инноваций, которые в противном случае были бы сочтены ненужными, если не попросту утопическими, для продолжения жизни в прежней форме.

Форсированное правление предлагает распространить предложенный Каном подход «Судного дня» на мирное время. В конце концов, наиболее радикальные инновации мирного времени, такие как автомобиль или персональный компьютер, обычно признаются «необходимыми» только постфактум, когда они уже успели полностью перестроить весь рынок. Но до этого они часто считаются спекулятивными, если не рискованными. В самом деле, только во второй половине XIX в., когда промышленный капитализм колонизировал народное воображение, само слово «инновация» стало приобретать недвусмысленно положительные коннотации. До этого «инновация» чаще считалась синонимом «чудовищности» [Godin, 2015]. В любом случае капитализм давал предпринимателям все больше возможностей прокладывать путь своими инновациями, играя на уязвимостях лидеров рынка. В историческом плане важной причиной этих уязвимостей была относительная нехватка гибкости у лидеров рынка, не позволявшая им адаптироваться к переменам в тех характеристиках среды, которыми они не могли в полной мере управлять. Именно такой дух соответствует форсированному правлению.

Предположим, что текущий климатологический консенсус верен и что средняя температура на Земле подни-

мется к концу этого столетия по меньшей мере на два градуса Цельсия. Какие группы людей, институты, технологии и т.п., скорее всего, в этих условиях выживут и даже будут процветать, а какие — нет? Те, что относятся к последней категории, должны быть признаны созревшими для сегодняшних предпринимательских инвестиций — не обязательно для того, чтобы предотвратить глобальный рост температуры, но чтобы гарантировать получение наибольшей общей прибыли в ситуации, которая крайне вероятна и в то же время, скорее всего, субоптимальна. Источником такой прибыли должно стать устранение тех базовых условий, благодаря которым эти люди и практики, сегодня оказавшиеся в группе риска, в прошлом были настолько адаптивны. Действительно, неминуемая катастрофа сломает то, что социологи называют «традициями», а экономисты — «зависимостями от пройденного пути», благодаря которым «обычный порядок вещей» так долго казался настолько привлекательным.

Интересным экономическим прецедентом этой общей линии мысли является то, что гарвардский историк экономики середины XX столетия Александр Гершенкрон [Gerschenkron, 1962; Гершенкрон, 2015] назвал «относительным преимуществом отсталости». Его основная идея состояла в том, что, в принципе, каждая следующая страна могла бы проводить индустриализацию быстрее предыдущей, обучаясь на опыте предшественников, для чего не нужно идти по их стопам. «Обучение» сводится к изобретению более эффективных способов достижения и зачастую преодоления уровня развития предшественников. «Преимущество» в данном случае возникает из-за того, что не нужно нести груз определенного прошлого, такого, как хорошо описанный путь к индустриализации, пройденный Англией, начавшийся с законов XVII в. об огораживании. Иначе говоря, страна-новичок может четче видеть «суеверные составляющие» в том понимании

собственного успеха, которое сложилось у предшественников, поскольку новичок вынужден отделять «зерна» от «плевел» в таком нарративе, чтобы разработать собственную стратегию инноваций.

У посткатастрофического человечества будет схожая позиция, позволяющая воспользоваться на глобальном уровне «отсталостью», понимаемой по Гершенкрону, в сравнении с докатастрофическим человечеством, если только архивы человеческих знаний даже после величайшей катастрофы останутся более или менее нетронутыми. Конечно, это предположение само по себе нетривиально. Однако сегодняшние проекты по цифровому архивированию и курированию всего подряд — начиная с артефактов и заканчивая биологическими организмами — делают такое предположение вполне убедительным независимо от наших представлений об уязвимости человечества перед *экзистенциальным риском*, новомодной версией Судного дня.

Представление об «экзистенциальном риске» определяется возможностью крайне невероятного события, которое, случись оно, повлечет абсолютно катастрофические последствия для самого существования человека. Таким образом, высокая цена такого результата психологически уравновешивает низкую вероятность. Это немного похоже на пари Паскаля, в котором возможные негативные последствия неверия в Бога, то есть вечное проклятие, рационально принуждают верить в Бога, несмотря на инстинктивное сомнение в том, что он существует. Философ-трансгуманист из Оксфорда Ник Бостром [Bostrom, 2015; Бостром, 2016] популяризировал выражение «экзистенциальный риск», рассматривая его в контексте развития вычислительных мощностей, которые могут превзойти нашу способность их контролировать. Однако в этой линии рассуждения недооцениваются и слабость, и сила человеческого интеллекта. С одной стороны, мы не

настолько сильны, чтобы создать «оружие массового поражения», как бы его ни определять, которое могло бы уничтожить все человечество в целом; с другой — мы не настолько слабы, чтобы не могли восстановиться после любых ошибок в проектировании или суждении, которые можно совершить в жизненном мире человека при нормальном развитии науки и технологии. В этом контексте форсированное правление выступает средством от пораженчества нашего вида, пример которого явлен пропагандой экзистенциального риска.

Когда военная история пишется с высоты прожитых лет, довольно часто можно прийти к идее форсированного правления. Например, тем, кто хочет, чтобы победители оставались победителями, а проигравшие — проигравшими, неприятно узнать, что поражение во Второй мировой войне принесло Западной Германии и Японии настолько большую пользу, что к 1960-м годам эти страны вошли в число глобальных социально-экономических лидеров. Тем не менее, когда раны со временем немного затягиваются, такое развитие событий обычно начинают считать благоприятным, пусть даже сами условия этого исторического развития подобными быть признаны не могут. Более того, все большая экономическая рационализация военного дела, начавшаяся со Второй мировой войны, сместила горизонт форсированного правления с ретроспективного взгляда к прогностическому. В самом деле, в наши времена наблюдается развитие частных и корпоративных инвесторов, которые стремятся извлечь выгоду из крупных катастроф — как природных, так и рукотворных. Пример этой тенденции — компания *Halliburton*, специализирующаяся на инфраструктурных проектах в нефтеносных регионах, которые периодически нуждаются в реконструкции именно потому, что там часто бывают военные конфликты. Можно возмущаться выгодными условиями контрактов и авантюризмом этой компании, но согласим-

ся с тем, что она тоже занимается форсированным правлением, пусть и с эгоистическими целями.

За этой относительно оптимистичной установкой по отношению к потенциальным выгодам катастрофы скрывается спорная идея, утверждающая, что компетенции, связанные с творчеством и разрушением, фундаментально схожи, или, если повторить непритязательную остроту Иосифа Сталина, «не разбив яиц, не приготовишь омлет». В 1940-х годах эта мысль приобрела более ясные очертания, в том числе благодаря популяризованному Шумпетером [Schumpeter, 1942; Шумпетер, 1995] понятию «созидательного разрушения», выражающему ключевой смысл предпринимательской инновации и саму энергию беспрестанного омоложения капитализма благодаря созданию новых рынков на основе старых. (Четвертью века ранее Шумпетер ввел это представление в контексте транспортной революции Форда.) Но эта мысль о связи творчества и разрушения была намного убедительнее прояснена Дж. Робертом Оппенгеймером, которому, когда он присутствовал при первом взрыве атомной бомбы, вспомнилось индуистское божество Шива, «создатель и разрушитель миров», и эта фраза до сих пор остается самым ярким и точным описанием ядерной энергии.

И в созидании, и в разрушении есть два ключевых элемента применения силы: концентрация ресурсов и стратегическая фокусировка. Конечно, разрушение может быть созидательным только для тех, кто, пережив его, усиливает свои позиции. Или, как сказали бы экономисты, эксплуатация любой благоприятной возможности влечет альтернативные издержки, изрядно напоминающие третью интерпретацию наследия прошлого, представленную ранее в этой главе: создать один мир — это отложить, а может быть, и просто уничтожить, возможности другого мира. Однако созидательное разрушение может указывать также на возможность или готовность видеть более глу-

бокую выгоду в мнимом ущербе, причиненном этим альтернативным вариантам будущего, выгоду, которая может заключаться в расширении наших горизонтов, позволяющем реализовать наши идеалы даже в том мире, что не был выбран нами. Этическая и политическая задача, с которой сталкивается защитник форсированного правления, состоит в том, чтобы придать убедительность такой интуиции, то есть представить опыт необратимого материального ущерба в качестве дефицита воображения. Я уже обсуждал эту задачу в категориях *морального предпринимательства*, то есть своего рода прикладной теодицеи [Fuller, 2011, ch. 5; 2012, ch. 4]. Конечно, эта задача непроста.

Однако ее никак нельзя считать фантастической. В самом деле, указанное превращение ущерба во благо должно становиться все более значимым, когда те резкие перемены, которые в прошлом потребовали бы военной агрессии или предпринимательского гения, сегодня могут допускаться или же просто провоцироваться проективными исследованиями, постоянно применяющимися в прогнозировании. Например, Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT недавно представила оценку, согласно которой все такси Нью-Йорка можно заменить 3000 совместно эксплуатируемыми автомобилями с полностью занятыми посадочными местами вроде тех, которые уже используются в *Uber*, что позволит скорректировать поток автотранспорта и снизить нагрузку на окружающую среду [Cooke, 2017]. Недостатком такого предложения является то, что таксисты потеряют средства к существованию. Конечно, отреагировать на такое исследование можно по-разному, в том числе попытаться помешать ему стать рабочей программой. Например, можно заказать исследования противоположной направленности, что соответствовало бы превращению науки в служанку войны. Однако такая деструктивная программа

способна включить и некоторые планы по перепрофилированию уволенных таксистов, показывающие, что для общества будет выгоднее, если они не будут выполнять ту работу, которой первоначально обучались. В таком случае наука использовалась бы, скорее, в качестве агента божественной справедливости, то есть разновидности прикладной теодицеи, по решению которой водители внезапно утрачивают, причем не по своей вине, имевшееся у них ранее сравнительное преимущество. Довольно очевидно, что справедливость такой программы будет зависеть от того, что выйдет из подобного перепрофилирования.

В этом пункте стоит обратить внимание на то, что «форсированное правление» определяет «ответственную инновацию» в достаточно глубоком, но при этом трудноуловимом смысле. В выражении «ответственная инновация» вполне допустимо расслышать представление о том, что инновация может быть безответственной, чего, конечно, надо избегать. Однако я имею в виду нечто другое, а именно то, что инновация неизбежна, так что задача в том, чтобы распространить зону «ответственности» на весь ее процесс. Или, точнее, поскольку она сама должна считаться основным компонентом человеческого прогресса, было бы безответственным не развивать ее, пусть даже в некоторых случаях определенные инновации приводили к резким переменам или даже к катастрофам. Собственно, форсированное правление — это страховка от любой антиинновационной реакции, возникающей после серьезного перелома: оно несет ответственность не только *за*, но и *перед* инновацией.

В конечном счете форсированное правление опирается на *принцип проактивности*, который выступает противоположностью принципа предосторожности, введенного в начале этой главы. Если принцип предосторожности повелевает «Не навреди!», то принцип проактивности говорит: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда!». Мой

главный ориентир здесь — Жан-Поль Сартр, утверждавший, что у всех нас «грязные руки», независимо от того, что считать конечным итогом наших действий — пользу, принесенную миру, или же вред. Даже программы, основанные на принципе предосторожности и нацеленные на сокращение риска для окружающей среды, например, путем запрета генетически модифицированных организмов или снижения выброса углекислого газа, влекут альтернативные издержки в связи с развитием науки и технологий, которые при оценке перспектив будущих поколений также должны заноситься в балансовую ведомость человечества. В конце концов, ущерб, который удалось предотвратить за счет выбора определенного курса (например, снижения экологических рисков), не менее спекулятивен, чем «ущерб», причиненный в силу отказа от определенного курса (например, развития науки и технологий). И тот и другой зависят от контрфактических предположений. Тем не менее обычно мы приписываем большую реалистичность контрфактическим предположениям первого рода, возможно, в силу их привязки к действиям, уже явно совершаемым в мире. Если говорить в целом, подобная асимметрия в интуициях поддерживала принцип предосторожности. Однако юриспруденция учитывает задействованные в таком случае когнитивные искажения, которые она пытается компенсировать, уделяя значительное внимание вине по небрежности.

Конечно, форсированное правление обращается к более широкой концепции небрежности, чем обычно предполагается в юриспруденции, что указывает на постистинностный подход к нормативности в целом. В частности, в сфере его интересов находятся также препятствия, тормозящие способность людей к инновациям. Эта идея имеет кое-какие прецеденты в праве. Рассмотрим обоснование самой идеи патентов и авторского права, впервые выдвинутое в период раннего Нового времени. В со-

ответствии с ним самодовольство было главным врагом процветания, с которым можно было бороться лишь открытым поощрением предпринимательства [Fuller, 2002, ch. 2]. Как мы уже отмечали в главе 4, такой подход исторически был связан с библейской идеей о том, что человечество пребывает в падшем состоянии, которое требует своего рода восстановительных операций. Новое время во многом определялось именно предпринимательством и инновациями, которые сменили веру и набожность в качестве основных методов проведения таких восстановительных операций. Соответственно, мы видим сдвиг в модальном статусе инноваций: ранее они если и допускались, то нехотя, а теперь стали поощряться, а может, и открыто предписываться. Такой сдвиг сводится к тому, что «статус-кво» или «традиционная мудрость» стали считаться не источником авторитета и стабильности, а чем-то непременно подозрительным, поскольку они мешают попыткам людей реализовать свой потенциал.

В заключение приведем один пример. Рассмотрим политические программы, которые были нацелены на предоставление «равных возможностей» каждому следующему поколению. Объединенный университетский фонд помощи негритянским студентам (*United Negro College Fund*), как известно, продвигал эту идею в 1971 г. в американской рекламной кампании под лозунгом «Разум — это то, что нельзя тратить понапрасну». Поколение чернокожих должно получить фору (ибо в ином случае оно могло бы отстать) в виде навыков, полезных в будущем, фундаментальная неопределенность которого получает положительную интерпретацию в качестве единых правил игры, где обычные формы преимущества (и недостатков) должны перестать действовать. Это, конечно, очевидно более прогрессивный путь к достижению примерно того же состояния разума, в которое Кан загнал военных времен холодной войны, запугав их тем, что ядерная «нулевая от-

метка» создаст такие единые правила игры. За обоими сценариями скрывается моральный ущерб, причиненный отказом от взращивания человеческого потенциала, который признается ущербом по непростительной небрежности, чьи негативные последствия ощущаются как тем, кто допустил небрежность, так и теми, кем пренебрегли, если учесть то, что обычные формы преимущества и отставаний не должны сохраняться в постоянно меняющемся мире. Следовательно, в кампании Объединенного университетского фонда помощи негритянским студентам неспособность чернокожих интегрироваться в американское общество становится неспособностью белых интегрировать их. В конечном счете это неспособность воображения белых представить, насколько лучше была бы ситуация, если бы краткосрочная стратегия «достаточно хорошего», которую в начале этой главе мы называли достаточностью, не служила столь удобным мерилом для любого глобального блага, к которому мы только можем стремиться.

РЕЗЮМЕ

Ситуация постистины не просто продукт нашего времени, она неотделима от самой истории западной мысли, в которой первоначально она нашла выражение в платоновских диалогах. Более того, постистина — ситуация, которая не ограничивается политикой, охватывая также и науку. В самом деле, ситуация постистины позволяет нам яснее понять взаимодополнительность политики и науки как сфер мышления и действия. Каждая по-своему участвует в борьбе за «модальную власть», то есть контроль над тем, что возможно.

В книге изучается игровое поле, общее для политики и науки, для чего применяются такие понятия, как «военно-промышленная воля к знанию», «протнаука» и «форсированное правление». Понятия эти являются «постистинностными» потому, что предполагают отказ принимать правила эпистемической игры за чистую монету. Знание не ограничивается консенсусом экспертного мнения, и даже то, что эксперты считают знанием, не должно интерпретироваться в том смысле, какой предпочтителен самим экспертам.

Хотя многие возмущались недавними постистинностными кампаниями, которые привели к победе брекзита и Трампа, считая их проявлением «антиинтеллектуально-

го» популизма, лучше видеть в них болезни роста постепенно созревающего демократического интеллекта, с которым экспертам со временем придется свыкнуться. Генеалогические линии интеллектуального наследования, ранее определявшие формирование дисциплинарного знания в академии, возможно, будут считаться последним оплотом политической экономии, основанной на поиске ренты, тогда как дипломы и степени — фактором торможения, а не упрощения оборота знаний в обществе.

Чтобы понять, что ситуация постистины никуда не денется, не нужно выносить вердикт о судьбах, скажем, брекзита или Трампа. Неуважение постистины к общепризнанным авторитетам в конечном счете компенсируется ее концептуальной открытостью к людям и идеям, которые раньше игнорировались. Их призывают выйти вперед и показать себя на более широком игровом поле. В этом отношении ситуация постистины отмечает собой триумф демократии над элитизмом, хотя такой триумф сдвигает равновесие скорее к «хаосу», чем к «порядку».

Платон понял, что единственный способ усмирить хаотические налонности демократии — сделать так, чтобы обсуждение правил игры и обсуждение чьей-либо позиции в игре велись отдельно друг от друга, то есть разделить то, что логики назвали соответственно вопросами «первого порядка» и «второго порядка». Мы можем обсуждать одни или другие, но не те и другие одновременно. Вот что такое «ситуация истины». Ситуация постистины опровергает эту посылку, поскольку игроки борются за положение в актуальной игре, но в то же время пытаются изменить правила игры, чтобы максимизировать свое суммарное преимущество.

В утопии постистины демократизируются и истина, и ложь. То есть никто не будет считаться совершенно безнадежным — ни безнадежно правым, ни безнадежно неправым. Хотя эта перспектива представляется впол-

не эгалитарной, прежде чем подписать договор, вам стоит обратить внимание на мелкий шрифт. У вас не будет возможности ни почивать на лаврах, ни жить в мире. Вам всегда придется получать еще один шанс, чтобы сыграть в игру, правила которой всегда могут быть оспорены. Возможно, именно по этой причине некоторые предпочитают ситуацию истины, и не важно, кто устанавливает правила игры.

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Адаптивное предпочтение — свойственная желаниям людей тенденция подстраиваться под ожидания, как они видны в свете прожитого опыта, что является стратегией снижения когнитивного диссонанса. Этот феномен может, с одной стороны, доказывать всего лишь неспособность прямо признать свои ошибки, а с другой — показывать, что люди со временем начинают понимать, что им на самом деле важно, а это позволяет им двигаться вперед. Ситуация истины придерживается первой позиции, ситуация постистины — второй.

Антиэкспертная революция — более общий феномен, которому соответствует выражение «постистина». Он отмечается, с одной стороны, все большей доступностью образования и обучения, а с другой — сопутствующим ей все более подозрительным отношением к политическим и научным авторитетам.

Аристотель (384–322 до н.э.) — ученик Платона, самый влиятельный западный философ вплоть до XVII в. В отличие от Платона, он, вместо того чтобы запрещать деятельность драматургов как поставщиков альтернативных версий реальности, требовал, чтобы сюжетные линии пьесы достигали завершения, благодаря чему они должны

получить гриф «вымысла» как противоположности «факта», существующего за пределами театра.

Бернейс Эдвард (1891–1995) — главный враг Уолтера Липпмана, вместе с которым он работал на успешной пиар-кампании Вудро Вильсона, убедившей американцев вступить в Первую мировую войну. Бернейс отдавал предпочтение демократизированному и коммерциализированному подходу к связям с общественностью, которые он превратил в индустрию с миллиардным оборотом, основанную на исследованиях рынка с применением экспериментального подхода, способного впечатлить менеджмент. Многие методы, опирающиеся на его работы, включая фокус-группы, стали достоянием социологии.

Брекзит — выход Великобритании из Евросоюза (ЕС), решение о котором было принято в 2016 г. на референдуме. Он показал наибольшую явку избирателей за всю британскую историю, однако результат политические и научные элиты сочли поразительным и вредоносным как для Великобритании, так и для ЕС. Но также его можно небезосновательно считать впечатляющей демократической отповедью авторитету экспертов.

Бэкон Фрэнсис (1561–1626) — личный юрист английского короля Якова I, предложивший первое специальное определение научного метода, сформулированное в категориях не только его внутреннего устройства, но также его способности к социальным преобразованиям. Бэкон, большой поклонник инквизиторских подходов к судопроизводству, разработанных в континентальной Европе, считал природу вражеским свидетелем, который скрывает тайны от человечества, в чем, в свою очередь, выражалось «падшее» состояние человека, как оно понимается в Библии.

Вебер Макс (1864–1920) — основатель социологии как академической дисциплины, который понимал взаимодополнительность политической и научной рациональности — в общем и целом — в категориях постистины.

Веритизм — эпистемологическая позиция в современной аналитической философии, настолько жаждущая отделить знание истины от любого понимания человеческой деятельности, что веритист может обладать знанием, высказывая достоверные истины, но при этом даже не понимать, как ему это удалось. Самое большее, что можно сказать в защиту веритизма, так это то, что он явно тормозит то второпорядковое мышление, которое определяет ситуацию постистины.

Википедия — сетевая энциклопедия, выходящая на нескольких языках и являющаяся, несомненно, самым крупным коллективным интеллектуальным проектом из всех когда-либо добивавшихся успеха как по количеству участников, так и по числу тем. Несмотря на значительные эпистемические недостатки, у Википедии есть все права считаться главным примером всеобщего демократического производства знаний.

Витгенштейн Людвиг (1889–1951) — влиятельный представитель аналитической философии XX в., чья карьера удобно делится на две половины, соответствующие тому, что в этой книге называется ситуацией «истины» («Логико-философский трактат») и ситуацией «постистины» («Философские исследования»).

Военно-промышленная воля к знанию — противовес обычным дисциплинарным нормам академического исследования. Как указывает термин «военно-промышленная», такая форма исследования обладает более четкой организацией и больше ориентирована на цель, обычно предполагающую некоторое улучшение условий человеческой жизни. Соответствующее знание, как правило, стремится к «продуктивности», под которой имеются в виду одновременно эффективность и действенность. Главными образцами этого подхода в XX в. выступали частные фонды.

Второпорядковое мышление — то, что обычно обозначается фразой «занять метапозицию», например, в ме-

таязыке, металогике или метапсихологии. Имеется в виду мышление о правилах игры, в которую мы играем, предполагающее, в частности, что возможны разные правила, в соответствии с которыми игра может считаться правильной. Второпорядковое мышление — базовое состояние сознания человека в ситуации постистины.

Габер Фриц (1868–1934) — пример междисциплинарного ученого эпохи постистины, изобретения которого в области химии, применяемые на радикально разных игровых полях, вероятно, оказали наибольшее влияние на максимальное количество жизней за всю историю человечества, если считать как тех, кто благодаря им смог выжить, так и тех, кто из-за них погиб.

Галилей Галилео (1564–1642) — человек с рекламного плаката ситуации постистины, по крайней мере, по мысли философа Пола Фейерабенда. Хотя сегодня Галилей считается светочем научной революции, в свое время он стратегически переоценивал свои притязания на знание, сделав ставку на то, что другие сочтут их достаточно убедительными, чтобы создать условия, в которых они могли бы действительно найти подтверждение. И он оказался прав.

Голливудское знание — двусмысленное выражение, которое может означать либо гиперреализм кинофильмов, который заставляет людей смешивать экранный вымысел с внеэкранным фактом, либо гибридную форму знания, производимого учеными-естественниками и другими академиками в процессе консультирования с киностудиями, занятыми съемками фильма, что, в свою очередь, может стимулировать общественное и даже профессиональное понимание того, что вообще возможно для науки. Ситуация постистины поддерживает последний вид знания, а первый считает своим инструментом.

Ежи — термин Филипа Тетлока, означающий интеллектуалов, которые упорно предсказывают одно и то же при любых обстоятельствах, что по прошествии значи-

тельного времени наделяет их ложным ореолом последовательных, позволяющим раздуть значение тех немногих случаев, когда они действительно оказываются правы.

Игра (наука как игра) — постистинностное понимание науки, согласно которому важнее знать условия, в которых притязание на знание может быть истинным или ложным, чем знать, действительно ли оно истинно или ложно. В этом смысле наука — это игра за контроль над тем, что в этой книге называется «модальной властью».

Избыточность информации — понятие, периодически всплывавшее со времени позднего Средневековья и выражающее не только умножение числа текстов, но также и неспособность читателей решить, как с ними взаимодействовать. В период раннего Нового времени это привело к персонализированным подходам к знанию, наиболее яркий пример которого был дан творчеством Жан-Жака Руссо. Однако в последние годы возник более поляризованный подход, в соответствии с которым большая часть того, что считается информацией, на самом деле является либо шумом, либо содержанием, которое нам еще предстоит научиться в полной мере использовать (также оно известно как «нераскрытое публичное знание»).

Интерсекциональность — признание того, что у людей много идентичностей, и некоторые из них более выгодны или вредны для них, чем другие. В эпоху Нового времени государства поддерживали социальный порядок, стабилизируя такие маркеры идентичностей, как раса, класс и гендер. Однако в эпоху постистины эта задача передается на усмотрение самоорганизуемой политики идентичности, что приводит к представлению об обществе как множестве пересекающихся силовых игр, где идентичность игроков может быть такой же текучей, как идентичность игр, в которые они играют.

Исследования науки и технологий (*Science and Technology Studies, STS*) — междисциплинарное ответвление

социологии знаний, первопроходцы которого были в основном интеллектуальными аутсайдерами. На первоначальной социально-конструктивистской стадии, пришедшейся на последнюю четверть XX в., эти исследования считались по своей ориентации постмодернистскими, выступая способом «демистификации» науки. Сегодня мы могли бы сказать, что они стали прологом к ситуации постистины. Однако в последние годы они попытались, пусть и с переменным успехом, отойти от первоначальной позиции.

Кайрос — понимание времени («тайминга»), необходимое для любой успешной «лисы». Это момент, когда применение доступной силы должно дать максимальный эффект, решительным образом изменив игровое поле, в идеале на благо того, кто эту силу применяет. После такой перемены вся предшествующая история переписывается ради легитимации нового революционного порядка.

Кан Герман (1922–1983) — ведущий аналитик *RAND Corporation* в период холодной войны, отстаивавший принцип «мыслить немыслимое», под которым имел в виду получение максимального результата из «ограниченной ядерной войны» путем инноваций, которые сгодились бы для мира, где были бы уничтожены фундаментальные составляющие нашей современной инфраструктуры. Основная мысль состоит в том, что, даже если Судный день не наступит, инновации все равно останутся с нами. Плодом такого подхода стал Интернет. Кан был одним из прототипов героя классического фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав» (1964).

Кант Иммануил (1724–1804) — обычно считается основоположником современной западной философии, его главным достижением стало формальное признание того, что, даже если бытие Бога не может быть доказано, в нашем разуме все равно существует богоподобная дыра, за-

полняемая второпорядковым мышлением, которое является источником того, что в этой книге называется «модальной властью».

Кастомизированная наука — особая установка по отношению к науке, характерная для ситуации постистины, ставшая возможной благодаря выросшему уровню образования и в то же время более широкой доступности источников информации. Поскольку она тесно связана с протнаукой, ее эпистемология отмечена четким различием между тем, что мы «знаем» (то есть узнали), и тем, во что мы «верим» (то есть чем руководствуемся в действиях).

Коллегиальное рецензирование — элемент академического новояза, указывающий на относительно небольшое число академических ученых, выносящих суждения по большей части академических работ, причем на основе этих суждений определяются карьерный рост и общественное доверие. При этом коллегиальное рецензирование действует в качестве стихийно сложившегося рэкета, что удивительно, если учитывать доверие и академиков, и неакадемиков к этому процессу.

Консенсус научный — идеологически переоцененное понимание того, что самоорганизуемая и квалифицирующая сама себя группа людей, называемых «учеными», решает вопрос о такой коллективной собственности на единицы знаний, произведенные некоторыми из них в рамках академического процесса «коллегиального рецензирования», которая затем представляется остальному обществу в качестве наилучшей версии истины, какая только может быть у человечества.

Кун Томас (1922–1996) — наиболее влиятельный теоретик науки второй половины XX в., выдвинувший циклическую концепцию науки, в которой продолжительные «нормальные» периоды чередуются с короткими «революционными» фазами, соответствующими, если использовать категории данной книги, ситуации «истины» и си-

туации «постистины», причем в первой господствуют львы, а во второй — лисы.

Липпман Уолтер (1889–1974) — вероятно, лучший пример практикующего платоника в XX в., поскольку он участвовал в формировании доминирующего образа Америки, создаваемого ею самой на мировой сцене в период с Вудро Вильсона до Ричарда Никсона. Одним из первых выступил против попыток Эдварда Бернейса маркетизировать связи с общественностью, назвав их «фабрикацией согласия». Он стремился создать более централизованный и строгий подход к информированию общества, что закрепило за ним славу крестного отца «профессиональной», или «объективной», журналистики.

Лисы (в понимании Макиавелли) — термин Вильфредо Парето, обозначающий элиты, которые считают, что могут увеличить свое преимущество, сняв ограничения платоновского учения о двойной истине, что позволит большему числу людей определять правила, по которым устанавливается сама истина. Если говорить в общепринятых политических категориях, установка лис совпадает с «оппозицией», чьей визитной карточкой являются «перемены» и «новая кровь».

Лисы (в понимании Эразма Роттердамского) — термин Филипа Тетлока, обозначающий интеллектуалов, чья точность в предсказаниях ограничивается серией краткосрочных прогнозов, а потому они не способны видеть более общие тенденции, которые только-только складываются. Термин определяется проведенным Эразмом различием между лисой, которая обычно знает много небольших вещей, и ежом, который знает одну вещь, но зато большую. В категориях Макиавелли, это различие выглядит так: поскольку лисам недостает традиционной легитимности «львов», они всегда должны доказывать свою успешность, что ограничивает их способность к глубокому провидению будущего.

Львы — термин Вильфредо Парето, позаимствованный им у Никколо Макиавелли для обозначения тех элит, которые стремятся увеличить свое преимущество, строго следуя платоновскому учению о двойной истине, отдавая предпочтение тем, кто готов и способен играть по правилам, по которым в настоящий момент определяется истина. Если говорить в общепринятых политических категориях, «истеблишмент» обычно занимает львиную позицию, поддерживая ценности «стабильности» и «традиции».

Междисциплинарность — такая форма исследования, которая в идеале заимствует идеи из разных академических дисциплин и в то же время заглядывает за их границы. Чаще стимул к такого рода исследованиям возникает за пределами академических дисциплин, особенно в той области, которая в этой книге называется военно-промышленной волей к знанию.

Модальная власть — контроль над тем, что может быть истинным или ложным, отражаемый в представлениях о том, что возможно и невозможно, необходимо и случайно. В истории философии такая форма знания называлась трансцендентальной, хотя его источник вызывал много споров. С точки зрения Платона, она проистекала из воли царя-философа, становящейся законом для всех остальных. В христианскую эпоху она требовала постижения разума Бога-творца, тогда как в эпоху Нового времени все более важную роль стала играть наука. Однако Кант, как известно, доказал, что наше чувство трансцендентального просто отражает пределы нашего разума, что, в свою очередь, послужило развитию ситуации постистины.

Мольтке граф Гельмут фон (1800–1891) — один из величайших военачальников всех времен и народов, организатор победы объединившейся к тому времени Германии во Франко-прусской войне. Его учение о «перманентном

чрезвычайном положении», согласно которому в мирное время страна должна постоянно готовиться к следующей войне, является одним из источников «суперпрогнозирования» и «форсированного правления».

Нераскрытое публичное знание — выражение, придуманное специалистом по библиотековедению Доном Суонсоном в 1980-е годы, обозначает обширный запас академических публикаций, которые редко изучаются, а порой и просто игнорируются даже самими академиками, несмотря на то что в них скрываются неосвоенные эпистемические ценности, которые, впрочем, в современную эпоху использовались при решении военно-промышленных задач.

Относительное преимущество отсталости — выражение, придуманное историком экономики Александром Гершенкроном для описания преимущества стран, поздно приступивших к индустриализации, а потому способных учиться у своих предшественников, не повторяя их историю. Это может привести к инновациям, которые ускоряют развитие, так что в итоге припозднившиеся страны могут обойти предшественников. Форсированное правление видит в любой крупной катастрофе благоприятную возможность, представившуюся тем, кто эту катастрофу пережил.

Парето принцип 80/20 — 80% наблюдаемых результатов является следствием 20% имеющихся поводов. Парето утверждал, что его принцип выполняется в столь разных аспектах столь многих обществ, что составляет закон природы. В частности, независимо от того, какой именно у общества источник производства богатства, 80% такого богатства окажутся в руках 20% населения. Похоже, что этот принцип применим и к академическому производству знания, и вопрос в том, составляет ли он просто иерархию (что соответствует точке зрения львов) или же ресурс, который можно эксплуатировать (точка зрения лис).

Парето Вильфредо (1848–1923) — основоположник неоклассической политической экономии и социологии, который до 1960-х годов конкурировал, видимо, за влияние с Карлом Марксом. Парето модернизировал Макиавелли для мира современной либеральной демократии, в том числе благодаря своей теории «оборота элит» (львов против лис), которая отображает динамику ситуации постистины.

Пастера квадрант — термин, связанный с методами биохимика XIX в. Луи Пастера, который занимался многими исследованиями, нацеленными на раскрытие фундаментальных принципов, необходимых для улучшения человеческой жизни в тех областях, которые для Франции были наиболее проблемными. Затем подобные «фундаментальные исследования, имеющие прикладное значение», стали связываться с генетикой, тогда как в XX в. похожие попытки предпринимала евгеника. В любом случае они подрывают академический миф о том, что фундаментальные исследования должны предшествовать любым полезным применениям. Военно-промышленная воля к знанию развивается именно в квадранте Пастера.

Платон (427–347 до н.э.) — канонический первооснователь западной философии, который признал, что будущим правителям следует усвоить постистинностный подход к реальности, в соответствии с которым авторитет действует в силу применения модальной власти. Корпус его произведений в основном состоит из упрощенных драм или «диалогов», в которых протагонистом выступает Сократ. В некоторых из таких диалогов Сократ доказывает, что идеальное государство должно цензурировать драматические представления. Это суждение стало отправным моментом в истории учения о двойной истине.

Поиск ренты — свойство феодализма, неприемлемое ни для капиталистов, ни для социалистов, состоит в способности порождать стоимость, снижая, а не повышая про-

изводительность того или иного ресурса — земли или рабочей силы. Такая ситуация становится возможной благодаря монопольной природе собственности, которая, в свою очередь, допускает взимание «ренты» до всякого применения ресурса. Пока у потенциальных потребителей нет иной альтернативы, кроме как обратиться к собственнику, чтобы получить то, что им нужно, ренты могут продолжать собираться. В ситуации постистины экспертиза — и, возможно, академическое знание в более общем смысле — рассматривается в качестве одной из форм поиска ренты.

Поппер Карл (1902–1994) — прямой наследник Джона Стюарта Милля и, возможно, единственный философ XX в. с одинаково важным вкладом как в политическую, так и в научную мысль, основная идея которого состояла в «открытом обществе». Хотя при жизни Поппера в полной мере не оценили, он играл роль лисы, призывая к «перманентной революции» в науке, которая стала ответом на предложенную Томасом Куном в 1960-х годах более львиную концепцию научных перемен.

Постистины ситуация — социальный порядок, участники которого всегда и везде думают о том, в какую игру играть, и в то же время о том, какой ход сделать в той или иной игре, в которой они в данный момент участвуют. Такое общество приостанавливает действие традиционной посылки о том, что у его членов есть общая реальность, а потому и общее понимание условий истины. Платон полагал, что хорошо организованное общество должно ограничивать ситуацию постистины его правящим классом, который затем определяет условия общей реальности, применимые ко всем остальным.

Предосторожности принцип — стратегия рациональности как избегания риска, в соответствии с которой приоритет отдается предотвращению вреда, а не сотворению блага. Этот принцип, увековеченный многими европейскими законами в сфере здравоохранения и экологии,

предполагает, что высокий риск соответствует высокой угрозе, а потому такой принцип стремится к «устойчивому» миру, в котором сменяющие друг друга поколения обеспечиваются примерно теми же ресурсами и возможностями, что и предшественники.

Предупреждающее правление — развивающаяся в рамках исследований науки и технологий (*STS*) область, в которой организуются фокус-группы, вики-сайты и другие платформы для оценки установок людей по отношению к инновациям, которые должны появиться в ближайшем или относительно недалеком будущем. Если сами исследователи *STS* обычно довольствуются акцентуацией колебаний, если не страха, испытываемых сегодня людьми при мысли о будущем, то их заказчики работают в русле рыночных исследований, чтобы настроить содержание и брендирование грядущих инноваций на их максимальную рецепцию обществом.

Проактивности принцип — стратегия рациональности как поиска риска, в соответствии с которой приоритет отдается сотворению блага, а не предотвращению вреда. Предпосылка, утверждающая, что высокий риск соответствует значительной возможности, определила предпринимательский этос, а вместе с ним и революционную науку, отстаиваемую Карлом Поппером. Обосновывается это тем, что, хотя блистательный успех лучше очевидного провала, последний может научить — тех, кто выживет — большему, чем длительная возня.

Протестантская Реформация — формализация доктринальных различий в западном христианстве за счет умножения числа церковных властей в XVI в., которая, в свою очередь, стала теологическим основанием для развития секулярной современности. Также к Реформации восходят некоторые типичные для ситуации постистины ходы, которые можно обнаружить и в процессе формирования протнауки.

Протнаука — сокращение от выражения «протестантская наука», означает разрозненные научные движения, направленные против истеблишмента, которые часто изображались в виде псевдонауки, включая креационизм и врачебные практики нью-эйджа. Их последователям свойственно желание напрямую включить науку в свою жизнь, то есть сделать примерно то же, что протестанты-реформаторы хотели сделать с христианством. Результатом оказывается то, что в этой книге называется кастомизированной наукой.

Псефология — социологическое исследование поведения избирателей, обычно понимаемое в качестве разновидности исследований общественного мнения, которые, в свою очередь, восходят к тому виду исследований рынка, что отстаивался Эдвардом Бернейсом. Когда участники псефологических экспериментов стали больше осознавать то, что социологи их изучают, они научились давать правильные ответы, все больше путая псефологов, что стало ясно в ситуации брекзита и избрания Трампа.

Реализм — официальная философия того, что в этой книге называется *ситуацией истины*.

Ревизионизм — переписывание истории в интересах того, кто ее переписывает, отражение стратегической функции контроля той власти, которую прошлому дозволяется иметь над будущим. Подобное переписывание встречается даже в таких областях, как философия, математика и многие естественные науки, которые представляют себя по природе своей антиисторическими. В ситуации постистины лисы более других готовы пересмотреть историю, тогда как львы стремятся во что бы то ни стало сохранить имеющуюся версию.

Руссо Жан-Жак (1712–1778) — мыслитель французского Просвещения, за которым статус философа сохранился и сегодня, в отличие от остальных просвещенцев. Является обладателем завидного титула лучшего защит-

ника и в то же время критика демократии. С его точки зрения, демократия возможна только в том случае, если каждый, включая правителей, согласился с правилами игры. Руссо полагал, что для этого необходимы общие ценности, явленные в виде «общей воли». Землевладение и владение собой он толковал в том же русле, а потому стал любимцем как «коммунистов», так и «коммунитаристов». В то же время он предложил постистинностный план эвакуации, начертанный придуманным им личным стилем в литературе.

Сен-Симон граф Анри де (1760–1825) — образцовый представитель «утопического социализма» в противоположность «научному социализму» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, наиболее последовательный противник поиска ренты до Маркса. Вероятно, его можно считать основоположником «управления знаниями» и «общества знаний», в которых акцент ставится на эффективность и производительность, нехватку которых обычно испытывают академические институты. Опираясь на Фрэнсиса Бэкона, он, вероятно, первым начал осознанно мыслить в категориях военно-промышленной воли к знанию.

Ситуация истины — представление о реальности как одном-единственном принимаемом всеми людьми игровом поле, знаковой игрой которого выступает наука. В этой книге она выступает противоположностью ситуации постистины.

Созидательное разрушение — выражение, придуманное экономистом Йозефом Шумпетером для обозначения революционного воздействия инноваций на рынок. Подлинная инновация не просто добавляет еще одного конкурента к уже существующему игровому полю. Она создает новое игровое поле, тем самым вынуждая игроков переквалифицироваться или же исчезнуть. Ее динамический характер сильно напоминает *смену парадигмы* у Куна, если не считать того, что «предприниматели» (как Шумпетер называл инно-

ваторов) более целенаправленны в созидательном разрушении целевого рынка, чем так называемые «научные революционеры», обычно получающие такой титул от потомков.

Сократ (470/469–399 до н.э.) — пожалуй, наиболее знаковая фигура западной философии, известен в основном по своей роли в большинстве платоновских диалогов, в которых он выражает позицию Платона. Защита Сократом «истины» перед лицом его противников-софистов сводится к тому, чтобы перехитрить их на их собственной территории постистины.

Софисты — торговцы-чужеземцы в классических Афинах, которые прельщали местных жителей своим специфическим товаром — риторикой, как назвал ее Платон. Сократ в диалогах Платона выводится в качестве человека, который может состязаться с софистами в их собственном ремесле и при этом доказывает, что истинная ценность их товара заключается в его «правильном» применении. Соответственно, Сократу удается перехитрить их в своего рода второпорядковом мышлении, составляющем ситуацию постистины.

Социальный конструктивизм — интеллектуальное движение XX в., охватившее ряд самых разных дисциплин и подчеркивающее «антиреалистический», а потому и «постистинностный подход» к производству знания. Хотя социальный конструктивизм обычно считается родственным «социологическому» подходу к знанию, такая связь стала явной только в 1960-е годы в результате публикации работы Питера Бергера и Томаса Лукмана «Социальное конструирование реальности».

Суперпрогнозирование — термин специалиста по политической психологии Филипа Тетлока, опиравшегося на графа Гельмута фон Мольтке, обозначает такое разыгрывание будущего в наших интересах, при котором предполагается, что мы можем понести существенные краткосрочные убытки, преследуя конечную цель. Таким

образом, акцент ставится не на корректности каждого прогноза, а на извлечении наибольшей прибыли из любого прогноза, если он не сбывается. Суперпрогнозирование указывает на продуктивную интерпретацию адаптивных преимуществ и подкрепляет идею форсированного правления и принципа проактивности.

Табуированный сюжет — термин специалиста по политической психологии Филипа Тетлока, который обозначает мышление, применяемое в ситуациях, когда участники эксперимента должны отложить в сторону свои излюбленные (или «священные») убеждения, чтобы решить ту или иную гипотетическую проблему. Подобные ситуации можно рассмотреть в качестве экспериментального воспроизведения принципа «мыслить немыслимое», который Герман Кан защищал во время холодной войны.

Теодицея — оправдание «зла» (в самом широком смысле, включающем и природные катастрофы), учитывающее бесспорное существование благого Бога. Теодицея, ставшая в Европе раннего Нового времени рассадником рационалистической теологии, часто возвращается в секулярном облачении, особенно в рассказах о «логике» капитализма и дарвиновской эволюции. Ее основное значение для ситуации постистины состоит в возможностях, открывающихся для того, что я называю «моральным предпринимательством», которое представляет собой тонкое искусство превращения оплошностей в добродетели, то есть то — исходно богоподобное — умение, которое также играет основную роль в форсированном правлении.

Теория разумного замысла — научно обновленная версия креационизма, являющаяся образцовым примером протнауки и составляющей антиэкспертной революции, характерной для ситуации постистины.

Учение о двойной истине — основополагающая идея Платона о том, что социальный порядок поддерживается

оглашением двух истин, одной — элитам, определяющим правила игры, а другой — массам, которые этим правилам повинуются. Это ситуации соответственно «постистины» и «истины», как они обсуждаются в этой книге.

Файхингер Ганс (1852–1933) — основатель современного кантоведения, который в начале XX в. предложил философию фикционализма, ставшего предшественником современного постистинностного мышления. Его основная идея заключалась в том, что настоящий мир — это мир, к которому мы относимся так, «как если бы» он был реальным.

Фейковые новости — визитная карточка ситуации постистины, в которой конкурирующие стороны обвиняют друг друга в навязывании неправильного понятийного аппарата отличения истины от лжи. Хотя обычно это выражение ассоциируется с Дональдом Трампом, сама идея восходит, по меньшей мере, к дискуссиям времен протестантской Реформации.

Форсированное правление — политическая стратегия, опирающаяся на идеи Германа Кана и рассматривающая пессимистические сценарии (известные также как экзистенциальные риски) не в качестве того, что надо любой ценой избежать, а как возможности, использование которых может принести пользу даже в том случае, если придуманные сценарии так и не осуществятся.

Хронос — такое понимание времени, которое необходимо всякому успешному льву. В соответствии с таким пониманием история представляется в виде упорядоченной цепочки событий, которые, накапливаясь, легитимируют статус-кво, так что в их контексте любая внешняя помеха воспринимается в качестве экзистенциального риска.

Экзистенциальный риск — модный вариант Судного дня, возникший в период после холодной войны. Вместо ядерной катастрофы теперь рассматривается либо глобальная климатическая катастрофа, либо атака сверх-

разумных машин. Хотя сторонники идеи экзистенциального риска обычно считают ее тем, чего нужно во что бы то ни стало избежать, есть и постистинностная интерпретация, в какой-то мере следующая Герману Кану и полагающая такую угрозу в качестве возможности для «нестандартного» мышления, применяемого в инновационном курсе.

Экспертиза — знания того рода, которыми предположительно наделяет «научный консенсус», то есть то, что Кун называл «нормальной наукой». Соответственно, университеты могут извлекать определенную форму ренты, известной под названием «плата за обучение», в обмен на которую они выдают «научные степени», что похоже на католическую индульгенцию, если не считать того, что университетские дипломы, дающие право на получение экспертных знаний, освобождают только от предшествующего невежества в данной области исследований. Протнаука рассматривает экспертизу в качестве рэкета.

Spielraum — «пространство для маневра» на немецком военном жаргоне XIX в. Стало одним из источников идеи Макса Вебера о «понимании» (*Verstehen*), согласно которому ограниченное пространство предоставляет человеку возможность реализовать особую форму свободы, способную послужить расширению или же сокращению его свободы в будущем. Пространство возможностей в таких ситуациях может объективно изучаться социологами.

ЛИТЕРАТУРА

Андерсон К. (2012). Длинный хвост. М.: Манн, Иванов и Фербер.
Арон Р. (1992). Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс.
Арто А. (2000). Театр и его двойник. М.: Симпозиум.
Бергер П., Лукман Т. (1995). Социальное конструирование реальности. М.: Academia-центр; Медиум.
Бернейс Э. (2015а). Кристаллизация общественного мнения. М.: Вильямс.
Бернейс Э. (2015б). Пропаганда. М.: Карьера Пресс.
Блум Х. (1998). Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та.
Бостром Н. (2016). Искусственный интеллект. Этапы, угрозы, стратегии. М.: Манн, Иванов и Фербер.
Бриньолфсон Э., Макафи Э. (2017). Вторая эра машин. М.: АСТ.
Буравой М. (2008). За публичную социологию // Социальная политика в современной России: реформы и повседневность / под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: ЦСПГИ; Вариант. С. 8–51.
Гексли Т. (1893). Эволюция и этика. Речь Томаса Гёксли // Русская мысль. Вып. 9. С. 108–129.
Гершенкрон А. (2015). Экономическая отсталость в исторической перспективе. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС.
Гудмен Н. (2001). Способы создания миров. М.: Идея-Пресс; Праксис.
Дюркгейм Э. (2018). Элементарные формы религиозной жизни. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС.
Кассирер Э. (1996). Познание и действительность: Понятие о субстанции и понятие о функции. СПб.: Алетейя.
Коллинз Р. (1996). Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф.
Коллинз Р. (2008). Макросоциологическое предсказание: Пример коллапса СССР // Социологический журнал. № 3.
Кун Т. (1977). Структура научных революций. М.: Прогресс.
Латур Б. (2006). Нового времени не было. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге.
Латур Б. Наука в действии. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге.
Латур Б. (2015). Почему выдохлась критика? От реалий фактических к реалиям дискуссионным // Художественный журнал. № 93.
Липпман У. (2004). Общественное мнение. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение».
Макклоски Д. (2015). Риторика экономической науки. М.: Изд-во Ин-та Гайдара; Международные отношения; СПб.: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ.

Макклоски Д. (2018). Буржуазные добродетели. Этика для века коммерции. М.: Изд-во Ин-та Гайдара; СПб.: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ.
Маслоу А. (2002). Маслоу о менеджменте. СПб.: Питер.
Мертон Р. (2006). Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ.
Остин Дж. (1999). Избранное. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги.
Пенроуз Р. (2003). Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики. М.: Едиториал УРСС.
Поланьи К. (2003). Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя.
Поппер К. (2003a). Нищета историцизма. М.: Прогресс.
Поппер К. (2003b). Предположения и опровержения. М.: АСТ.
Пригожин И., Стенгерс И. (1986). Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс.
Ролз Дж. (1995). Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та.
Рорти Р. (1997). Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та.
Саймон Г., Марш Дж. (1997). Административное поведение. М.: Мир.
Саймон Г. (1997). Науки об искусственном. М.: Едиториал УРСС.
Сеннет Р. (2002). Падение публичного человека. М.: Логос.
Солла Прайс Д. де. (1966). Малая наука, большая наука // Наука о науке: Сб. ст. / под ред. В.Н. Столетова. М.: Прогресс.
Талеб Н.Н. (2014). Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: Ко-Либри; Азбука-Аттикус.
Тоффлер Э. (2002). Шок будущего. М.: АСТ.
Фейерабенд П. (2007). Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ.
Фейнман Р. (2015). Наука формопоклонников // Фейнман Р. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! М.: АСТ.
Фуллер С. (2018). Социология интеллектуальной жизни. Карьера ума внутри и вне академии. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС.
Хайек Ф. (2001). Использование знания в обществе // Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф.
Штраус Л. (2006). О тирании. СПб.: Изд-во СПбГУ.
Шумпетер Й. (1995). Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика.
Шютц А. (2003). Хорошо информированный гражданин. Очерк о социальном распределении знания // Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение».
Эльстер Ю. (2019). Кислый виноград. М.: Изд-во Ин-та Гайдара.

Ainslie G. (1992). Picoeconomics: The Strategic Interaction of Motivational States within the Individual. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Anderson C. (2006). The Long Tail. New York: Hyperion.

Aron R. (1967). Main Currents in Sociological Thought. Vol. II. Garden City, NY: Anchor Doubleday.

Artaud A. (1958). The Theatre and Its Double. New York: Grove Weidenfeld.

Austin J.L. (1962). How to Do Things with Words. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Axtell G. (1993). In the Tracks of the Historicist Movement: Re-Assessing the Carnap-Kuhn Connection // Studies in the History and Philosophy of Science. No. 24. P. 119–146.

Baker E., Oreskes N. (2017). Science as a Game, Marketplace or Both: A Reply to Steve Fuller // Social Epistemology Review and Reply Collective. No. 6(9). P. 65–69.

Barben D., Fisher E., Selin C., Guston D. (2008). Anticipatory Governance of Nanotechnology: Foresight, Engagement and Integration // Handbook of Science and Technology Studies / ed. by E. Hackett, O. Amsterdamska, M. Lynch, J. Wajcman. Cambridge, MA: MIT Press. P. 979–1000.

Barber B. (ed.) (1970). L.J. Henderson on the Social System. Chicago: University of Chicago Press.

Bauman Z. (1995). Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality. Oxford: Blackwell.

Belfiore M. (2009). The Department of Mad Scientists. New York: HarperCollins.

Bell A. (2010). Taking Science Journalism “Upstream”. (3 September). <http://alicerosebell.wordpress.com/2010/09/03/taking-science-journalism-upstream/>.

Bell D. (1960). The End of Ideology. New York: Free Press.

Berger P., Luckmann T. (1966). The Social Construction of Reality. Garden City NY: Doubleday.

Berle A., Means G. (1932). The Modern Corporation and Private Property. New York: Harcourt Brace and World.

Bernal J.D. (1939). The Social Function of Science. London: Macmillan.

Bernays E. (1923). Crystallizing Public Opinion. New York: Boni Liveright.

Bernays E. (1928). Propaganda. New York: Horace Liveright.

Bernstorff J. von, Dunlap T. (2010). The Public International Law of Hans Kelsen. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Bew J. (2016). Realpolitik: A History. Oxford: Oxford University Press.

Birch K. (2017). Financing Technoscience: Finance, Assetization and Rentiership // The Routledge Handbook of the Political Economy of Science / ed. by D. Tyfield, R. Lave, S. Randalls, C. Thorpe. London: Routledge. P. 169–181.

Blair A. (2010). Too Much to Know: Managing Scholarly Information before the Modern Age. New Haven, CT: Yale University Press.

Bleed P. (1986). The Optimal Design of Hunting Weapons: Maintainability or Reliability? // American Antiquity. No. 51. P. 737–747.

Bloom H. (1973). The Anxiety of Influence. Oxford: Oxford University Press.

Bloor D. (1976). Knowledge and Social Imagery. London: Routledge & Kegan Paul.

Bostrom N. (2015). Superintelligence. Oxford: Oxford University Press.

Brynjolfsson E., McAfee A. (2014). The Second Machine Age. New York: W.W. Norton.

Burawoy M. (2005). For Public Sociology // American Sociological Review. No. 70. P. 4–28.

Cadwalladr C. (2017). The Great British Brexit Robbery: How Our Democracy Was Hijacked // The Guardian. 7 May. <https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy>.

Cassirer E. ([1910] 1953). Substance and Function. New York: Dover.

Chandler A. (1962). Strategy and Structure. Cambridge, MA: MIT Press.

Charles D. (2005). Master Mind: The Rise and Fall of Fritz Haber. New York: Ecco.

Chopra D. (1989). Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Mind/Body Medicine. New York: Bantam.

Chopra D., Tanzi R. (1989). Super Brain: Unleashing the Explosive Power of Your Mind. New York: Harmony Books.

Church G., Regis E. (2012). Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves. New York: Basic Books.

Clark A. (2016). Surfing Uncertainty: Prediction, Action and the Embodied Mind. Oxford: Oxford University Press.

Collins H. (1985). Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. London: Sage.

Collins H., Evans R. (2007). Rethinking Expertise. Chicago: University of Chicago Press.

Collins R. (1974). Three Faces of Cruelty: Towards a Comparative Sociology of Violence // Theory, Culture and Society. No. 1.

Collins R. (1979). The Credential Society. New York: Academic Press.

Collins R. (1995). Prediction in Macrosociology: The Case of the Soviet Collapse // American Journal of Sociology. No. 100(6).

Collins R. (1998). The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Collins R. (2004). Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press.

Cooke L. (2017). MIT Says 3000 Ride-Sharing Cars Could Replace All New York City Taxis // Inhabitat.com. Posted 3 January. <http://inhabitat.com/mit-says-3000-ridesharing-cars-could-replace-all-new-york-city-taxis/>.

Crenshaw K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color // Stanford Law Review. No. 43. P. 1241–1299.

Csiszar A. (2017). From the Bureaucratic Virtuoso to Scientific Misconduct: Robert K. Merton, Eugene Garfield, and Goal Displacement in Science // Paper delivered to annual meeting of the History of Science Society. Toronto, 9–12 November.

Darnton R. (1984). The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. New York: Basic Books.

Dennett D. (1995). Darwin's Dangerous Idea. New York: Simon and Schuster.

Deutsch K. (1963). The Nerves of Government. New York: Free Press.

Duff A. (2012). A Normative Theory of the Information Society. London: Routledge.

Dummett M. (1978). Truth and Other Enigmas. London: Duckworth.

Dupré J. (1993). The Disorder of Things. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Durkheim E. ([1912] 1964). Elementary Forms of the Religious Life. New York: Collier Macmillan.

Eisenstein E. (1979). The Printing Press as an Agent of Change. 2 vols. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Elster J. (1978). Logic and Society. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Elster J. (1979). Ulysses and the Sirens. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Elster J. (1983). Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Elster J. (2000). Ulysses Unbound. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Eppler M., Mengis J. (2004). The Concept of Information Overload // Information Society. No. 20. P. 325–344.

Etzkowitz H. (2002). MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. London: Routledge.

Evans D. (2003). Placebo: Mind over Matter in Modern Medicine. London: Harpercollins.

Festinger L., Riecken H., Schachter S. (1956). When Prophecy Fails. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Feuer L. (1974). Einstein and the Generations of Science. New York: Basic Books.

Feyerabend P. (1975). Against Method. London: Verso.

Feyerabend P. (1981). Realism, Rationalism and the Scientific Method. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Feynman R. (1974). Cargo Cult Science // Engineering and Science. No. 37(7). P. 10–13.

Firth N. (2009). The Politics Factor: Simon Cowell Unveils Plan to Launch Election Debate Show // Daily Mail. London, 15 December.

Fricker M. (2007). Epistemic Injustice. Oxford: Oxford University Press.

Fuller S. (1988). Social Epistemology. Bloomington: Indiana University Press.

Fuller S. ([1989] 1993). Philosophy of Science and Its Discontents. 2nd ed. New York: Guilford Press.

Fuller S. (1996). Recent Work in Social Epistemology // American Philosophical Quarterly. No. 33. P. 149–166.

Fuller S. (1997). Science. Milton Keynes, UK: Open University Press.

Fuller S. (2000a). The Governance of Science. Milton Keynes, UK: Open University Press.

Fuller S. (2000b). Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Times. Chicago: University of Chicago Press.

Fuller S. (2002). Knowledge Management Foundations. Woburn, MA: Butterworth- Heinemann.

Fuller S. (2003a). Kuhn vs Popper: The Struggle for the Soul of Science. Cambridge, UK: Icon.

Fuller S. (2003b). In Search of Vehicles for Knowledge Governance: On the Need for Institutions That Creatively Destroy Social Capital // The Governance of Knowledge / ed. by N. Stehr. New Brunswick, NJ: Transaction Books. P. 41–76.

Fuller S. (2005a). Philosophy Taken Seriously But Without Self- Loathing // Philosophy and Rhetoric. No. 38(1). P. 72– 81.
Fuller S. (2005b). The Intellectual. Cambridge, UK: Icon.
Fuller S. (2006a). The New Sociological Imagination. London: Sage.
Fuller S. (2006b). The Philosophy of Science and Technology Studies. London: Routledge.
Fuller S. (2007a). Science vs Religion? Cambridge, UK: Polity.
Fuller S. (2007b). New Frontiers in Science and Technology Studies. Cambridge, UK: Polity.
Fuller S. (2008). Dissent over Descent. Cambridge, UK: Icon.
Fuller S. (2009). The Sociology of Intellectual Life: The Career of the Mind in and around the Academy. London: Sage.
Fuller S. (2010). Science: The Art of Living. Durham, UK: Acumen.
Fuller S. (2011). Humanity 2.0. What It Means to Be Human: Past, Present and Future. London: Palgrave Macmillan.
Fuller S. (2012). Preparing for Life in Humanity 2.0. London: Palgrave Macmillan.
Fuller S. (2013). Deviant Interdisciplinarity as Philosophical Practice: Prolegomena to Deep Intellectual History // Synthese. No. 190. P. 899–916.
Fuller S. (2015). Knowledge: The Philosophical Quest in History. London: Routledge.
Fuller S. (2016a). The Academic Caesar: University Leadership Is Hard. London: Sage.
Fuller S. (2016b). Morphological Freedom and the Question of Responsibility and Representation in Transhumanism // Confero. No. 4(2). P. 33–45.
Fuller S. (2017). The Social Construction of Knowledge // The Routledge Companion to Philosophy of Social Science / ed. by L. McIntyre, A. Rosenberg. London: Routledge. P. 351–361.
Fuller S., Collier J. ([1993] 2004). Philosophy, Rhetoric and the End of Knowledge. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Fuller S., Lipinska V. (2014). The Proactionary Imperative: A Foundation for Transhumanism. London: Palgrave.
Fuller S., Lipinska V. (2016). Is Transhumanism Gendered? The Road from Haraway // The Future of Social Epistemology / ed. by J. Collier. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. P. 237–246.
Funkenstein A. (1986). Theology and the Scientific Imagination. Princeton: Princeton University Press.
Gallie W.B. (1956). Essentially Contested Concepts // Proceedings of the Aristotelian Society. No. 56. P. 167–198.
Gehlen A. ([1940] 1988). Man: His Nature and Place in the World. New York: Columbia University Press.
Gerschenkron A. (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M. (1994). The New Production of Knowledge. London: Sage.
Gilbert W. (1991). Towards a Paradigm Shift in Biology // Nature. 10 January. No. 349(6305). Heft 99.
Godin B. (2015). Innovation Contested: The Idea of Innovation over the Centuries. London: Routledge.
Goldacre B. (2012). Bad Pharma. London: Harpercollins.

Goldman A. (1999). Knowing in a Social World. Oxford: Oxford University Press.
Goodman N. (1955). Fact, Fiction and Forecast. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Goodman N. (1978). Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett.
Green D.A. (2017). "In Some Possible Branches of the Future Leaving Will Be an Error" — An Exchange about Brexit with Dominic Cummings. Jack of Kent Blog (4 July). <http://jackofkent.com/2017/07/in-some-possible-branches-of-the-future-leavingwill-be-an-error-an-exchange-about-brexit-with-dominic-cummings/>.
Gregory J., Miller S. (2000). Science in Public: Communication, Culture and Credibility. London: Perseus.
Haack S. (1978). Philosophies of Logics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Habermas J. (1971). Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
Halevy E. (1928). The Growth of Philosophic Radicalism. London: Faber and Faber.
Hamblin C.L. (1970). Fallacies. London: Methuen.
Hammond K., Stewart T. (eds) (2001). The Essential Brunswik. Oxford: Oxford University Press.
Hayek F. (1945). The Use of Knowledge in Society // American Economic Review. No. 35. P. 519–530.
Heims S.J. (1991). Constructing a Social Science for Postwar America. Cambridge, MA: MIT Press.
Henderson M. (2012). The Geek Manifesto. London: Bantam.
Herf J. (1984). Reactionary Modernism. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Herman E., Chomsky N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Random House.
Hershberg J. (1993). James B. Conant: Harvard to Hiroshima and the Making of the Nuclear Age. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Horgan J. (1996). The End of Science. Reading, MA: Addison-Wesley.
Hughes R. (1993). The Culture of Complaint. Oxford: Oxford University Press.
Humphreys P. (2004). Extending Ourselves: Computational Science, Empiricism and the Scientific Method. Oxford: Oxford University Press.
Huxley T.H. (1893). Evolution and Ethics // Romanes Lecture. Oxford (18 May). <http://aleph0.clarku.edu/huxley/CE9/E-E.html>.
Isaac J. (2011). Working Knowledge: Making the Human Sciences from Parsons to Kuhn. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Jackson B. (2009). At the Origins of Neo-Liberalism: The Free Economy and the Strong State, 1930– 47 // Historical Journal. No. 53. P. 129–151.
Jansen S.C. (2013). Semantic Tyranny: How Edward L. Bernays Stole Walter Lippmann's Mojo and Got Away with It and Why It Still Matters // International Journal of Communication. No. 7. P. 1094–1111.
Jasanoff S. (1990). The Fifth Branch: Science Advisors as Policy Makers. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Jaszi P. (1994). On the Author Effect: Contemporary Copyright and Collective Creativity // The Construction of Authorship: Textual Appropria-

tion in Law and Literature / ed. by M. Woodmansee, P. Jaszi. Durham, NC: Duke University Press. P. 29–56.

Jeffries S. (2011). Brian Cox: “Physics Is Better than Rock’n’Roll” // The Guardian. London, 24 March.

Joas H. (2000). The Genesis of Values. Chicago: University of Chicago Press.

Johnson A. (2017). Why Brexit Is Best for Britain: The Left-Wing Case // New York Times. 28 March. <https:// www.nytimes.com/2017/03/28/opinion/why-brexit-is-best-forbritain-the-left-wing-case.html>.

Johnson C. (2012). The Information Diet: The Case for Conscious Consumption. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.

Johnson P. (1997). Defeating Darwinism by Opening Minds. Downers Grove, IL: Varsity Press.

Kahn H. (1960). On Thermonuclear War. Princeton: Princeton University Press.

Kahn H. (1962). Thinking about the Unthinkable. New York: Horizon Press.

Kaldor M. (1982). The Baroque Arsenal. London: Deutsch.

Kane P. (2016). Leading Brexiteers Are Pining for All of Us to Embrace a Life Built on Havoc // The National. Glasgow, 18 June. <http://www.thenational.scot/comment/14867243.Pat_Kane_Leading_Brexiteers_are_pining_for_all_of_us_to_embrace_a_life_built_on_havoc/>.

Kass L. (1997). The Wisdom of Repugnance // New Republic. 2 June.

Kauffman S. (2008). Reinventing the Sacred: A New View of Science, Reason and Religion. New York: Basic Books.

Kay L. (1993). The Molecular Vision of Life: Caltech, the Rockefeller Foundation and the Rise of the New Biology. Oxford: Oxford University Press.

Kevles D. (1992). Foundations, Universities and Trends in Support for the Physical and Biological Sciences, 1900–1992 // Daedalus. No. 121(4). P. 195–235.

Khanna P. (2017). To Beat Populism, Blend Democracy and Technocracy, Singapore Style // Straits Times. 21 January. <http://www.straitstimes.com/opinion/to-beatpopulism-blend-democracy-and-technocracy-spore-style>.

Kirby D. (2011). Lab Coats in Hollywood: Scientists Impact on Cinema, Cinema’s Impact on Science and Technology. Cambridge, MA: MIT Press.

Knight D. (2006). Public Understanding of Science. London: Routledge.

Kohler R. (1994). Partners in Science: Foundations and Natural Scientists. Chicago: University of Chicago Press.

Kuhn T. ([1962] 1970). The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.

Kuhn T. (1977). The Essential Tension. Chicago: University of Chicago Press.

Langley P., Simon H., Bradshaw G., Zytkow J. (1987). Scientific Discovery. Cambridge, MA: MIT Press.

Latour B. (1987). Science in Action. Milton Keynes, UK: Open University Press.

Latour B. (1993). We Have Never Been Modern. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Latour B. (2004). Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern // Critical Inquiry. No. 30(2). P. 225–248.

Lecourt D. (1976). Proletarian Science? London: Verso.

Lepenies W. (1988). Between Literature and Science: The Rise of Sociology. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Lessig L. (2001). The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World. New York: Random House.
Lippmann W. (1922). Public Opinion. New York: Harcourt, Brace and Company.
Lippmann W. (1925). The Phantom Public. New York: Macmillan.
Lynch W. (2001). Solomon's Child. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Maslow A. (1998). Maslow on Management. New York: John Wiley & Sons.
Mayer J. (2016). Dark Money: The Hidden History of the Billionaires behind the Rise of the Radical Right. London: Penguin.
Mazlish B. (1989). A New Science: The Breakdown of Connections and the Birth of Sociology. Oxford: Oxford University Press.
Mazzucato M. (2013). The Entrepreneurial State. London: Anthem Press.
McCloskey D. (1982). The Rhetoric of Economics. Madison: University of Wisconsin Press.
McCloskey D. (2006). The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. Chicago: University of Chicago Press.
McCloskey D. (2010). Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World. Chicago: University of Chicago Press.
McKenzie R., Tullock G. ([1975] 2012). The New World of Economics. 6th ed. Berlin: Springer.
McLuhan M. (1951). The Mechanical Bride. New York: Vanguard Press.
Mead C. (2013). War Play: Video Games and the Future of Conflict. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
Melzer A. (2014). Philosophy between the Lines: The Lost History of Esoteric Writing. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Merton R. (1965). On the Shoulders of Giants. New York: Free Press.
Merton R. ([1949] 1968a). Social Theory and Social Structure. 3rd ed. New York: Free Press.
Merton R. (1968b). The Matthew Effect in Science // Science. No. 159(3810). P. 56–63.
Merton R. (1976). Sociological Ambivalence and Other Essays. New York: Free Press.
Milbank J. (1990). Theology and Social Theory. Oxford: Blackwell.
Mirowski P. (2002). Machine Dreams: How Economics Became a Cyborg Science. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Morozov E. (2013). To Save Everything, Click Here. London: Allen Lane.
Neumann M. (2006). A Formal Bridge between Epistemic Cultures: Objective Possibility in the Times of the Second German Empire // Foundations of the Formal Sciences: History of the Concept of the Formal Sciences / ed. by B. Löwe, V. Peckhaus, T. Räsch. London: Kings College Publications. P. 169–182.
Nida E. (1964). Towards a Science of Translation. The Hague: E.J. Brill.
Nisbett R., Ross L. (1980). Human Inference: Strategies and Shortcomings of Human Judgement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Oreskes N., Conway E. M. (2011). Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. New York: Bloomsbury.
Parsons T. (1937). The Structure of Social Action. New York: McGraw-Hill.

Penrose R. (1989). The Emperor's New Mind. Oxford: Oxford University Press.
Peoples L. (2010). The Citation of Wikipedia in Judicial Decisions // Yale Journal of Law and Technology. No. 12(1). P. 1–51.
Pettegree A. (2005). Reformation and the Culture of Persuasion. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Phillips A. (2017). Playing the Game in the Post-Truth Era // Social Epistemology Review and Reply Collective. 30 June. <https://social-epistemology.com/2017/06/30/playing-thegame-in-a-post-truth-era-amanda-phillips/>.
Pickering A. (2010). The Cybernetic Brain. Chicago: University of Chicago Press.
Polanyi K. (1944). The Great Transformation. New York: Farrar and Rinehart.
Popper K. (1957). The Poverty of Historicism. New York: Harper and Row.
Popper K. (1963). Conjectures and Refutations. London: Routledge & Kegan Paul.
Popper K. (1981). The Rationality of Scientific Revolutions // In Scientific Revolutions / ed. by I. Hacking. Oxford: Oxford University Press. P. 80–106.
Porter T. (1986). The Rise of Statistical Thinking, 1820–1900. Princeton: Princeton University Press.
Postman N. (1985). Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. New York: Penguin.
Poulakos J. (1990). Interpreting Sophistical Rhetoric: A Response to Schiappa // Philosophy and Rhetoric. No. 23. P. 218–228.
Prendergast C. (1986). Alfred Schutz and the Austrian School of Economics // American Journal of Sociology. No. 92. P. 1–26.
Price D. (1963). Little Science, Big Science. New York: Columbia University Press.
Prigogine I., Stengers I. (1984). Order out of Chaos. New York: Bantam.
Proctor R. (1991). Value-Free Science? Purity and Power in Modern Knowledge. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Putnam H. (1978). Meaning and the Moral Sciences. London: Routledge.
Rabinbach A. (1990). The Human Motor: Energy, Fatigue and the Origins of Modernity. New York: Basic Books.
Rawls J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Reisch G. (1991). Did Kuhn Kill Logical Positivism? // Philosophy of Science. No. 58. P. 264–277.
Ricoeur P. ([1965] 1970). Freud and Philosophy. New Haven, CT: Yale University Press.
Rorty R. (1979). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press.
Ross A. (ed.) (1996). Science Wars. Durham, NC: Duke University Press.
Ross D. (1991). The Origins of American Social Science. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Rothschild E. (2002). Economic Sentiments. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rushkoff D. (2010). Program or Be Programmed. New York: O/R Books.

Schiappa E. (1990a). Did Plato Coin Rhetorike? // American Journal of Philology. No. 111. P. 457–470.
Schiappa E. (1990b). Neo-Sophistic Rhetorical Criticism or the Historical Reconstruction of Sophistic Doctrines? // Philosophy and Rhetoric. No. 23. P. 192–217.
Schiff T. (2006). Know It All: Can Wikipedia Conquer Expertise? // New Yorker. 31 July.
Schomberg R. von (2006). The Precautionary Principle and Its Normative Challenges // Implementing the Precautionary Principle: Perspectives and Prospects / ed. by E. Fisher, J. Jones, R. von Schomberg. Cheltenham: Edward Elgar. P. 19–42.
Schomberg R. von (2013). A Vision of Responsible Research and Innovation // Responsible Innovation / ed. by R. Owen, M. Heintz, J. Bessant. London: John Wiley. P. 51–74.
Schumpeter J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Row.
Schutz A. (1946). The Well-Informed Citizen: An Essay on the Social Distribution of Knowledge // Social Research. No. 13. P. 463–478.
Sellars W. (1963). Science, Perception and Reality. London: Routledge and Kegan Paul.
Sennett R. (1977). The Fall of Public Man. New York: Alfred Knopf.
Serres M., Latour B. (1995). Conversations on Science, Culture, and Time. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Shapin S., Schaffer S. (1985). Leviathan and the Air-Pump. Princeton: Princeton University Press.
Shaplin A. (2009). The Tragedy of Thomas Hobbes. London: Oberon.
Simon H. (1947). Administrative Behaviour. New York: Macmillan.
Simon H. ([1969] 1981). The Sciences of the Artificial. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press.
Sismondo S. (2017). Post-Truth? // Social Studies of Science. No. 47(1). P. 3–6.
Smil V. (2001). Enriching the Earth. Cambridge, MA: MIT Press.
Smolin L. (2006). The Trouble with Physics. New York: Houghton Mifflin.
Stinchcombe A. (1990). Information and Organizations. Berkeley: University of California Press.
Stokes D. (1997). Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington, DC: Brookings Institution Press.
Strauss L. ([1948] 2000). On Tyranny. Chicago: University of Chicago Press.
Sunstein C. (2001). Republic.com. Princeton: Princeton University Press.
Swanson D. (1986). Undiscovered Public Knowledge // Library Quarterly. No. 56(2). P. 103–118.
Taleb N.N. (2012). Antifragile. London: Allen Lane.
Tetlock P. (2003). Thinking the Unthinkable: Sacred Values and Taboo Cognitions // Trends in Cognitive Science. No. 7(7). P. 320–324.
Tetlock P. (2005). Expert Political Judgement: How Good Is It? How Can We Know? Princeton: Princeton University Press.
Tetlock P., Gardner D. (2015). Superforecasting: The Art and Science of Prediction. New York: Crown Publishers.
Thompson M., Ellis R., Wildavsky A. (1990). Cultural Theory. Boulder, CO: Westview Press.

Tkacz N. (2015). Wikipedia and the Politics of Openness. Chicago: University of Chicago Press.
Toffler A. (1970). Future Shock. New York: Random House.
Tollison R. (ed.) (1985). Smoking and Society: Toward a More Balanced Assessment. Lanham, MD: Lexington Books.
Turner S. (2003). Liberal Democracy 3.0. London: Sage.
Turner S. (2010). Explaining the Normative. Cambridge, UK: Polity Press.
Turner S., Factor R. (1994). Max Weber: The Lawyer as Social Thinker. London: Routledge.
Tuvel R. (2017). In Defence of Transracialism // Hypatia. No. 32. P. 263–278.
Vaihinger H. ([1911] 1924). The Philosophy of 'As If'. London: Routledge and Kegan Paul.
Wark M. (2004). A Hacker Manifesto. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wendt A. (2015). Quantum Mind and Social Science. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
White M. (1949). Social Thought in America: The Revolt against Formalism. New York: Viking Press.
Woolgar S. (1991). Configuring the User: The Case of Usability Trials // A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination / ed. by J. Law. London: Routledge. P. 58–97.
Wootton D. (2006). Bad Medicine: Doctors Doing Harm since Hippocrates. Oxford: Oxford University Press.
Wuthnow R. (1989). Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment and European Socialism. Cambridge, MA: Harvard University Press.

СЕРИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
основана в 2009 г. Валерием Анашвили

В серии вышли: <id.hse.ru/books/series/25279520>

Научное издание

Стив Фуллер

ПОСТПРАВДА

ЗНАНИЕ КАК БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ